

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

**ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

"НАУКА"

МОСКВА - 2001

А.Е. Аникин (Новосибирск). От Чуди до Мери (к 75-летию А.К. Матвеева)	3
А.Л. Шилов (Москва). О мерянских топонимических индикаторах (голос в дискуссии)	13
О.В. Федорова (Москва). Пространственная типология указательных местоимений дагестанских языков	28
А.И. Фалилеев (Санкт-Петербург). Язык средневекового валлийского права как источник для общекельтской и индоевропейской реконструкции	57
Т.А. Михайлова (Москва). Судьба и доля: к проблеме лексического оформления детерминистских представлений в раннеирландской традиции	68
М. Паладян (Франция). Мышление и синтаксис (Исследование позиции прошедшего партиципа)	85
Р.К. Потапова, В.В. Потапов (Москва). Проблемы ритма немецкой звучащей речи	104

Из истории науки

В.М. Алпатов (Москва). Вопросы лингвистики в работах М.М. Бахтина 40–60-х годов	123
О.В. Лукин (Ярославль). Части речи в Средние века (предпосылки и контекст)	138

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Г.Г. Тяпко (Москва). Г.П. Нецименко. Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков) ...	146
О.В. Никитин (Москва). W. Lehfeldt. Die altrussischen Inschriften des Hildesheimer Enkolpions	152
В.П. Литвинов (Пятигорск). Tense-aspect, transitivity and causativity. Essays in honour of Vladimir Nedjalkov	154
Указатель статей, опубликованных в журнале "Вопросы языкознания" в 2001 г.	157

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков,
 В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов,
 А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), М.М. Маковский (отв. секретарь),
 А.М. Молдован, Т.М. Николаева (зам. главного редактора),
 Ю.В. Откупщиков, О.Н. Трубачев (главный редактор),
 А.М. Шербак

Зав. отделами: М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова
 Зав. редакцией Н.В. Ганнус

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
 Институт русского языка им. В.В. Виноградова,
 редакция журнала "Вопросы языкознания"
 Тел. 201-25-16

© 2001 г. А.Е. АНИКИН

ОТ ЧУДИ ДО МЕРИ

(к 75-летию А.К. Матвеева)



8 июля 2001 г. исполнилось 75 лет со дня рождения Александра Константиновича Матвеева – выдающегося отечественного лингвиста и организатора исследований в области теоретической и прикладной топонимстики, этимологии, лингвистической географии, диалектологии и диалектной лексикографии, члена-корреспондента РАН, заведующего кафедрой русского языка и общего языкознания Уральского государственного университета им. А.М. Горького, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ.

А.К. Матвеев родился в Свердловске, одно время жил на Дальнем Востоке. В 1949 г. закончил факультет русского языка и литературы Хабаровского пединститута. Почти полвека (с 1952 г.) он работает в УрГУ, где воспитал множество учеников ("Уральская топонимическая школа") и создал с их помощью – вне рамок Академии наук – уникальный научный центр. По этим результатам своей деятельности Александр Константинович не может не напоминать другого выдающегося ученого – А.П. Дульзона. Уральскому университету повезло с А.К. Матвеевым, подобно тому как Томскому пединституту повезло с А.П. Дульзоном.

Основное направление научных исследований юбиляра связано с лингвистическим исследованием Севера и Северо-Востока европейской России (Урал, Приуралье, Русский Север), Средней России и Зауралья: сбор и анализ топонимии и диалектной лексики, изучение языковых контактов русских с аборигенами (преимущественно с уралоязычными), древнее расселение и миграции последних, реконструкция данных о вымерших дорусских языках. Исчезновение этих языков и их носителей (мифологизированных народом и не без ностальгии романтизированных в литературе, ср. блоковское *Чудь начудила, да Меря намерила...*; *Не в богатом покоишься гробе Ты, убогая финская Русь!* и сходные образы), как и прогрессирующая на наших глазах утрата сохраняющей следы прошлого местной русской топонимии, народной терминологии,

диалектной речи – потеря для человечества (ср. [Топоров 1975: 7]). Фиксируя и систематизируя полевые данные, А.К. Матвеев и его ученики, перенявшие от Учителя его высокие нравственные и научные принципы, делают важное не только для науки благородное дело.

"Александр Константинович называет себя автодидактом... Действительно, ему многое пришлось делать первому и почти все – самому" [Рут 1996: 7]. В середине 50-х гг. он сам определяет тему своей кандидатской диссертации [Матвеев 1959] и определяет маршруты своих первых полевых выездов (с 1955 г.), с которых начинается длившаяся 34 года серия из 77 экспедиций под его руководством, дополнявшаяся походами на охоту, в ходе которых А.К. Матвеев с друзьями ставил многолетний топонимический эксперимент. Отраженный в диссертации и первых публикациях А.К. Матвеева обширный полевой материал позволил существенно обогатить имеющиеся представления об объеме и других параметрах финно-угорского вклада в русских говорах Северного Урала и Зауралья. В 1955–1956 гг. исследователь выявил усвоенные от ассимилированных манси (живой язык которых еще в начале XX в. записывали А. Каннисто и Б. Мункачи) многочисленные термины охоты и рыболовства, а также топонимы [Матвеев 1976а: 71; 1993: 92]. При этимологизации русской апеллятивной лексики финно-угорского (уральского) происхождения А.К. Матвеев и в ранних, и в более поздних своих работах поддержал и развил лучшие традиции исследования прибалтийско-финских, пермских, саамских, обско-угорских и ненецких элементов в русской лексике и топонимии, заложенные в трудах Я. Калимы, Т. Итконена, М. Фасмера, Б. Кальмана, В. Штейница, А.И. Попова и других ученых.

Этимологические труды юбиляра как по апеллиативам, так и по топонимике отличается провициальность, строгое следование принципам сравнительно-исторической грамматики русского и других языков, постоянное внимание к методике, детальный анализ фонетической и семантической сторон иноязычного этимона и его адаптации на русской почве, всесторонне продуманные мотивировки, согласующиеся с историко-культурными и лингвогеографическими данными, немалая часть которых собрана самим А.К. Матвеевым и его учениками. Свой отпечаток на труды Матвеева накладывает превосходное знание уральских, севернорусских и т.п. ландшафтов, изученных им на уровне профессионального геодезиста и картографа.

Эти и другие достоинства Матвеева-этимолога ярко проявились в первой же его публикации – оригинальном и убедительном толковании русск. (Урал, Зауралье, Сибирь) *ва́ньза*, *ва́ньзя* и др. "дикарь, язычник, нехристь, простофиля", *ва́ньзы* "исконные жители Зауралья, чужд" (**ман(ь)з*- = русск. *манси*, (Печора, Урал) *манзы* "манси" (манс. (Сосьва) *та́ййи* и др. "мансиец" [Матвеев 1958: 225–230; 1959: 48–54].

Убедительность этимологий А.К. Матвеева естественным образом превращает их в надежное основание для этноисторических импликаций и установления закономерностей адаптации заимствований в русских говорах. Тщательно описываются детали этой адаптации, не исключая малейших, наподобие оформления анлаута, севернорусских диалектизмов (р. Мезень) *айба́рча* "кушанье из оленьей крови" ((нен. *найбарць*, *няйбарць*), *амдёр*, *амдюр(а)* "свернутая оленья шкура – сиденье в нарте" ((нен. *цамдёр*), обусловленного их происхождением из крайнезападных ненецких говоров [Матвеев 1995а: 40; 1996а: 226–227, 229–230]. Выявленные закономерности, в свою очередь, позволяют подключать к ним дополнительный лексический материал. Так, соответствие фин *й* = русск. *ы* свидетельствует в пользу старого объяснения этнонима *зыряне* (др.-русск. *сыръяне*) из фин. *syryja* "сторона, край", с которым согласуется корреляция субстратных топооснов *Сыр(ь)*- и *Сур-* [Матвеев 1973: 351–352].

Этимологи, занимающиеся заимствованиями, нередко упускают из вида возможности их объяснения как исконных слов. А.К. Матвеева отличает пристальное внимание к собственно русским и/или славянским ресурсам этимологизации, см. *passim* в публикациях юбиляра. Эту особенность Матвеева-этимолога и характерный для него

способ научной аргументации прекрасно иллюстрирует новая этимология "аномального" гидронима *Свидь*, основанная на его отождествлении с полевой находкой – архангельским диалектизмом *свидь, свіды* "свидание": "берега Свиди... пригодны для жилья только в среднем течении, где они сухие, напротив, ее верховья и низовья – низменные и топкие. Среднее течение Свиди... удалено на равное расстояние от северного конца оз. Лаца и южного конца оз. Воже. Здесь, видимо, и была первоначальная Свидь, где встречались караваны лодок, плывущих навстречу друг другу с севера... и юга..." [Матвеев 2000а: 12–13]. Уместно вспомнить, как при разборе финно-угорских этимологий русск. (Мангазея, XVII в.) *реж(ь), режма* "проток" в выступлении на 3-ем Совещании по русской диалектной этимологии (УрГУ, октябрь 1999 г.) А.К. Матвеев поддержал предложенное Ж.Ж. Варбот [Варбот 1992: 194] сближение этого слова с русск. *рѣзать*, ссылаясь на свой опыт охотника-путешественника: *режмой* мог исходно называться путь, "прорезанный" для лодки в маловодном месте (иначе [Матвеев 2000б: 231–233]).

Одновременный учет ареальных особенностей русских фактов и общерусского, славянского фона, профессиональное владение разнородным языковым материалом позволили А.К. Матвееву получить ряд важных результатов, касающихся архаической русской топонимии на Северо-Востоке Европы, – в частности, аргументировать связь гидронимов *Сухона* с русск. *сухой*, *Двина* с русск. *два*. Выявлены многочисленные топонимические кальки, позволившие увидеть в названиях типа *Щучья* или *Собь* (гидронимы) свидетельства давних контактов угров и самодийцев с русскими на их путях к Уралу и за Урал [Матвеев 1987а: 70–74]. Весьма важны коррективы, касающиеся известного мнения о том, что старинное наименование Урала – *Камень* – калькирует манс. *Нёр*, хант. *Кев*, коми *Из* (= "Камень"), нен. *Нарка* "Пэ" (= "Большие камни"). Согласно А.К. Матвееву, в действительности речь идет о том, что на Урале апеллатив *камень* получил новое вторичное значение "каменная гора", обусловленное, во-первых, знакомством русских с "новыми для них реалиями – высокими каменными горами..." и, во-вторых, влиянием "каменных" названий Урала в языках его аборигенов [Матвеев 1987а: 73; 1987б: 134]. Этот вывод делает весьма проблематичной реконструкцию значения "каменная гора" для праслав. **katu-* (ср. [Общая лексика 1989: 123–127]). Более широкие импликации (нуждающиеся в специальной оговорке) имеет высказывание А.К. Матвеева о бедности восточнославянской и общеславянской орографической терминологии [Матвеев 1986а: 58–59].

Последовавшему в начале 60-х гг. "стратегическому" повороту А.К. Матвеева к изучению субстратной топонимии (отнюдь не означавшему прекращения занятий другими темами, в том числе апеллативной лексикой) сопутствовало создание им "его любимого детища" [Рут 1996: 6] – Топонимической экспедиции (ТЭ) УрГУ, единственного в своем роде поисково-аналитического сообщества исследователей, уже 40 лет бессменно руководимого его создателем. В качестве основного объекта изучения ТЭ А.К. Матвеев выбрал Русский Север – территорию, открывающую прекрасные перспективы изучения реликтов уральских языков, дорусских и русских архаизмов. Ежегодные полевые выезды ТЭ с участием не менее 20 сотрудников (до 1989 г. – с личным участием А.К. Матвеева), в ходе которых собирались русский и иной материал по топонимии, диалектной лексике, антропонимии, этнонимии и т.п., привели к созданию картотек, включающих до 2 млн. единиц хранения. К настоящему времени полностью обследованы Русский Север (куда совершаются повторные "ревизионные" экспедиции), частично – Костромская, Ярославская, Челябинская и Оренбургская области, Средний и Полярный Урал, Башкирия, Прииртышье, Саяны. Накопленные базы данных сами по себе представляют огромную научную ценность. В них содержатся и сведения по обско-угорской, пермской, самодийской (а также тюркской) топонимии, значимость которых заключается кроме прочего в связанной с ними возможностью сопоставлять субстратную русскую топонимию уралоязычного происхождения с топонимией живых уральских языков.

Многие могут помнить, как в ходе сбора материалов по камасинскому языку (камасинская коллекция ТЭ еще ждет своего исследователя, ср. [Матвеев 1965: 32–37]) А.К. Матвеев в 1963 г. обнаружил последнюю носительницу этого ныне вымершего языка (ср. [Матвеев 1964а: 53; 1972: 76]), великодушно "отданную" им эстонским уралистам.

Важно подчеркнуть качественный аспект собранных в ТЭ материалов, гарантируемый проведением полевой работы по оригинальной и эффективной программе, составленной при участии и под редакцией А.К. Матвеева и неоднократно корректировавшейся в зависимости от решаемых научных задач. Важнейшие методические "императивы" ТЭ состоят в следующем: 1) сплошной сбор материала в каждом без исключения населенном пункте обследуемой территории; 2) осуществление топонимического исследования как части комплексного обследования территории – параллельно со сбором данных по другим разделам ономастики, а также по диалектной лексике; 3) учет и лингвистической (варианты слов, ударение, словообразовательные и синонимические связи, мотивационные контексты, семантические микросистемы и др.) и нелингвистической (географическая привязка топонимов, характеристика обозначаемых ими объектов и т.п.) информации; 4) проверка каждого записанного факта у нескольких информантов [Рут 1997: 116–117]. Материал, собранный в соответствии с указанными принципами, очень ценен для лингвогеографических, этнолингвистических и ареальных исследований.

Материалы ТЭ широко используются в трудах А.К. Матвеева, в том числе в его словарях, положивших начало уральской топонимической лексикографии. Им составлены топонимические и орографические словари Урала [Матвеев 1980а; 1984а; 1987б; 1990а; 2000б], а также краткий топонимический словарь территорий Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов [Матвеев 1997а]. Научная строгость и разносторонняя эрудиция автора сочетаются в этих публикациях с очень доходчивым стилем изложения, так что лингвистические выкладки и богатая историко-культурная информация оказываются доступными неспециалистам. Тем самым работа А.К. Матвеева по топонимической лексикографии соотносится с его популяризаторской деятельностью: его многочисленные научно-популярные статьи (например, в журнале "Уральский следопыт") и книги [Матвеев 1976б; 1990б] получили широкую известность.

Весьма благоприятными представляются перспективы развития ТЭ, участие в которой стало настоящей научной школой для учеников юбиляра и дало материал для их работ – от студенческих курсовых до диссертаций, статей и монографий (их перечень см. [Матвеев-Библ. 1996: 28–38])¹. Эти перспективы связаны с дальнейшим собиранием материала, компьютеризацией [Николаева 2000: 143] и разработкой в существующей при ТЭ топонимической лаборатории под руководством А.К. Матвеева специальных методик обработки данных. Имеется реальная возможность создания серии новых топонимических и иных словарей, а также атласов. Некоторые из принадлежащих будущему фундаментальных трудов этого рода уже становятся реальностью. Имеющаяся в ТЭ огромная картотека лексики говоров Русского Севера стала основой для редактируемого А.К. Матвеевым словаря этих говоров, первый том которого должен выйти в свет в текущем году. Следует напомнить, что этот словарь – не первый подготовленный в УрГУ крупный труд по диалектной лексикографии: в 80–90 гг. был издан "Словарь русских говоров Среднего Урала", большая часть которого (вып. III–VII и три вып. дополнений) была отредактирована А.К. Матвеевым.

Содержащийся в "Словаре говоров Русского Севера" лексический материал несравненно богаче того, что можно найти в известных трудах Г. Куликовского, А. Подвысоцкого, а также В. Даля. Вводимые в научный оборот новые данные содержат кроме

¹ Показательна цифра – из защищенных в России в период с 1990 по 1999 гг. 9 докторских диссертаций по ономастике 3 выполнены в рамках Уральской топонимической школы учениками А.К. Матвеева [Superanskaja, Hengst, Vasil'eva 2000: 121].

прочего множество ранее не отмечавшихся лексических элементов уральского происхождения – зачастую локализмов, восходящих к вымершим языкам. По предварительной оценке, речь идет о более чем тысяче заимствованных лексем [Матвеев 1995б: 15], которые станут предметом анализа в "Словаре финно-угро-самодийских заимствований в говорах Русского Севера", подготавливаемом коллективом под руководством А.К. Матвеева. Нет сомнений, что эта работа обогатит русскую этимологию обилием свежего и прекрасно проработанного материала. Не менее существенно, что, коррелируя с результатами анализа топонимических данных, новый словарь будет способствовать обобщению и детализации описания древней лингвоэтнической картины Севера.

Занявшись топонимикой, А.К. Матвеев столкнулся с необходимостью усовершенствования ее теоретических оснований и методики. В теоретическом аспекте существенно прежде всего обращение А.К. Матвеева к проблеме статуса топонимики как науки, вернее, обоснование необходимости изучения географических (и иных собственных) имен лингвистическими методами. Именно в них он видит средство избавления топонимики от ее "вечной болезни – дилетантизма" [Матвеев 1974: 5]. С подобными мыслями А.К. Матвеева смыкаются его полемические соображения, касающиеся попыток обосновать независимость топонимастики от лингвистики путем установления "специфически" ономастических (топонимических) законов. А.К. Матвеев показал, в частности, что обоснованный В.А. Никоновым важный закон/принцип относительной негативности топонимии является лишь частным случаем определенных словопроизводственных процессов в топонимии [Матвеев 1974].

Важное значение для практики топонимических исследований имеет обсуждение А.К. Матвеевым понятий субстрата и заимствования в топонимии, демонстрация того, что наличие субстрата зачастую доказывается именно топонимическими данными. Это отнюдь не дает, однако, оснований для "противопоставления топонимического субстрата общезыковому" [Матвеев 1993: 94]. В этой связи уместно напомнить также о постоянно встречающихся в работах юбиляра уточнениях (как в теоретическом, так и в прикладном аспектах), касающихся содержания и соотношения используемых в топонимике понятий/терминов: субстрат, субсубстрат, квазисубстрат, микро- и макротопонимы, микротопонимический и гидродинамический субстрат, заимствования и "включения", адстрат и т.п. Показательно, например, обсуждение А.К. Матвеевым признаков субстратных элементов в отличие от квазисубстратных заимствований типа *Лена, Обь* [Матвеев 1993: 89].

Упомянутый выше ономастический эксперимент А.К. Матвеева, ставившийся им с друзьями-охотниками в лесах Шалинского района Свердловской области, позволил ему "изнутри" следить за развитием искусственной топонимической системы и обсудить проблему соотношения естественной и искусственной номинации в ономастике. Как выяснилось, граница между этими способами имяназвания весьма условна. Наблюдения над искусственными топонимическими системами могут быть полезны для этимологизации "настоящих" топонимов [Матвеев 1986б: 132–136; 1991: 13–27]. Работая с "топонимическими древностями", А.К. Матвеев затронул проблему происхождения имени собственного и соотношения проприальной и апеллятивной лексики на ранних этапах их развития [Матвеев 1987в].

А.К. Матвеева не удовлетворили использовавшиеся в топонимике методы исследования, их несовершенство, противоречивость и, как следствие, ненадежность результатов: "дискуссионность положений вынуждает многих... лингвистов и историков обходить топонимический материал, поскольку полученные при анализе топонимов выводы далеко не всегда вызывают доверие" [Матвеев 1986в: 5]. Указывая на примеры использования в топонимике системного подхода (в частности, бинарных оппозиций типа "северный" – "южный", "верхний" – "нижний"), он нашел возможности его более широкого и эффективного применения при анализе субстратной топонимии Севера. Наиболее перспективным был признан при этом ономастиологический подход (смыкающийся с изучением принципов номинации географических объектов), пред-

полагающий процедуры: 1) выстраивания "словаря важнейших семем, предположительно употребляемых в субстратной топонимии данной территории"; 2) перевод этого словаря на язык, факты которого наилучшим образом объясняют субстратную топонимию (язык-эталон); 3) наложение сетки лексем языка-эталона на субстратную топонимию. Правильный выбор языка-эталона и корректное осуществление указанных процедур ("направленная этимологизация") приводят к установлению более надежных этимологий топонимов и выявлению фонетических особенностей языка субстрата (разумеется, с учетом относительной способности топонимии отражать его), а также ареальных связей этого языка – не говоря о других выводах. "Направленная этимологизация" показала, например, что вымершие саамские диалекты Севера по признаку сохранения (неассимиляции) носовых в сочетаниях "носовой + гоморганный согласный" объединяются с большинством саамских диалектов Кольского п-ва. ср. русск. *дикий олень* (переданная по-русски семема), *Кондица*, *Кондозеро* (топонимы) – саам. (язык-эталон) *koŋ'dt* (Кильдин), но *god'de* (саам.-норв.) и т.п. [Матвеев 1976а: 66, 68–69].

Нередким суждениям о произвольности и непознаваемости топонимов может быть противопоставлена разработка А.К. Матвеевым принципа семантической мотивированности географических собственных имен – их зависимости от свойств обозначаемых ими объектов и иных факторов вплоть до этнической психологии этноса-номинатора [Матвеев 1969а]. Методический аспект присутствует и в значительном количестве созданных и/или усовершенствованных А.К. Матвеевым более частных приемов анализа топонимии. Сюда относится осмысленный им теоретически поиск топонимических калек, в том числе метонимических – встречающихся в топонимических системах с выраженным субстратным слоем "одинаковых в плане содержания, но различных в плане выражения (разноязычных) обозначений смежных объектов": в озере *Чачема* ("водяное", ср. саам. *časse* "вода") впадает река *Мокрая*, в *Рабручей* ("грязный ручей", ср. вепс. *raba* "гуща, грязь") впадает ручей *Грязный* и т.п. [Матвеев 1972: 80–81].

Принципиальную методическую особенность топонимических работ юбиляра составляет региональный подход. В начале топонимических исследований (60-е гг.) А.К. Матвеева этот подход резко контрастировал с распространенными в ту пору "трансконтинентальными" сопоставлениями этнонимов и субстратных топонимов. Подобные сопоставления, например, между северо-востоком Европы и Сибирью, безусловно имеют право на существование. Без них невозможно исследование ни доуральского субстрата на Русском Севере (ср. мысли А.К. Матвеева о сравнении гидронимов *Кема*, *Кьяма* с тув. хем "река" и т.п. [Матвеев 1969б: 54; 2000б: 127]), ни палеоевразийской или палеосибирской топонимии ([Матвеев 1971: 7–34]; ср. обсуждение проблемы гидронимов типа *Казым*, *Надым* в [Матвеев 1993: 90–91; 1997а: 9–10 и др.]). Опасность заключается в их неосторожном применении и/или универсализации в качестве основного приема топониматики.

Именно региональный подход, предполагавший рассмотрение субстратной топонимии на всем лингвистическом континууме конкретной территории (прежде всего на фоне данных по топонимии русского происхождения и по русской диалектной лексике, подкрепляемых данными исторического, географического и этнографического порядка) предопределил принципы полевой работы ТЭ. Особенно важной стала разработка А.К. Матвеевым метода микрорегионального исследования (комплексного анализа микротопонимии отдельных небольших территорий), оказывающегося наиболее эффективным инструментом выявления и этимологической идентификации верхнего слоя субстрата, представленного главным образом микротопонимией. Возможности этого метода были наглядно продемонстрированы А.К. Матвеевым при анализе Нижне-онежского региона [Матвеев 1989] и юго-восточной части Подвьяны [Матвеев 1998а]. Микрорегиональный подход органически соответствует характерному для Русского Севера "кустовому типу поселений, этнической пестроте в прошлом и связанной с ней языковой (диалектной) мозаичностью субстратной микротопонимии, плогные очаги которой возникают при обрусении местной чуди" [Матвеев 1989: 78].

Еще одним "китом", на котором зиждутся топонимические исследования А.К. Матвеева, является новаторски развитый им лингвогеографический анализ топонимии – картографирование фактов, выявление изоглосс, сопоставление ареалов и т.п. Чрезвычайно эффективным в работе А.К. Матвеева оказалось, в частности, выделение и анализ топооснов и топоформантов, способных дифференцировать разные по происхождению пласты топонимов, что напоминает роль анализа некоторых формантов (по существу, дифференцирующих) в трудах А.П. Дульзона по тюркской, самодийской и енисейской гидронимии. Так, название озера типа коми *ты*, венг. *tó*, нен. *to* ярко выделяет угорские, пермские и самодийские языки, что делает весьма показательным практическое отсутствие следов подобного форманта в субстратной топонимии Русского Севера [Матвеев 1990в: 13]. Кроме того, выделяются дифференцирующие фонетические и лексические признаки, позволяющие строить выводы о фонетических особенностях языков субстрата: начальное *Х*- как примета прибалтийско-финских топооснов, сочетание *-хч-* – саамских, и проч. [Матвеев 1970а: 14, 17, 28].

Здесь нет возможности даже перечислить используемые А.К. Матвеевым процедуры анализа топонимов наподобие исследования сочетаемости дифференцирующих и недифференцирующих основ и формантов или сопоставления данных анализа субстратных (микро)топонимов и заимствованных апеллятивов, в том числе сопоставление этих апеллятивов наподобие *корба* "глухой лес" ((карел. *korbi*) или *чёлма* "пролив" ((саам. *čol'bme*) и их топонимических коррелятов (*Корба*, *Чёлма*) с однокоренными образованиями типа *Корбанга*, *Корбуша* или *Чёлмохта*, *Чёлмус* [Матвеев 1970а: 12–13].

Этимологизация языковых реликтов, сохраняемых русской субстратной топонимией и диалектной лексикой, составляет основное содержание большей части публикаций А.К. Матвеева. Этой проблематике посвящены две его большие неопубликованные работы [Матвеев 1970б; 1980б], многие страницы его топонимических словарей, монографические серии статей в "Вопросах языкознания" (начиная с [Матвеев 1946б]), "Советском финно-угроведении" (в 60–70 гг.), серийных сборниках УрГУ "Вопросы ономастики", "Этимологические исследования", а также статьи в ежегоднике "Этимология", ряде зарубежных изданий и проч. (см. библиографию в [Матвеев-Библ. 1996]). Из представленных в этих работах результатов можно выделить следующие: 1) доказательство наличия в верхнем слое субстратной топонимии Русского Севера мощных прибалтийско-финского и саамского компонентов и их подробное описание, установление зоны их распространения и языковых (прежде всего фонетических, лексических) особенностей древних прибалтийско-финско-саамских диалектов; 2) обнаружение в границах упомянутой зоны фактов корреляции прибалтийско-финского и саамского пластов и "перекрывания" более раннего саамского пласта прибалтийско-финским; 3) доказательство отсутствия в субстратной топонимии угорских и самодийских реликтов и позднего происхождения коми топонимии; 4) выявление древнего пласта топонимов "севернофинского" происхождения, т.е. восходящих к промежуточным языкам прибалтийско-финско-саамско-волжского типа (например, гидронимы на гласный + *-hьga*, топоосновы, отражающие прибалтийско-финский консонантизм, но саамский вокализм – и аналогичные апеллятивы); 5) разработка мерянской гипотезы для интерпретации субстратной топонимии к югу от зоны сплошного распространения прибалтийско-финско-саамской топонимии, а также обоснование наличия топонимии мерянского происхождения на Русском Севере (в бассейне среднего течения р. Устья).

Значительные, но фрагментарные данные Я. Калимы, М. Фасмера, И.А. Попова и других ученых в пользу наличия в топонимике Русского Севера прибалтийско-финского и саамского компонентов были подтверждены А.К. Матвеевым на огромном и новаторски классифицированном материале. "Древнеугорская" и "древнесамодийская" концепции были им убедительно опровергнуты [Матвеев 1990в: 12–13; 1995б: 14–17], что согласуется с полученными на других основаниях выводами об этногенезе и этапах расселения уральских народов [Хелимский 1997: 228]. Надежные древнепермские реликты пока не обнаружены (в отличие от весьма многочисленных, но и весьма поздних

микротопонимов и гидронимов зырянского происхождения на северо-востоке Русского Севера), хотя вероятность их обнаружения имеется, ср наличествующий в летописном топониме *Тоимокары* дифференцирующий коми топоформант *-кар* "город" [Матвеев 1995а 39] Доуральский субстрат выражен слабо и с трудом поддается выделению

По вырисовывающейся в трудах А К Матвеева лингвоэтнической картине (ср [Матвеев 1999]), северо-запад Русского Севера перед началом русской (новгородской) колонизации был заселен по большей части различными этническими группами прибалтийских финнов и саамов. Саамские элементы встречаются в субстратной топонимике реже, чем прибалтийско-финские, но все же занимают в ней гораздо большее место, нежели предполагалось "до Матвеева". Гидронимия саамского происхождения распространена до восточных окраин Русского Севера. Языковые реликты саамского и волжско-финского ("марийского") типа восходят к языкам более древних обитателей этого региона, ассимилированных прибалтийскими финнами или русскими. В общем виде ретроспектива субстратных слоев представляется в виде русский, прибалтийско-финский, саамский, "марийский" (последний выявляется, например, на основе гидронимов на *-енгарь -енгерь, ингерь*, гидронима *Икса* в Архангельской области, ср соответственно мар *epei* "река" и *икса* "речка", "залив, проток") Древнейший, "севернофинский" пласт уралоязычной топонимии, как, вероятно, и часть "марийского", возник в ходе длительных (несколько тысячелетий), подтверждаемых археологически процессов переселений этнических групп из Волго-Окского междуречья на Север. Мерянская гипотеза, особенно интенсивно разрабатываемая А К Матвеевым в последние годы [Матвеев 1996б, 1997б, 1998б], связана с более ранними его разысканиями относительно волжско-финского *гесп* "марийского" компонента в топонимике Русского Севера. Не отождествляя мерю и мари (черемисов), А К Матвеев подобно М Фасмеру видит в марийцах ближайший к мере финно-угорский этнос. Существенный для этимологизации этнонима *зырянин, зырь* и этнической истории Русского Севера вывод, согласно которому на территории юга Архангельской обл. русские называли *зырянами* не зырян как таковых, а обрусевший со временем остаток заволочской чуди [Матвеев 1984а 79–86, 1995а 39] модифицируется. В "лжезырянах" усматриваются "поздние мерянские мигранты" ([Матвеев 1998б: 100]; менее определено [Матвеев 2000б 108–225]) Иницированные трудами А К Матвеева дискуссии по проблемам мерянистики, субстратной топонимии Русского Севера и т.п., ведущиеся при активном участии юбиляра, способствуют дальнейшему прогрессу в решении этих проблем.

Сказанное дает лишь самое беглое представление о результатах и масштабах научной деятельности А К Матвеева – строгого, целеустремленного и неутомимого исследователя, автора более чем 250 научных трудов. Научные и человеческие качества юбиляра обеспечили ему большой авторитет в отечественных и в зарубежных научных кругах. Не менее ценное, нежели научные труды, достижение Александра Константиновича составляют воспитанные им ученики, чья научная и педагогическая деятельность гарантирует успешное продолжение его дела. Характеристика созданной им Уральской топонимической школы составляет особую тему. Здесь можно только пожелать и Учителю и ученикам успешного продолжения их работы и осуществления всех намеченных планов*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Варбот Ж Ж 1992 – Этимология 1988–1990 М., 1992 – Рец. *Кари Лиукконен* Восточнославянские отглагольные существительные на *-т* – Т I Существительные на **t / *tu / *tu* Хельсинки, 1987
- Матвеев А К 1958 – К этимологии слова *ваньза* // Уч. зап. Урал. гос. ун-та. Свердловск 1958. Вып. 16.

* Статья написана при финансовой поддержке РФНФ – грант № 00-04 00910а

- Матвеев А К* 1959 – Финно-угорские заимствования в русских говорах Северного Урала // Уч зап Урал гос ун-та Свердловск, 1959 Вып 32
- Матвеев А К* 1964а – Последняя из калмажей // Уральский следопыт Свердловск, 1964 № 1
- Матвеев А К* 1964б – Субстратная топонимика Русского Севера // ВЯ 1964 № 2
- Матвеев А К* 1965 – Новые данные о камасинском языке и камасинской топонимике (предварительные сообщения) // Вопросы топонимстики Свердловск, 1965 Вып 2
- Матвеев А К* 1969а – Значение принципа семантической мотивированности для этимологизации субстратных топонимов // Этимология 1967 М., 1969
- Матвеев А К* 1969б – Происхождение основных пластов субстратной топонимии Русского Севера // ВЯ 1969 № 5
- Матвеев А К* 1970а – Русская топонимика финно-угорского происхождения на территории севера европейской части СССР Автореф дис док филол наук Свердловск, 1970
- Матвеев А К* 1970б – Русская топонимика финно-угорского происхождения на территории севера европейской части СССР Дис док филол наук Институт русского языка АН СССР Т 1–2 Приложения Карты М., 1970 (машинопись)
- Матвеев А К* 1971 – Из истории изучения субстратной топонимии Русского Севера I–II // Вопросы топонимстики Свердловск, 1971 Вып 5
- Матвеев А К* 1972 – Взаимодействие языков и методы топонимических исследований // ВЯ 1972 № 3
- Матвеев А К* 1973 – Этимологизация субстратных топонимов и апеллятивные заимствования I–II // Этимология 1971 М., 1973
- Матвеев А К* 1974 – Тезисы о топонимике I–2 // Вопросы ономастики Свердловск, 1974 Вып 7
- Матвеев А К* 1976а – Этимологизация субстратных топонимов и моделирование компонентов топонимических систем // ВЯ 1976 № 3
- Матвеев А К* 1976б – Неройки караулят Урал Свердловск, 1976
- Матвеев А К* 1980а – Географические названия Урала Свердловск 1980
- Матвеев А К* 1980б – Этимологический словарь субстратных топонимов Русского Севера Прибалтийско финские и саамские форманты и основы Т I Свердловск, 1980 (машинопись)
- Матвеев А К* 1984а – Еще об этимологии этнонима *зырянин* // Этимологические исследования Сб науч тр Свердловск 1984
- Матвеев А К* 1984б – От Пай-Хоя до Мугуджар Названия уральских хребтов и гор Свердловск, 1984
- Матвеев А К* 1986а – К изучению орографической терминологии в русских говорах Северного Урала // Севернорусские говоры в иноязычном окружении Межвуз сб науч тр Сыктывкар, 1986
- Матвеев А К* 1986б – К интерпретации одной условной топонимической системы // Этимология 1984 М., 1986
- Матвеев А К* 1986в – Методы топонимических исследований Учебное пособие Свердловск, 1986
- Матвеев А К* 1987а – Архаическая русская топонимия на северо-востоке европейской части СССР // ВЯ 1987 № 2
- Матвеев А К* 1987б – Географические названия Урала Изд 2-е перераб и доп Свердловск 1987
- Матвеев А К* 1987в – Топонимические древности 1–3 // Формирование и развитие топонимии Сб науч тр Свердловск, 1987 (Вопросы ономастики Вып 18)
- Матвеев А К* 1989 – Субстратная микротопонимия как объект комплексного регионального исследования // ВЯ 1989 № 1
- Матвеев А К* 1990а – Вершины Каменного Пояса Названия гор Урала Челябинск, 1990
- Матвеев А К* 1990б – Вверх по реке забвения Свердловск, 1990
- Матвеев А К* 1990в – К лингвоэтнической идентификации финно-угорской субстратной топонимии // Uralo Indogermanica Балто славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей Материалы 3 ей Балто славянской конференции М., 1990 Ч I
- Матвеев А К* 1991 – В роли создателя топонимов // Номинация в ономастике Сб науч тр Свердловск 1991 (Вопросы ономастики Вып 19)

- Матвеев А.К.* 1993 – Субстрат и заимствование в топонимии // ВЯ. 1993. № 3.
- Матвеев А.К.* 1995а – Аппелятивные заимствования и стратификация субстратных топонимов // ВЯ. 1995. № 2.
- Матвеев А.К.* 1995б – К проблеме древних миграций уральских народов // Аборигены Сибири: Проблемы изучения исчезающих языков и культур: Тезисы Межд. науч. конф. Новосибирск, 1995. Т. 1.
- Матвеев А.К.* 1996а – Материалы для словаря финно-угро-самодийских заимствований в говорах Русского Севера // Этимологические исследования. Екатеринбург, 1996. Вып. 6.
- Матвеев А.К.* 1996б – Субстратная топонимия Русского Севера и мерянская проблема // ВЯ. 1996. № 1.
- Матвеев А.К.* 1997а – Географические названия Тюменского Севера. Екатеринбург, 1997.
- Матвеев А.К.* 1997б – К проблеме расселения летописной мери // Изв. Уральского гос. ун-та: Гуманитарные науки. Екатеринбург, 1997. Вып. 1.
- Матвеев А.К.* 1998а – К проблеме лингвистического изучения юго-восточной части Русского Севера // Ономастика и диалектная лексика. Екатеринбург, 1998. Вып. 2.
- Матвеев А.К.* 1998б – Мерянская топонимия на Русском Севере – фантом или феномен? // ВЯ. 1998. № 5.
- Матвеев А.К.* 1999 – Древнее население севера Европейской России: Опыт лингвоэтнической карты 1 // Изв. Урал. гос. ун-та: Гуманитарные науки, 1999. Вып. 2.
- Матвеев А.К.* 2000а – Топонимические поиски 1 // Финно-угорское наследие в русском языке: Сб. Науч. тр. Свердловск, 2000.
- Матвеев А.К.* 2000б – Географические названия Свердловской области: Топонимический словарь. Екатеринбург, 2000.
- Матвеев-Библ. 1996 – Матвеев Александр Константинович: Библиографический указатель трудов / Сост. А.В. Глазырин. Екатеринбург, 1996.
- Николаева Е.С.* 2000 – Электронная картотека топонимии Русского Севера: проблемы и перспективы // Финно-угорское наследие в русском языке: Сб. науч. тр. Свердловск, 2000.
- Общая лексика 1989 – Общая лексика германских и балто-славянских языков. Киев. 1989.
- Рут М.Э.* 1996 – [Предисловие] // Матвеев Александр Константинович: Библиографический указатель трудов // Сост. А.В. Глазырин. Екатеринбург, 1996.
- Рут М.Э.* 1997 – Тридцать пять лет Топонимической экспедиции Уральского университета: повод для размышлений о методике полевых работ // Изв. Урал. гос. ун-та: Гуманитарные науки. Екатеринбург, 1997. Вып. 1.
- Топоров В.Н.* 1975 – Прусский язык: Словарь. А–D. М., 1975.
- Хелимский Е.А.* 1997 – Uralo-Indogermanica: Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей // Балто-славянские исследования 1988–1996. М., 1997.
- Superanskaja A., Hengst K., Vasil'eva N.* 2000 – Namenforschung in Russland nach 1990 // Namenkundliche Informationen 75/76. Leipzig, 2000.

© 2001 г. А.Л. ШИЛОВ

О МЕРЯНСКИХ ТОПОНИМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРАХ

(голос в дискуссии)

Ранее автор высказал мнение о преждевременности "мерянской" дискуссии [Шилов 1999в: сноска 1]. Тем не менее, дискуссия эта разгорелась [Матвеев 1996; 1998а; Аלקвист 1997; 2000а; 2000б]. В ходе ее уже были высказаны интересные идеи, и она сулит многое в дальнейшем. Вместе с тем, далеко не все выдвинутые положения представляются в полной мере обоснованными. Коль скоро разговор о мерянских топонимических (и не только) индикаторах принял достаточно активный (порой острый) характер, автор считает бесполезным изложение некоторых своих соображений. питаемых, в большой степени, опытом работы с топонимией соседних с мерянскими древними новгородскими территориями (Вепсского Межозерья, Тверской и Новгородской областей, особенно же – Карелии). Некие ограничения, как нам представляется, были бы полезны на данном этапе изучения мерянской проблемы.

I. Кунд-

А. Аלקвист [Аלקвист 1998: 8–10; 2000б: 84] относит к мерянским показателям топооснову *Кунд(V)*-, приписывая ей значение 'отдельная часть поселения'. Очевидно, в мерянском языке слово **kund(V)* существовало. Соответствующие топонимы, правда, распространены не только в исторических мерянских землях (ИМЗ), но и на обширных территориях Русского Севера. Назовем, хотя бы, *Кундюг* – бывший рукав Кемы при впадении в Белоозеро, *Кундеба* – пр. Кулоя. *Кундьиш* (1684 г.) в Важском уезде. *Кундаранда* в Архангельской обл., *Кала-кунда*. *Кундома* в Карелии, *Кунда* на севере Эстонии. Вместе с тем, нигде в нынешних и бывших финно-угорских землях элемент *Кунд(V)*- в составе ойконимов не представлен в таком количестве, как в ИМЗ [Аלקвист 1998]. Поэтому он действительно может быть признан мерянским топонимическим (ойконимическим) индикатором. Иной вопрос – его семантика.

В прибалтийско-финской ойконимии (в том числе и субстратной) термины, обозначающие вид поселения или его части (*kylä* 'деревня', *kondu* 'хутор', *talo* 'двор', *hovi* 'усадебя', *puoli* 'сторона', *syryjä* 'край', *perä*, *perze* 'задняя часть селения', *pää*, *agje* 'край, конец', *kulma* 'угол' и др.) находятся в пост-, а не в препозиции ([Nissilä 1975; Kepsu 1981; Мамонтова 1982; Муллонен 1994]: *Savinkylä*, *Rajakondu*, *Alatalo*, *Hotinhovi*, *Randapuoli*, *Leppäsyryjä*, *Суонеря*, *Пустонержа*, *Ликония*, *Линчага*, *Sahankulma* и т.п. Рассматриваемый же элемент **kund-* в подавляющем большинстве случаев находится в препозиции, т.е. служит определением. Ввиду этого, его значение скорее ближе к тому, что присуще лексеме *kunt-*, *kund-*, *kond-* 'община; род; большая семья', известной в большинстве финно-угорских языков (но отсутствующей в марийском) [SKES: 238–239]. Топонимы со значением "Общинное поле", "Общинный лес", "Общинная тonya" (в общем – "Общинное (или родовое) угодье") достаточно типичны для Русского Севера.

II. -хта, -гда

Совершенно неожиданными для автора оказались следующие положения, выдвинутые в [Альквист 2000а: 30–31]: "Единственно надежным мерянским гидронимическим формантом мы считаем -хта, -гда, распространенный кроме Мерянской земли, видимо, во вторичных названиях в Белозерье. Вне этого очень четкого арсала имеются только единичные случаи на других территориях, например по Северной Двине (также *Вычегда*). Речной суффикс -гда, -хта связывается уже Д. Эрункусом с окончанием гидронимов на -кса, -киа. На первый взгляд, это не убеждает. Однако нам приходилось записывать несколько вариантов названий, где -гда/-хта и -кса, -киа sporadически варьируется. К этому имеет отношение чередование сочетания согласных -ht- ~ -ks- в прибалтийско-финских языках... Название жителей города Вологды в форме *вологжане* может служить доказательством того, что в домерянское время одноименная река могла именоваться **Волокиа*. К Владимиричине, кстати, и относится оз. *Волокиа* (*Волошка*). В любом случае название *Вологда* должно входить в ряд потамонимов на -хта, -гда, и принятую этимологию, разделяемую также А.К. Матвеевым, от марийск. *волгыдо* 'светлый' [Матвеев 1998: 97; ЭСРЯ 1964 1: 340] придется изменить". Предполагается также генетическая связь элементов *хта* и *пта, ста*. Последние усматриваются во многих северорусских топонимах, даже в таких, как *Устюг* и *Устюжна*: "о финно-угорском происхождении основы свидетельствует, на самом деле, уже наличие в названии форманта -юг" [Альквист 2000б: 86] На это заметим следующее:

1. А.К. Матвеев учитывал и ту возможность трактовки названия *Вологда*, что указывает А. Альквист, никоим образом, впрочем, не связывая формант -гда с мерянами [Матвеев 1992: 85–86] (см. и [Поспелов 1998]). О мерянском же происхождении формантов -гда, -хта писал А.В. Кузнецов [Кузнецов 1991: 24–30].

2. Именованье *вологжане* не имеет никакого отношения к вопросу: оно отражает закономерный переход *д* (перед *ј*) > *ж* в собственно русском языке, ср. *город* – *горожане*, *Водь* – *вожане* и т.п.

3. О вариативности -хт- ~ -ки-(-с-) в гидронимах говорил (с единственным примером *Молохта-Молокиа*) и Е.М. Поспелов [1970; 1985], однако подобного чередования в прибалтийско-финских языках н е б ы л о. В редких случаях к такому соответствию приводило разное развитие (в разных языках) праформы с **-kti* (ср. фин., эст. *lah(i)*, кар. *lakši*, вепс. **laks*, саам. *leäihše*). Развернутую критику этого предположения см. в [Муллонен 1988]. Финаль -кса (-киа) гидронимов Карелии, Вепского Межозерья и значительной части Заволочья заведомо отражает различные словообразовательные элементы (и их переработку позднейшим населением) финно-угорских языков [Попов 1965: 110–111; Шиллов 1999в: 108–109]. Формант же -гда (-хта), судя по всему, отражает некий финно-угорский гидронимический термин (см. ниже, п. 5). Редкие же случаи фиксации вариантов типа *Молохта-Молокиа*, могут быть обусловлены уподоблением (в русском употреблении) названий на -хта доминирующим в данном регионе гидронимам на -кса при равной смысловой нейтральности (неясности) обоих формантов для русского населения.

4. Родство элементов *хта* и *пта* в гидронимах в принципе допустимо (см. [Муллонен 1988] с примерами), хотя и не доказано. Но названия типа *Устюг*, *Устюжна* привлекать сюда, право, не стоит. Здесь нет никакого переосмысления древних названий через русское *устье*, а просто фиксируется факт расположения поселения в устье притока более значительной реки (который может носить и нерусское имя)¹.

¹ Позволим себе процитировать С. Герберштейна, который уже в первой половине XVI в. абсолютно правильно понимал происхождение названия *Устюг*: «Область *Устюг* получила название от города и крепости, которые лежат на реке Сухоне... Прежде город был

5. Вопрос происхождения гидронимов данного типа весьма сложен. Хотя бы потому, что существует три группы названий, распространенных на огромной территории и содержащих сочетание *-гда-*, *-хта-*: "чистые" названия типа *Охта*, *Ухта*, *Гда*; названия, где данный элемент выступает в качестве основы (или первого компонента) топонима (*Охтома*, *Охтенга*, *Ухтубуж* и т.д.); названия, где данный элемент стоит в позиции географического детерминанта (*Керогда*, *Челмохта*, *Нерехта* и т.д.). Первый и второй типы, в основном, встречаются севернее, третий – южнее, хотя есть много исключений и в том, и в другом отношении². Характер (точнее, значение

расположен при устье реки *Юг* (Iug)... Впоследствии по причине удобства места он был перемещен почти на полмили выше устья, но доселе еще сохраняет прежнее название, ибо по-русски *устье* зовется *Usteie* (*Ustye*), откуда и *Устюг* значит "устье Юга"» [Герберштейн: 155]. О современной трактовке названий *Устюг*, *Устюжна* и многих подобных (с русским компонентом *Усть-*) см. [Матвеев 1992: 88–89; Поспелов 1998].

² Вот перечень известных нам названий (явно далеко не полный): 1. "Чистые" (или с протезой, либо с русским уменьшительным суффиксом) формы: *Бохта* – пр. Тунгуды; *Вохта* – пр. Малой Суны; *Вохтенка* (указано А.К. Матвеевым); *Гда* (2) – нижнее течение р. Сара, пр. оз. Неро; пр. Чудского оз., *Охта* (4) – пр. Пистайоки; пр. Кемь; пр. Невы; пр. Виледи басс. Вычегды; *Ухта* (7) – пр. Ижмы; пр. оз. Куйто; пр. Руйги басс. Белого моря; пр. Ньючи; пр. Белого моря (Онежск. п-в); пр. оз. Лаче; пр. Вруды, пр. Луги; *Ухтица* – пр. Руйги.

2. Названия, где рассматриваемые элементы выступают как топоосновы: *Бохтема* (Матвеев); *Бохтенга* (*Богтенга*) – пр. Ухтомы Вожезерской; *Бохтюга* (на ней дер. *Вохтоболка*) – бифуркация Кубены; *Вохтома* – староречье Сухоны (пр. Бол. Пучкаса); *Вохтома* Костр. обл.; *Вовданга* (**Вохтанга*) – пр. Кулюя; *Вохтога* – пп Лежи, пр. Сухоны; *Вохтомец* (Матвеев); *Вохтомица* – пр. Волошки, пр. Онеги; *Вохтома* басс. Унжи; *Вохма* (**Вохтома*) – пр. Ветлуги; *Вохтыш* (Матвеев); *Вухтангегги* – пр. Ведлозера; *Ехт-ручей* – пр. Ошты, пр. Онежского оз.; *Охтанаярви* на СВ Швеции; *Охтома* (5) – пр. Покшеньги, пр. Пинеги; пр. Илексы; пр. Волозера; пр. Воезерки басс. Онеги (также *Охтомица*, *Ахтома*); *Охтонга* – пр. Б. Пормы басс. Онеги; *Уфтюга* (5) – лп Сухоны (она же *Ухтюга*); пп Двины; пр. Кубенского оз.; пр. Кокшенги, пр. Устья; Порши, пр. Сухоны; *Уктанга* (*Уфтанга*) – лп Сухоны, *Ухваж* (**Ултвж*) – лп Двины, *Ухменьга* (**Ухтменьга*) – пр. В. Тоймы, *Ухтома* (4) – пр. Согожи, пр. Шексны; пр. Белоозера; пр. Модлоны басс. оз. Воже; пр. Нерли Клязьминской (верховья лежат рядом с Ухтохой); *Ухтомица* – пр. Уфтюги Кубенской; *Ухтоярское* – оз. на пути с Андоги на Белоозеро; *Ухтум* и *Ухтым* в басс. Вятки; *Уктым* – пр. Яренги, пр. Вычегды; *Ухтохма* – пр. Уводи, пр. Клязьмы; *Ухтубуж* (совр. Попово) – пос. в Мантуровском р-не; *Ухтынгирь* – пос. на р. Елпать, пр. Желваты в Кадыйском р-не. Здесь присутствуют форманты: *-ема* (*ома*, *-ым*, *-ум*) – 21, *-енга* (*онга*, *анга*) – 4, *-ом-еньга* – 1, *-юга* (*ога*, *ан-егги*) – 8, *-уя* (*ою*) – 2, *-охми* – 1, *-ыш* – 1, *-важ* – 1, *-буж* – 1, *-ынгирь* – 1.

Заметим, что существование таких карельских названий, как *Бохта*, *Вохта*, *Вухтангегги*, требует оговорки к интерпретации "ареала *Во-*, *Бо-*" в работах А.К. Матвеева [1996; 1997].

3. Названия, где рассматриваемые элементы находятся в позиции географического детерминанта: *Вологда* – пп Сухоны; *Вычегда* – пп Двины; *Керогда* в басс. Двины; *Пелегда* – басс. р. Юхоть [Кусов № 664]; *Печегда* – пр. Нерли Клязьминской; *Рочегда* – пр. Двины; *Судогда* – пп Клязьмы; *Шижегда* – лп Клязьмы; *Шогда* (2) – пр. Илезки; пр. Сухоны; лп Суды; *Волохта* – пр. Свида; *Инахта* (Попов 1974); *Козохта* в ИМЗ; *Колохта* – лп Унжи; *Колыхта* – оз. на ЮВ Белоозерья; *Молохта* (*Молокца*, *Молокшия*) – пр. Шерны, лп Клязьмы; *Немдохта* (в Костромск. обл.); *Нерехта* (2) – лп Клязьмы; пр. Костромь; *Сахтыш* Владим. обл.; *Сарбахта* – пр. Онежского оз.; *Саюхта*, *Серохта*, *Солохта* – притоки Андоги, пр. Суды; *Сорохта* басс. Клязьмы; *Тафта* (**Тахти*) – пр. Вожбала, пр. Сухоны; *Тоехта* – пр. Унжи; *Тумахта* басс. Волги близ Каляжина; *Чёлмохта* – пп Двины, *Шейбухта* – дер. басс. Сухоны; *Шахтыш* (2) – притоки Сухоны; *Шохта* (2) – притоки Сухоны; *Шухтовка* – лп Андоги; *Шибакта* – лп Дубны Волжской; *Шимахта* (рядом *Черная*) басс. Клязьмы (дер. *Шимохтино* Александр. р-на), *Шомохта*. Особо выделяется группа компактно расположенных названий на *-хоть*, *-готь*: *Воржехоть* – р. в р-не Углича [Кусов, № 569]; *Кирехоть*, *Лухоть* – притоки Масляной, пр. Вологды; *Песохоть*, *Пуитрохоть*, *Солдобохоть* – притоки Урдомы, пр. Волги; *Сохоть* – пр. Репы, пр. Согожи; *Шаготь*, *Юхоть* – пр. Волги в Ярослав. обл.; *Яхоть* в Дмитровском уезде [Кусов № 542, 553]. Формально они могут быть возведены к названиям на *-хта*, *-гда* через форму косвенных

соответствующих рек для быта древних обитателей региона) рек, носящих название того или иного типа, также в целом различен. Первые два типа названий, как правило, принадлежат рекам, входившим в состав древних водно-волоковых путей [Афанасьев 1979; Макаров, 1997: 96 и сл.; Шилов 1999в: 106–107]; их основа может быть сопоставлена с пр.-фин. *johto* – ‘путеводный’, хант. *охгт, охгым, ухг(у)т* ‘волок; перешеек между двумя реками’³. Названия третьего типа принадлежат, как правило, небольшим притокам или речным протокам, ср. манс. *axm(a)* ‘протока из озера в реку; речка, всегда имеющая воду’, вепс. *joht* ‘старица реки’. Опять-таки, здесь деление не абсолютное, ибо иные реки, носящие названия третьего типа, явно являлись в древности транзитными магистралями (*Вологда*), а ряд рек с названиями первого и второго типов являлись просто небольшими притоками или протоками более крупных рек (*Ухта* пр. Нюхчи, *Вахтама* – старорецье Сухоны).

Сама А. Альквист склонна разделять лотонимы типа *Oxm-*. *Uxm-* с одной стороны и *-гда(-хта)* с другой (но к какой группе тогда причислять “чистые” названия *Oхта, Ухта, Гда?*). В отношении первых она говорит: “по фонетическому рассеянию (имея в виду полагаемое родство названий на *Oxm-* (*Вохт-*), *Uxm-*, *Oum-*, *Uum-*, *Ust* – *А.Ш.*) и по огромной площади ареала можно оценивать данную топонимию как очень древнюю. Даже на мерянской территории данная топонимия должна являться суб-субстратной” [Альквист 2000б; 87–87]. Но, даже если будет доказано различие генезиса потамоимов типа *Oxm-/Uxm-* и *-хта/-гда/-хоть*, этого недостаточно для признания собственно мерянским происхождения соответствующих формантов. То, что меряне могли иметь термин, отразившийся в каких-то названиях на *хта* (*-гда*), заведомо отрицать нельзя. Но термин этот должен рассматриваться как древнее финно-угорское наследие, а вовсе не как типичный мерянизм⁴. Имеющиеся на настоящий момент данные (география распространения⁵; трудность этимологизации топооснов, сочетающихся с формантами *-гда*, *-хта*, как и самих этих формантов; сочетаемость основ *Oxm-*, *Uxm-* с определенными топоформантами) указывают на весьма древнее происхождение всех указанных типов потамоимов с элементов *хта* (*гда*).

III. Векса

Термин *векса*, *вёкса*, известный в Костромской области в значении ‘озерный сток в реку’ общепризнан в качестве мерянского [Попов 1965: 89–90; Матвеев 1998а: 96–98; Альквист 2000б: 83], хотя, возможно, он не является узкомерянским по происхождению [Матвеев 1974]. Действительно, соответствующие топонимы в целом не выходят за пределы мерянских земель (в том их объеме, что вырисовывается в настоящее время). Так, известны: *Векса* – сток оз. Неро, *Векса* – сток оз. Плещеево, *Вёкса*

падежей в русском употреблении, ср. *Нерехта* – *Нерехотский стан*, *Шохта* – *Шоготское болото* (но ср. и рус. *Ухта* – фин. *Uhtua ~ Uhtu*). А.К. Матвеев показал, что на русской почве подобные названия возникают подчас и из топонимов с исходом на *-кса* (*-кша*) [Матвеев 2000: 108–109]. При этом, однако, необъяснимой остается узкая локализация указанных потамоимов.

Перечисленные названия содержат основы: *Вол-* (2), *Ворж-*, *Выч-*, *Инз-*, *Кер-*, *Кир-*, *Коз-*, *Кол-* (2), *Л(V)-*, *Мол-*, *Немб-*, *Нер-* (2), *Пел-*, *Пес-*, *Печ-*, *Пуитр-*, *Роч-*, *С(V)-* (2), *Сарб-*, *Сан-*, *Сер-*, *Сол-*, *Солдоб-*, *Сор-*, *Суд-*, *То-*, *Тум-*, *Челм-*, *Шейб-*, *Ш(V)-* (8), *Шиб-*, *Шиж-*, *Шим-*, *Шом-*.

³ Конечно, какая-то часть подобных названий (*Ухтнаволоок* на Онежском п-ве, *Ухтоостров* на Двине и др.) может иметь и иное происхождение, восходя, скажем, к прибалтийско-финско-саамской основе со значением “один” [Шилов 1996: 66–67; Матвеев 2000: 109–110].

⁴ Не говорим уже о том, что происхождение форманта *-хта* (так же как и основы *Oxm-*, *Uxm-*) может быть гетерогенным, ср. мордовский показатель множественности *-хть*.

⁵ Заметим, что топонимия данного типа отсутствует на Кольском п-ве. Можно поэтому полагать, что обсуждаемая лексема не была присуща саамским диалектам, либо была утрачена финно-угорскими предками саамов на их пути из Подвинья в Фенноскандию (ср. [Альквист 2000а; Матвеев 2000]).

(Вокса в "Книге Большому Чертежу") – сток Галицкого оз., Векса (Вокса) – сток оз. Чухломского; Векса – название р. Сулошь (пр. Дубны волжской) ниже оз. Заболотское, Вёкса – сток в р. Вологда из оз. Большой Лоск, Вёкса – пролив между озерами Токсовским и Кубенским (назовем и лп Сухоны Векшанга, известный с 1137 г. [Шилов 1999б: 20, 31]). Есть еще две реки Выкса басс. Шексны: сток из озера Ворбозомского в 20 км ниже Белоозера (ныне Ворбозомка. Выкса – в документах XV–XVII вв. [АСЭИ 1952–1964. Т. 2, № 79]) и сток Выкса (в XV–XVII вв. также Выксинга) из оз. Выксинского ниже Череповца⁶.

Далее на восток и на север элемент векса в топонимах сменяется на икша, икса⁷ (на востоке – родственным ему марийским, на севере же – прибалтийско-финско-саамским, явно иного происхождения). Еще далее к северу и северо-западу вновь во множестве появляются топонимы с основой Векс-, Векш-, Вокш-, Виск- (опять-таки, иного, нежели векса, происхождения), отделенные от мерянских "икс(икши) – поясом" [Матвеев 1974; Шилов 1997]. Таким образом, названия типа Векса действительно можно признать мерянским индикатором⁸.

IV. -бол-бола

Соответствующие названия неизменно привлекали внимание исследователей [Европеус 1876; Попов 1965; 1974; Матвеев 1970; 1995а: 1996; 1998а; Востриков 1980; Альквист 1997; 2000а].

Топоформант тиа -бола, чаще присутствующий в ойконимах, нежели в гидронимах. А.И. Попов [1974] определенно трактовал как мерянский в значении "вид поселения". А.К. Матвеев указал, что названия с -бола/-пола многочисленны не только на исторических мерянских землях (ИМЗ), но и на Русском Севере (РС), где они членятся на несколько локальных групп (Белозерье, Сухона, район оз. Лача, среднее и нижнее Подвинье, Пинега, Мезень). При этом А.К. Матвеев пришел к выводу, что северные топонимы – не мерянские, но родственны им [Матвеев 1996].

Если бы мы ставили вопрос лишь о распространении мерянской топонимии, принципиального значения этимология элемента бол не имела бы, сколь скоро он признан как мерянский индикатор (еще более определенно – ойконимный термин). Но поскольку подобные названия наличествуют и там, где присутствие исторической мери на первый взгляд маловероятно (или вовсе невероятно) вопрос этимологии мерянского *bol становится актуальным. Если окажется, что оно может быть возведено к финно-угорским лексемам, семантика которых приемлема для обозначения поселений, тогда большинство северных примеров потенциально может быть отнесено к прибалтийским финнам, к древней прибалтийско-финской чуди, или саамам⁹. В противном случае нам придется более внимательно отнестись к известной мерянской теории Я. Калимы (естественно, с теми временными и территориальными поправками, что вытекают из результатов позднейших топонимических исследований). Впрочем, вопрос этот осложняется следующим обстоятельством. Если многие термины, обозначающие гидронимические и оронимические объекты, остались и поныне общими для всех или

⁶ В этот ряд не входит, вопреки [Попов 1965; Пospelов 1970], название р. Вуокса (фин. Vuoksi, др.-рус. Вокша, Вокса) басс. Ладожского оз., которое происходит из фин. vuoksi 'поток, течение' – производному от vuotaa 'течь' [Матвеев 1974]. Равным образом, сюда не относятся Вокша – пр. Шелони и р. Vokša в Литве.

⁷ Икша – пр. Яхромы волжской, Икша – лп Ветлуги, Икса (3 реки) и Иксозеро басс. Онеги, Икса – лп Вычегды, Икса басс. Пинеги, Иксома – северный рукав Вожеги при свалении в оз. Воже (южный рукав – Улма < *Ухтма?), Икша – лп Выга.

⁸ Нейсным остается происхождение названия озерного стока Выкса близ Муромы (исконное? перенесенное?).

⁹ А.К. Матвеев [Матвеев 1997: 13] отметил, что топоформант мог быть общим для целого ряда языков, совпадая в них полностью или варьируя.

многих финно-угорских языков (финно-угорское *joki* "река", финно-волжское *jerljärv* "озеро", финно-угорское **vere* "гора" и т.д.), то термины, обозначающие поселения (кроме, разве что, *reit* "изба" и *kota* "хижина, жилище"), в большинстве случаев различны у разных групп финно-угорских народов.

О происхождении соответствующих формантов единого мнения нет. Д. Европеус выводил их из манс. *паул*, *навыл* 'изба', венг. *falv* 'деревня'. А.И. Попов сравнивал *-бол(а)* с удмурт. *нал* 'сторона', отмечая, что до недавнего времени оно применялось в качестве обозначения поселений группы родственных лиц [Попов 1974]. А.К. Матвеев [1995а], отметив, что на марийской почве формант не получает убедительной этимологии, предположительно сопоставил его с саам. *bælle* 'сторона; половина' (ср. фин., карел. *puoli*, вепс. *pol'*, эст. *pool*, водск. *pooli* 'половина, часть, сторона', но и 'местность, край, округа'). Интересно и прибалт.-фин. *pala* 'кусок (в т.ч. – земли), полоска поля', в топонимах – 'участок земли', а также *palo* 'пожога', потенциально имеющее возможность перейти в термин, обозначающий жилище, поселение (подробнее [Шилов 1997]). Рассматривая топонимы Белозерья, Л.А. Субботина для элементов *-бал*, *-нал* в ойконимах принимает этимологию, предложенную в [Матвеев 1970]: прибалт.-фин. *puoli* (вепс. *pol*) 'сторона, половина' (при учете известного в Белозерье соответствия *n/б, n/в/б*). Для названий урочищ и хозяйственных угодий ею предполагается этимологическая связь с прибалт.-фин. *pala* 'часть, кусок (в том числе земли)'. Названия немногих подобных гидронимов она считает метонимическими образованиями [Субботина 1987].

Вопрос, таким образом, пока остается нерешенным. Однако независимо от того, какая из предложенных этимологий истинна, приведенные лексические параллели показывают, что, скорее всего, обсуждаемый формант имеет волжско-финское или шире – финно-угорское, – но не узко мерянское происхождение. Иное дело, что данная "финская" лексема могла реализоваться в топонимии далеко не всех финских народов. Ниже представлена таблица, показывающая возможные этимологические связи известных на настоящее время автору названий обсуждаемого типа. В таблице приведено 107 названий (не считая тех, где, по нашему мнению, нет элемента *-бол*). Для РС отмечено 56 топооснов (47 только здесь), для ИМЗ – 40 (31 только здесь), а всего основ – 87. Общих основ доля РС и ИМЗ оказалось 9 (10%), они принадлежат 21 топониму (20% от общего числа)¹⁰. При этом большая часть общих основ (7 из 9) на РС приурочена к тем районам (ЮВ Белозерья, Устья, Вага, Верхняя Сухона), где найдены и иные мерянские индикаторы [Матвеев 1996; 1997; 1998а].

Рассматриваемые названия образуют ареал, охватывающий, без сколь-либо ощутимых разрывов, исторические земли мери, Белозерье, верхнее Поонежье, верхнюю Сухону, Поважье и Подвинье, доходя до Мезени на востоке и до юга Кольского п-ва на севере (*Тулмбалка* на Терском берегу)¹¹. Но при этом единство ареала¹²

¹⁰ При этом часть названий ИМЗ (среди перечисленных – 8) образована путем присоединения элемента *-бол* к названиям рек и озер, чье происхождение могло быть самым различным по отношению к мерянскому слою.

¹¹ Именно этот район (др.-рус. *Тьре*) Кольского п-ва был первым из освоенных новгородцами, и именно – со стороны их Двинских владений. Показательно и название *Черемисино* в этом же районе [Керт 1981], и то, что на Терском берегу (и только здесь) Кольского п-ва в изобилии представлены топонимы с компонентом *курья*, который явно был заимствован русскими в Заволочье [Шилов 1999].

¹² Ареал *-бол* в целом совпадает с относительно неплотным, но выразительным ареалом (возможно в свою очередь, состоящим из нескольких микроареалов) названий *Едом/Едьма/Идьма/-одом/едом/Ведом* [Попов 1974; Шилов 1997; Матвеев 1998]. Северная же его часть – от юга Кольского п-ва до басс. р. Кострома – почти точно совпадает с достаточно четко очерченным ареалом гидронимов с элементом *Анд* [Матвеев 1995] (о возможном его происхождении будет сказано в ином месте).

Русский Север	Исторические мерянские земли	Лексические и топонимические параллели
Андобал (<i>Андопал</i> , <i>Андопол</i> [Копанев 1951; Субботина 1987]) на р. <i>Андога</i>	Атебал [Попов 1974] Брембола – часть Переяславля; Бремболка Переяславского р-на Бубол , <i>Бубольское село</i> [ДДГ 1950: 47, 49, 72], ныне <i>Боболи</i> на р. <i>Бобольская</i> , лп Лужи, пп Протвы; Боболка – р. к СВ от Москвы [Кусов 1993, № 648]	См. ниже, сноска 12 Мар. <i>ate</i> "посуда", морд. <i>атя</i> "муж; старик" мар. <i>βaget</i> 'пачкать', <i>βeretdem</i> 'осматривать место' мар. <i>βij</i> 'голова', морд. эрз. <i>бубу</i> 'вошь'
Вадбал (<i>Ватбал</i> , <i>Вадбол</i> в XV–XVI вв.) в басс. <i>Андоги</i>	Ватбол [Попов 1974] Вежболово на <i>Вежболке</i> – пр. Ворши, пр. Клязьмы Вескоболка – пр. Ворши, лп Клязьмы	приб.-фин. <i>vata, vad</i> 'вид бредня' мар. <i>βes(e)</i> 'второй', <i>wəse</i> 'тощий', морд. мокш. <i>виш</i> 'малый', морд. эрз. <i>виш</i> 'полба' Ср. <i>Вишкура</i> – пр. Поля, лп Клязьмы
Воевала на <i>Пинеге</i> у волока на <i>Кулой</i>		<i>voi-</i> – саамский путевой термин [Шилов 2001], ср. <i>Вонополь</i> в <i>Карелии</i>
Вожбал – пр. <i>Сухоны</i> Вожбола – дер. на <i>Ваге</i> Вожбола – ур. на <i>Ваге</i>	Возобол	мерян. * <i>вож</i> 'приток' (мар. <i>вож</i> 'корень, ответвление') [Кузнецов 1991; Матвеев 1998a]; саам. <i>viossa</i> , родит. пад. <i>viogza</i> 'живот, утроба', <i>vwasse</i> , родит. пад. <i>vwazze</i> 'оленинок'
Вороспало на <i>Устье</i> Вохтоболка у <i>Кубенского</i>		саам. <i>viogas</i> 'дед, старик' др.-фин. гидронимический термин * <i>ohi</i> [Шилов 1999б]
Выноспола на <i>Пинеге</i>	Дёболо , <i>Дебалы</i> на р. <i>Сара</i> – пр. оз. <i>Неро</i> ; Деболово – пуст. в <i>Звенигородском уезде</i> [Кусов 1993, №№ 357, 655]	саам. <i>vinntse, venas</i> 'лодка'. Ср. <i>Вынесманявр</i> (саам. <i>tape</i> 'плес') на <i>Кольском п-ве</i> , <i>Унысынгерь</i> – пр. <i>Устья</i> мар. <i>tāβa</i> 'возвышенный, высокий; круча, возвышенность'
Едополь		приб.-фин. <i>edi-, etu</i> , саам. <i>eudta</i> 'передний'
Ерепала в басс. <i>Мезени</i>	Ерболово – пуст. у р. <i>Дрезна</i> басс. <i>Тверцы</i> [Кусов 1993, № 472] Игобола (ныне <i>Игобла</i>) – р. близ оз. <i>Сомино</i> [Кусов № 624, 626]	фин. <i>jārā</i> 'крупный', саам. <i>jerra</i> 'шум, гром'; эрз. <i>ёр</i> 'перепелка', мар. <i>jei</i> 'озеро' мар. <i>ige</i> 'детеныш, юнец', <i>ik</i> 'один, одинокий'

Русский Север	Исторические мерянские земли	Лексические и топонимические параллели
Кербалка – поле, уроч. в Кирилловском р-не [Субботина 1987]	Искробол у <i>Искробольского</i> оз. у Волги ниже Ярославля	мар. <i>ize</i> ‘малый’, <i>iz</i> ‘бедро’, <i>iza</i> ‘старший брат’ (- <i>кри</i> - < *- <i>хро</i> - из * <i>jahr</i> ‘озеро’); ср. оз. <i>Исихра</i> , <i>Искра</i> Владимирской обл. приб.-фин. <i>kierra</i> , вепс. <i>ker</i> ‘поворот, скрюченный’ [Субботина 1987], фин. <i>kego</i> ‘лысая вершина горы’
Кимбала – сенокос у оз. Лаче		приб.-фин. <i>kiima</i> , <i>kim</i> ‘ток’ [Субботина 1987]
Кодобал (<i>Кодибал</i> , <i>Кодебал</i> , <i>Кодобел</i>) на р. Визьма – пр. Андоги [Копанев 1951] Котабала (<i>Котовал</i> в XVI в.) близ Великого Устюга	Кинобол у р. <i>Кинга</i> ~ <i>Кинья</i> к СВ от Юрьев-Польского	мар. <i>кине</i> ‘конопля’ [Матвеев 1996] фин. <i>kota</i> , карел. вепс. <i>koda</i> , саам. <i>kuott</i> ‘изба’ [Субботина 1987]
Костобал на р. <i>Костобалка</i> басс. Белого озера		приб.-фин. <i>kostea</i> ‘сырой’, <i>koste</i> ‘заводь, укрытие’
Кубало на р. <i>Кубал</i> при впадении р. <i>Каменка</i> (р. Устья)	Кибол (Кибало в 1578 г.) на р. <i>Каменка</i> близ Суздаля	мер. * <i>ki(v)</i> > <i>ki</i> ‘камень’ [Попов 1965; Матвеев 1998a]
Купчбал – покос в Белозерском р-не		саам. <i>kuobdža</i> ‘медведь’
Куринолы на пп Ваги	Курдобалово	эрз. <i>курда</i> ‘карп. карась’ приб.-фин. <i>kuirna</i> ‘желоб’
Курополка – протока Двины; Корополка – пр. Ухты, пр. Онеги		саам. <i>kuir</i> , фин. <i>kuuro</i> , карел. <i>kuuri</i> ‘теснина, овраг’. Здесь - <i>пол</i> - скорее восходит к карел. <i>puoli</i> , вепс. <i>pol</i> ‘сторона (боковое русло)’
Кушпал в Верхневажье	Куткобал Ярославской обл.	мар. <i>kutko</i> ‘муравей’ [Попов 1974], мар. <i>куткыж</i> ‘беркут’
Кушкопола на Пинеги Кышкопола в басс. Пинеги	Кужбал на Кильне, пр. Унжи	общесфинское <i>kus-</i> , <i>kuz-</i> ‘ель’
Ластепола в басс. Пинеги		саам. <i>kušker</i> ‘отмель, песчаный или галечный мыс’, <i>kuusik</i> ‘кукша, ронжа’
Ледбал у Белого озера;		саам. <i>lasta</i> ‘каменистое место, каменная куча’
Летопола басс. Пинеги		карел. <i>liete</i> , вепс. <i>led</i> ‘песок’
Маткобал в Белозерье [САС 1972: 48]		вепс. <i>matk</i> ‘путь’, саам. <i>moat’k</i> ‘волок, перешеек’

Таблица (продолжение)

Русский Север	Исторические мерянские земли	Лексические и топонимические параллели
Нёйбал у истока Сухоны Никопола в басс. Пинеги	Мушпал	мар. <i>tiš</i> 'конопля, пенька', <i>tižo</i> 'рябчик' саам. <i>n'inne</i> 'нос, мыс' карел. <i>nika</i> 'сухая сосна', фин.-эст. <i>nikko</i> 'небольшой лосось'
Обало на средней Устье	Нушпола на р. <i>Нушполка</i> – пр. Дубны Врлжской	мар. <i>нуж</i> 'крапива', <i>нужгол</i> 'щучка' [Попов 1974; Матвеев 1996]
Парабала в басс. Двины	Патробал (<i>Патробол</i>)	мар. <i>oba, obo</i> 'тесть', но саам. <i>obba</i> 'закрытый, занесенный' саам. <i>roara</i> 'овод, слепень'
Пахтабал в Вологодск. регионе	Пачебол , (<i>Почеболка</i>) в Пошехонье	мар. <i>раса</i> 'ягненок', <i>риžа</i> 'олень'
Райбала , Райбола басс. Ваги [ГВНП 1949, №№ 111, 278]	Пезобал (<i>Пезопалская слободка</i> в 1615 г.) на р. <i>Пеза</i> Костромской обл.	<i>пеза</i> 'гнездо' (мар. <i>риžаш</i> , карел. <i>pezä</i> . – А.Ш.), обозначая место гнездования ловчих птиц [Попов 1974]
Ракоболь на протоке Согожи – пр. Шексны Рамболка на Ваге	Пужбал , <i>Пужбол</i> на оз. Неро	мар. <i>риš</i> 1. 'пар'; 2. 'лодка' приб.-фин. <i>vaja</i> 'граница'
Рядбал – пр. Похты белозерской	Ружбал – пр. Немды. пр. Волги	приб.-фин. <i>rako</i> 'щель' ср. <i>Рамайоки</i> в Карелии. приб.-фин. <i>räte</i> 'болото с чахлым ельником'
Санопола в басс. Мезени Сарбала на Кокшеньге	Солебал [Попов 1974]	мар. <i>руш</i> 'русский' [Матвеев 1996] карел. <i>reäädä</i> 'смешанный сосново-еловый лес', вепс. <i>räd</i> 'еловая чаша'
Солобало на Устье Солопола басс. Пинеги Соломбала в устье Двины		саам. <i>seäpna</i> 'лесной дуг' вепс. <i>sara</i> 'приток', фин. <i>sara</i> 'осока'
Сомбал на Сухоне у Тотьмы; <i>Сомбалка</i> у Кубенского оз.; р. <i>Сомболка</i> басс. Белого оз.		саам. <i>suol</i> 'остров'; мар. <i>sola</i> 1. 'плеть, кнут' 2. 'село' 3. 'соль' видимо, не входит в ряд <i>-бала</i> , см. [Шилов 1996: 65] основа <i>сом-</i> почти не представлена в приб.-фин. топонимии. Здесь, скорее, основа <i>сомб-</i> [Шилов 1996: 44–45] и <i>l</i> -овый формант. ср. рр. <i>Сомба</i> басс. Водлы и Онеги

Русский Север	Исторические мерянские земли	Лексические и топонимические параллели
Сорбало на Устье		фин. <i>sora</i> 'гравий', фин., карел. <i>suoga</i> 'прямой', саам. <i>suorr</i> 'протока'
Талубала в басс. Двины	Толгоболь (р. <i>Толга</i>) на Волге	приб.-фин. <i>talo</i> 'дом, усадьба' морд. <i>толга</i> 'перо' [Попов 1974], мар. <i>tolkæn</i> 'вал'
Торопало в левобережье нижней Ваги	Туболка у р. Ильда Ростовск. обл. [Кусов 1993, № 657]	мар. <i>тора</i> 'далекий' [Матвеев 1998а], но вепс. карел. <i>tora</i> 'ссора, драка', карел. <i>tuoro</i> 'торф, торфяные кочки' *Туб-бол?: мар. <i>tuβα</i> 'омут', <i>tur</i> 'спина, хребет'
Туломбалка у р. Варзуга на Кольском п-ве		фин. <i>tylmä, tölmä</i> 'тупой' (в широком смысле); ср. <i>Тулома</i> на Кольском п-ве, <i>Тулемайоки</i> в Карелии
Турпал (Турпало, Турвал [Копанев 1951]) в Кадуйском р-не	Турбалово – пуст. у р. Тьма, пр. Тверцы [Кусов 1993, № 493]	мар. <i>тиго</i> 'тростник', но приб.-фин. <i>тигра, тирба</i> 'морда', фин. <i>tira</i> 'болото, низменность'
Удорбала в басс. Двины		мар. <i>удыр</i> 'дочь, девушка' [Матвеев 1996], фин. <i>utare, udar</i> 'вымя'; ср. и изба <i>Удоркерка</i> на р. Мыдмас басс. Мезени
Ханабала басс. Двины	Ужбол – бол. у р. Уиба басс. Клязьмы; низина Ужбол в Ростовском р-не	мар. <i>йъ</i> 'дубинка', <i>изо</i> 'самец; отчим', <i>иъ</i> 'ум, разум'
Хиндоболское – оз. у Шексны [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 125]	Хихиболы	фин. <i>hähnä</i> 'дятел', <i>hako</i> , род. пад. <i>haon</i> 'хвоя, ветвь хвойного дерева' приб.-фин. <i>hintä, hind</i> 'цена, стоимость'; ср. <i>Гиндь-наволок</i> в Карелии
Чанабал в Белозерье		эрз. <i>гига, гиги</i> 'дикий гусь'
Чёмбал в Вологодском регионе		саам. <i>išapp</i> 'черт'
Чонбал – мыс на Белоозере		вепс. <i>čota</i> 'красивый' [Субботина 1987]
Чучебала в басс. Пинеги		мар. <i>чючю</i> 'дядя' (рядом с Чучебала дер. <i>Сетальская</i> ; фин. <i>setä</i> 'дядя' [Матвеев 1996]). но
Чучебола (Чучепала) на Мезени		* <i>išutše/išuti</i> (> <i>susi</i> 'волк') > <i>чудь</i>
Чужболенская в басс. Колпи и куст деревень Чужболенье		[Шилов 1999], саам. <i>išudse</i> 'холодный' [Субботина 1987] (в <i>Чужболенская</i> Субботина-ленская возводит к <i>-ленда</i> < саам. <i>leamda</i> 'лес')

Русский Север	Исторические мерянские земли	Лексические и топонимические параллели
Шашпал на Шексне [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 582]	Шачебал на р. <i>Шача</i> басс. Волги ниже Ярославля в 1433 [ДЦГ 1950: 64]	саам. <i>šasse</i> ‘вода’, мер. * <i>šač</i> ‘исток, родник’; (горно-мар. <i>šačаж</i> ‘рождаться’) [Матвеев 1996]
Шелешпалы (с 1546 г.) в Белозерском уезде	Шебал (<i>Шейбалская волость</i> в 1615 г.) близ Галича	мар. <i>šəba</i> ‘жребий’
Шимпала к З от оз. Лаче	Шенбалка (? * <i>Шембал</i>)	ср. с <i>Шельшедам</i> и саам. <i>šelles</i> ‘гладкий, ровный’
Шимпала к З от оз. Лаче	Шимпол	мар. <i>šen</i> ‘трут’, но см. <i>Шимпол</i>
Шоболка – лп Сухоны в ее истоке (в 1627 г. – <i>Шоболга</i>)	Шимпол	мар. <i>šim(e)</i> ‘черный’ [Матвеев 1996] (обще-фин. * <i>šimä</i> ‘темный’); саам. <i>sietä</i> ‘малый’, фин. <i>sima</i> ‘мед; медок (напиток)’
Шоболка – лп Сухоны в ее истоке (в 1627 г. – <i>Шоболга</i>)	Шихобалово у Юрьев-Польского	
Шоболка – лп Сухоны в ее истоке (в 1627 г. – <i>Шоболга</i>)	Шишебольцево у с. Зюзино к югу от Москвы [Кусов 1993, № 79]	эрз. <i>шши</i> ‘овин’
Шоболка – лп Сухоны в ее истоке (в 1627 г. – <i>Шоболга</i>)	Шудобал (<i>Шудобол</i>)	карел. <i>išo</i> ‘большой’, <i>šuo</i> , вепс. <i>so</i> ‘болото’
Шумболка в басс. Мезени	Шудобал (<i>Шудобол</i>)	мар. <i>šudo</i> ‘трава’ [Матвеев 1996]; вепс. <i>soit</i> ‘протока’, карел. <i>šuti</i> ‘туман’
Шурамбала – поляна близ оз. Лача	Шурамбала – поляна близ оз. Лача	карел. <i>širta</i> ‘смерть, гибель’; эрз. <i>шурьма</i> ‘полынь’, мар. <i>širto</i> ‘рысь’
Шурамбала – поляна близ оз. Лача	Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	мар. <i>šik</i> ‘сор, мусор’
Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	ср. р. <i>Юкса</i> в ИМЗ; мар. <i>й ўксö</i> , <i>й ўксö</i> ‘лебедь’ [Матвеев 1996]; но ср. <i>Юксила</i> на Олонке и в Вепском Межозерье, приб.-фин. <i>uks-</i> ‘один’
Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	мар. <i>юмо</i> ‘бог’ [Матвеев 1996], <i>ўмбал</i> ‘верх’ [Альквист 1997]; вепс. <i>juta</i> , <i>jitou</i> ‘бог’
Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	ср. р. <i>Юкса</i> в ИМЗ; мар. <i>й ўксö</i> , <i>й ўксö</i> ‘лебедь’ [Матвеев 1996]; но ср. <i>Юксила</i> на Олонке и в Вепском Межозерье, приб.-фин. <i>uks-</i> ‘один’
Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	мар. <i>юмо</i> ‘бог’ [Матвеев 1996], <i>ўмбал</i> ‘верх’ [Альквист 1997]; вепс. <i>juta</i> , <i>jitou</i> ‘бог’
Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	ср. р. <i>Юкса</i> в ИМЗ; мар. <i>й ўксö</i> , <i>й ўксö</i> ‘лебедь’ [Матвеев 1996]; но ср. <i>Юксила</i> на Олонке и в Вепском Межозерье, приб.-фин. <i>uks-</i> ‘один’
Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	мар. <i>юмо</i> ‘бог’ [Матвеев 1996], <i>ўмбал</i> ‘верх’ [Альквист 1997]; вепс. <i>juta</i> , <i>jitou</i> ‘бог’
Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	ср. р. <i>Юкса</i> в ИМЗ; мар. <i>й ўксö</i> , <i>й ўксö</i> ‘лебедь’ [Матвеев 1996]; но ср. <i>Юксила</i> на Олонке и в Вепском Межозерье, приб.-фин. <i>uks-</i> ‘один’
Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	мар. <i>юмо</i> ‘бог’ [Матвеев 1996], <i>ўмбал</i> ‘верх’ [Альквист 1997]; вепс. <i>juta</i> , <i>jitou</i> ‘бог’
Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	ср. р. <i>Юкса</i> в ИМЗ; мар. <i>й ўксö</i> , <i>й ўксö</i> ‘лебедь’ [Матвеев 1996]; но ср. <i>Юксила</i> на Олонке и в Вепском Межозерье, приб.-фин. <i>uks-</i> ‘один’
Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	мар. <i>юмо</i> ‘бог’ [Матвеев 1996], <i>ўмбал</i> ‘верх’ [Альквист 1997]; вепс. <i>juta</i> , <i>jitou</i> ‘бог’
Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	Шухобал на р. <i>Шуга</i> у Суздаля [АСЭИ 1952–1964, Т. 1: 225]	ср. р. <i>Юкса</i> в ИМЗ; мар. <i>й ўксö</i> , <i>й ўксö</i> ‘лебедь’ [Матвеев 1996]; но ср. <i>Юксила</i> на Олонке и в Вепском Межозерье, приб.-фин. <i>uks-</i> ‘один’

обеспечивается лишь непрерывностью распространения топонимов с элементом *бол/бал/пол/нал* (при том, правда, что за его пределами надежных подобных примеров не находится вовсе)¹³. Уже предварительный анализ показывает, что основы рассматриваемых названий происходят из различных групп финских языков. Альтернативы (между волжскими и прибалтийско-финско-саамскими диалектами) в основном возникают лишь в переходной зоне, проходящей приблизительно по линии Белоозеро – р. Устья (при том что возможна и омонимия разноязычных основ).

Таким образом, в полном соответствии с предположением А.К. Матвеева (сноска 9), можно заключить, что рассматриваемый топоформант был свойствен целой группе языков: мерянскому, севернофинскому и чудскому. При этом в живых (весь, карелы, саамы, коми, марийцы) и мертвых (мещера, тверская чуда) языках былых соседей перечисленных народов соответствующий ойконимный тип не был топонимически активен.

Последнее достаточно существенно, ибо дает нам дополнительный достаточно надежный критерий для уточнения границ былого распространения мери. Если на севере этот критерий (в силу вышесказанного) сам по себе недостаточно надежен и может использоваться лишь в сочетании с иными мерянскими индикаторами (как *Синие Камни*, *Вёкса* и др., см. [Матвеев 1998]), то на юге – в области ИМЗ – он вполне достоверен, хотя, при этом, естественно, и не абсолютен (ср.: "В пределах Волго-Клязьминского междуречья принадлежность ойконимии на *-бол*, *-бал* именно мере сомнений среди археологов не вызывает" [Альквист 2000а: 16]). Кстати говоря, использование "*бол*-индикатора" (вкупе с иными показаниями) позволяет несколько расширить в западном и юго-западном направлении область древней мерянской территории.

Уже летописные сообщения о роли мери в истории древнерусского государства (точнее северной ветви восточнославянских племен) IX–X вв. заставляют усомниться в размерах занимаемой ею территории: согласно той же летописи – лишь в области озер Плещеева (Клещина) и Неро. Это явно позднейшая (современная летописцу) оценка, не учитывающая существование периферийных мерянских групп (подчас выступаю-

¹³ Подобные внешне названия есть в Карелии: *Вавдиноль* (в 1563 г. *Овды-пелды*) на Водлозере, *Таржеполь* в басс. Ивны, *Сердоболь* (ныне *Сорттавала*) на СЗ Ладоги, *Военоль* (оз.) басс. Выга. Из них первое заведомо не имеет отношения к нашему вопросу (здесь *-поль* из *поле* – перевод пр.-фин. *peldo*); под сомнением и *Таржеполь*, в 1563 г. *Торже поле* (ср. вепс. *toreh*, *torez* "сырой, влажный" и *pol* "сторона"). *Сердоболь* исходно известен как *Sartwal*, *Sortewala* (1468 г.). *Сердоволь* (1500 г.); этимология этого названия не ясна (неизвестно даже, имеем ли мы дело с элементом *-болы/-ваал/-воль* или *-ла*) [Жерг. Мамонтова 1976: 82–86; Левашов 1988]. В *Военоль* можно видеть скорее кар. *ruohi*, саам. *pell'a* "сторона". А.К. Матвеев [1998] вовсе исключал подобные названия (типа *Каргополь*) из рассмотрения из-за невозможности достоверно определить происхождение элемента *-поль* (русское *поле*, результат фонетической адаптации **-бол/пол* и т.д.). Тем более, не могут приниматься во внимание примеры с территории Карельского перешейка, приведенные А. Альквист [1997; 2000а] (*Шибалово*, *Кемполово*, *Калбола*, *Кимбола*), содержащие, скорее всего, ойконимный элемент *-la*, но не **-hola* [Матвеев 1998].

По мнению автора, следует вовсе отставить и идею о скандинавском влиянии на образование топонимов с элементом типа *-бола* [Альквист 2000а: 32–34] до предъявления надежных доказательств наличия топонимических следов скандинавов в Северной Руси вообще (см. к этому [Шилов 1999а] с историей вопроса). Заметим, что там, где археологически наиболее четко прослеживается былое присутствие скандинавов (Южное и Юго-Восточное Приладожье), топонимов с *-бол(a)* не найдено.

Равным образом не включаются в рассмотрение лишь внешне похожие на мерянские названия марийских и мордовских земель типа *Шелаболки*, *Энербал*, *Пичебал*, *Кундоболки* (об их происхождении см. [Альквист 2000а: 31–32]).

щих уже под общим именем Чуди) с одной стороны и обрусения значительной части мери – с другой¹⁴.

Исследования археологов позволили существенно расширить древнюю мерянскую территорию¹⁵. Результатом этих исследований стали карты, где границы расселения мери показаны хотя и много шире, чем это вырисовывалось из летописных данных, но тоже весьма осторожно. В иных направлениях они даже не смыкаются с границами расселения соседних (дорусских) финских племен [Финно-угры 1987]. На основе сопоставления исторических и топонимических данных А.И. Попов заключил, что былое расселение мери охватывало, как минимум, западную часть Костромской обл., Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую и восток Московской областей: "добавив к этому некоторые части Вологодской и Новгородской областей, получим район почти единственного в своем роде распространения топонимов с элементами *-бол(-бал)* и *-едом(-одем)*" [Попов 1974].

К указанным А.И. Поповым мерянским индикаторам (*-бол, -едом, векса*) определенно можно добавить и *Синие Камни*. Скорее всего, к настоящему времени выявлены далеко не все скопления Синих Камней (так, большинство из достаточно многочисленных Синих Камней в северо-мерянском ареале обнаружено лишь относительно недавно [Матвеев 1997; 1998а]). Если говорить об ИМЗ, то почти все упомянутые примеры относятся к Ярославской обл. и южной части Ивановской обл. [Альквист 1995; 2000б]. Но и в восточном Подмосковье имеется группа из 3 *Синих Камней* (близ сел Следово Ногинского р-на, Душоново и Огуднево Шелковского р-на). Крайне интересным представляется и название дер. *Арсаки* у р. Пичкура (пр. Молокчи, пр. Шерны) на северо-западе Владимирской обл. в связи с мар. *ärze* "синий", *kii* "камень". Показательны и "мерьские" топонимы. Кроме *Галича Мерьского* (около которого в 1462–1472 гг. названа волость *Чудцы*) и р. *Мера (Меря)* близ него, известны: *Мерьские болота* на правом берегу Двины в Красноборском р-не Архангельской обл. [Матвеев 1997: 72]; *Мерский стан* близ Костромы у Некрасовского оз. (близ Костромы найден и *Синий Камень*); *Мерские болота* в Мантуровском р-не Костромской обл.; дер. *Меря* (ныне с. Казанское) и *Меря Старая* (ныне дер. Грибаново) на р. Вохонка (пп Ходцы, пп Клязьмы) к востоку от Москвы; бол. *Большое Мерское* близ р. Судогда, пп Клязьмы; волость *Усть-Мерская* [ДДГ 1950: 9] (позднее *Мерский стан*) на р. *Мерьская* (ныне *Нерская* – лп Москвы) к юго-востоку от Москвы (см. *Шише-больцево* на юге современной Москвы); дер. *Старые Мери, Малая Мерка*, болотце *Мерское* [ДДГ 1950: 384] и пустошь *Меры, Мера* [Кусов 1993, №№ 351–353] (ныне дер. *Меры* в верховьях Малой Истры) (и там же – в басс. Истры – *Синий Камень* и пустошь *Деболово!*) к западу от Москвы. Наконец, к северу от Москвы близ г. Долгопрудный есть р. *Мерянка* басс. Клязьма, а уже на юго-востоке Тверской обл. – на Волге близ устья Медведицы – существовали *Чудской* и *Мерьский* станы (близ которых протекала р. *Яхрома*, одна из 4 известных в ИМЗ, и найден (в р-не оз. Великое) *Синий Камень* [Альквист 2000б: 85]).

Вспомним, что этнонимические названия чаще всего появлялись на границах расселения этнических (языковых) групп. В какой-то степени юго-западная мерянская граница дублируется названиями двух деревень *Голядь* (в 4 км к западу от Клина и 20 км к западу от Дмитрова) и р. *Голядянка* в левобережье Москвы (р-н Люблино-Печатники на ЮВ города).

¹⁴ Ср. такое же несоответствие летописных указаний с реальным распространением летописной веси [Макаров 1999].

¹⁵ Относительно археологических признаков северной мери: А.К. Матвеев [1997], со ссылкой на [Финно-угры, глава "Меря"], указал, что мерянскими являются лишь вещи, найденные у истока Шексны. Добавим, что, согласно [Финно-угры, глава "Заволочская Чудь"], предметы, найденные при раскопках в Поважье, обнаруживают аналоги как у веси, так и в костромских (т.е. мерянских) курганах.

До конца неясно пока, как далеко на юг и на запад простирались мерянские земли (см. *Ерболово* и *Турбалово* в басс. Тверцы, а также озерный сток *Выкса* близ Мурома; см. раздел *Векса*), но совершенно очевидна их былая обширность.

Подведем итоги. По нашему мнению, из рассмотренных топонимических элементов в качестве надежных, собственно мерянских, индикаторов на сегодняшний день могут быть признаны *-бол(V) < *hol* 'вид поселения' (с учетом сделанных выше оговорок), *Кунд(V)-* (с вопросом к значению) и *Векса (векса, вѣкса* 'протока; сток из озера в реку' < **wiks*, согласно реконструкции А.К. Матвеева [1974]). Мерянским явно является и "озерный" формант *-хра* (из **jāhr* 'озеро'). Правда, с мерянами его могли разделять также финно-угорская менцера и "севернофинны" Юго-Восточного Подвинья [Попов 1965; 1974; Шилов 1996: 68–69; Матвеев 1998б]. Русскими индикаторами мерянского присутствия явно являются *Синие Камни* и "мерьские" топонимы. Вне рамок статьи мы оставляем обсуждение элементов *курга* (*Курга, Шаткурга* и под.) и *едом* (*Идьма, Едома, Шельшедам* и под.), генезис которых требует отдельного тщательного рассмотрения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Альквист А* 1995 – Синие камни. каменные бабы // *Suomalais-ugrilaisen seuran Aikakauskirja* 1995 V. 86.
- Альквист А* 1997 – Мерянская проблема на фоне многослойности топонимии // *ВЯ*. 1997 № 6.
- Альквист А* 1998 – Субстратная лексика финно-угорского происхождения в говорах Ярославско-Костромского Поволжья // *Studia Slavica Finlandensia* XV. Helsinki, 1998
- Альквист А* 2000а – Меряне, не меряне. // *ВЯ*. 2000. № 2.
- Альквист А* 2000б – Меряне, не меряне. // *ВЯ* 2000. № 3
- АСЭИ 1952–1964 – Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. Т. 1–3 М., 1952–1964.
- Афанасьев А П* 1979 – Исторические, географические и топонимические аспекты изучения древних водно-волоковых путей // *Вопросы географии*. Сб. 110. М., 1979.
- Востриков О В* 1980 – Субстратная географическая терминология в русских говорах и топонимии Волго-Двинского междуречья // *Вопросы ономастики* Свердловск, 1980
- ГВНП 1949 – Грамоты Великого Новгорода и Пскова М., Л., 1949
- Герберштейн С* 1988 – Сигизмунд Герберштейн Записки о Московии М., 1988
- ДДГ 1950 – Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв М.; Л., 1950
- Европеус Д* 1876 – Об угорском народе, обитавшем в средней и северной России, в Финляндии и в северной части Скандинавии до прибытия туда нынешних их жителей // *Труды II Археологического съезда* 1871. Вып. 1. СПб, 1876 Отд 4
- Керт Г.М* 1981 – Субстратная топонимика Терского берега Кольского полуострова // *ПФЯ* Л., 1981.
- Керт Г.М., Мамонтова Н.Н* 1976 – Загадки карельской топонимии Петрозаводск, 1976.
- Копанев А.И.* 1951 – История землевладения Белозерского края XV–XVI вв М., Л., 1951
- Кузнецов А.В.* 1991 – Язык земли Вологодской. Архангельск, 1991.
- Кусов В.С* 1993 – Чертежи земли Русской XVI–XVII вв. М., 1993.
- Левашев Е.А* 1988 – Сортавала (материалы к этимологии топонима) // *ПФЯ* Петрозаводск 1988
- Макиров Н.А* 1997 – Колонизация северных окраин Древней Руси в XI–XIII веках М., 1997
- Макиров Н.А* 1999 – На Белозере седять Весь (археологический комментарий к летописной записи) // *Великий Новгород в истории средневековой Европы*. М., 1999.
- Мамонтова Н.Н* 1982 – Структурно-семантические типы микротопонимии ливвиковского ареала КАССР. Петрозаводск, 1982
- Матвеев А.К* 1970 – Русская топонимика финно-угорского происхождения на территории севера Европейской части СССР. Дис. . док филол. наук М., 1970

- Матвеев А К* 1974 – К этимологии коми-зыр ВИС-(ВИСК-) // Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungariae. Т. 24 (1–4), 1974.
- Матвеев А К* 1992 – Вверх по реке забвения. Свердловск, 1992.
- Матвеев А К* 1995а – Апеллятивные заимствования и этимологизация субстратных топонимов // ВЯ. 1995. № 2.
- Матвеев А К* 1995б – Костромское *Андоба* (к мерянской этимологии) // Вопросы региональной лексикологии и ономастики Вологда, 1995
- Матвеев А К* 1996 – Субстратная топонимия Русского Севера и мерянская проблема // ВЯ 1996 № 1
- Матвеев А К* 1997 – К проблеме расселения летописной мери // Изв УрГУ 1997 № 7 Гуманитарные науки Вып. 1.
- Матвеев А К* 1998а – Мерянская топонимия на Русском Севере – фантом или феномен? // ВЯ. 1998, № 3.
- Матвеев А К* 1998б – К проблеме лингвистического изучения юго-восточной части Русского Севера // Ономастика и диалектная лексика II. Екатеринбург, 1998.
- Матвеев А К* 2000 – Топонимические этимологии. XII // Этимология 1997–1999 М., 2000
- Муллонен И И* 1988 – Гидронимия реки Оять. Петрозаводск, 1988.
- Муллонен И И* 1994 – Очерки вепской топонимии СПб., 1994
- Попов А И* 1965 – Географические названия: Введение в топонимику М.; Л., 1965
- Попов А И* 1974 – Топонимика древних мерянских и муромских областей // Географическая среда и географические названия. Л., 1974.
- Поспелов Е М* 1970 – Метод географических терминов в анализе субстратной гидронимии Севера // Вопросы географии. Сб. 81. М., 1970.
- Поспелов Е.М.* 1985 – Связи топонимии Московской области и Северо-Запада в курсе "Топонимика" // Проблемы русской ономастики. Вологда, 1985.
- Поспелов Е.М.* 1998 – Географические названия мира. Топонимический словарь. М., 1998
- САС* 1972 – Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археографический сборник. Вологда, 1972. Вып. 2.
- Субботина Л.А.* 1987 – Субстратные географические термины в топонимии Белозерья // Формирование и развитие топонимии. Свердловск, 1987
- Финно-угры* 1987 – Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М., 1987.
- Шилов А.Л.* 1996 – Чудские мотивы в древнерусский топонимии. М., 1996.
- Шилов А.Л.* 1997 – Ареальные связи топонимии Заволочья и географическая терминология Заволочской Чуди // ВЯ. 1997. № 6.
- Шилов А.Л.* 1999а – Есть ли скандинавская топонимия в Карелии? (о топонимических свидетельствах в решении этноисторических проблем) // ВЯ. 1999. № 3
- Шилов А.Л.* 1999б – Заметки по исторической топонимике Русского Севера. М., 1999
- Шилов А.Л.* 1999в – К стратификации дорусской топонимии Карелии // ВЯ 1999 № 6
- Шилов А.Л.* 1999г – К происхождению гидронимических терминов *курья*, *пудас*, *режма* // Русская диалектная этимология (Третье научное совещание 21–23 октября 1999 г) Екатеринбург, 1999.
- Шилов А Л* 2001 – Топонимические кальки и этимология субстратных топонимов // ВЯ 2001. № 1
- Kepsu S* 1981 – Pohjois-Kymenlaakson kylänimet. Helsinki, 1981.
- Nissila V* 1975 – Suomen karjalan nimistö. Joensuu, 1975.
- SKES* – Suomen kielen etymologinen sanakirja. Osa 1–6. Helsinki, 1955–1978.

© 2001 г. О.В. ФЕДОРОВА

**ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ТИПОЛОГИЯ УКАЗАТЕЛЬНЫХ
МЕСТОИМЕНИЙ ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКОВ****ВВЕДЕНИЕ**

Указательные местоимения, по крайней мере в течение XX века, являются предметом частого и всестороннего изучения. Достаточно отметить ставшие классическими работы [Бюлер 1993; Lyons 1977; Here and there 1982; Essays on deixis 1983: Speech, place and action 1982].

Однако типологическое исследование, в котором были бы собраны и систематизированы все накопившиеся за эти годы разнообразные данные о структуре, функциях, морфо-синтаксических характеристиках указательных местоимений, впервые проведено совсем недавно, а именно, в работе [Diessel 1999a]. В цитируемой работе на материале выборки из 85 языков, охватывающих все основные генетические группы и географические ареалы, Х. Диссел описывает четыре основных аспекта использования указательных местоимений: морфо-синтаксический, семантический, прагматический и диахронический. Рассмотрим их более подробно.

Морфо-синтаксический аспект. Х. Диссел в работах [Diessel 1998; 1999a; 1999b] выделяет четыре основных синтаксических контекста употребления указательных местоимений (прономinals, адномinals, адвербиалы и идентификационные местоимения), различая при этом специфический синтаксический контекст (т.е. дистрибуцию) и категориальный статус (т.е. дистрибуцию и форму). Например, если в каком-либо языке прономinals и адномinals имеют одинаковую форму, но различаются в словоизменении, то данный язык, согласно Х. Дисселу, различает две разные грамматические категории: указательные местоимения и указательные детерминативы соответственно.

Семантический аспект. Опираясь в первую очередь на работы [Anderson, Keenan 1985; Fillmore 1982], Х. Диссел описывает пять основных противопоставлений, характерных для указательных местоимений в разных языках: Расстояние (Distance), Высота (Elevation), Видимость (Visibility), География (Geography) и Движение (Movement) (более подробно об этом см. ниже).

Прагматический аспект. Вслед за авторами работы [Halliday, Hasan 1976] Х. Диссел различает экзофорическое и эндофорическое употребление указательных местоимений. В первом случае речь идет об отсылке к ситуации целиком, во втором – к различным частям этой ситуации. Эндофорические указательные местоимения делятся, в свою очередь, на анафорические, дискурсивно-дейктические и идентифицирующие. Из большого количества более ранних работ, посвященных соотношению дейксиса и анафоры, выделим [Enlich 1982; Lyons 1977; Вольф 1974; Падучева, Крылов 1984], см. ниже обзор в [Человеческий фактор... 1992].

Диахронический аспект. Автор рассматривает различные пути грамматикализации указательных местоимений как относительно изменения их морфо-синтаксических свойств, так и с точки зрения изменения их категориального статуса. Здесь необходимо также упомянуть работы Т. Гивона [Givón 1984], Н. Химмельмана [Himmelmann 1996], Андерсона и Кинена [Anderson, Keenan 1985].

Вышеописанная работа, как видно даже из столь краткого ее изложения, несомненно, представляет большой интерес, особенно благодаря ценному фактографическому материалу. Однако в целом она носит дескриптивный характер и не обладает предсказательной силой относительно языков, не представленных в данной выборке. Так, например, в выборку Х. Диссела попал только один дагестанский язык – лезгинский. Между тем, указательные местоимения в дагестанских языках удивительно разнообразны и заслуживают специального исследования. Несомненно, указательные местоимения в дагестанских языках интересны и с морфо-синтаксической, и с прагматической, и с диахронической точек зрения, однако именно пространственная (семантическая, по терминологии Х. Диссела) типология, как нам представляется, является отправной точкой подобных исследований. Данному вопросу и будет посвящена настоящая статья.

Рассматривая указательные местоимения в дагестанских языках, мы не ограничимся их описанием (раздел 1), а предложим некоторое исчисление потенциальных возможностей (раздел 2), построим пространственные карты для отдельных дагестанских языков (раздел 3), составим таблицу реальных употреблений (раздел 4), на основании чего сможем вывести имплицативные универсальные закономерности, характерные для пространственной семантики указательных местоимений дагестанских языков (раздел 5). Мы покажем, что выработанный подход может быть в дальнейшем использован при описании дейктических систем других языков (раздел 6).

1. УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКОВ: ИСТОРИЯ И ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ

История изучения указательных местоимений в дагестанских языках также значительна и насчитывает несколько десятков специальных работ (см. библиографию в конце настоящей статьи), которые носят как чисто описательный характер, так и сопоставительный и даже типологический. Отметим здесь и два сборника, вышедших в Махачкале в 1983 и 1990 годах, которые почти целиком посвящены данной проблематике ([Местоимения в языках Дагестана 1983; Выражение пространственных... 1990]). Кроме того, некоторые более общие типологические работы, посвященные местоимениям, достаточно подробно охватывают дагестанский материал. Например, в работе [Майтинская 1969] используется материал 16 языков Дагестана, а именно: андийский, арчинский, багвалинский, бежтинский, гинухский, годоберинский, гунзибский, даргинский, каратинский, крызский, лакский, лезгинский, рутульский, удинский, цезский и чамалинский языки.

В настоящей работе при выборе материала мы будем опираться как на вышеупомянутые специальные работы, так и на описания указательных местоимений, приведенные в двух существующих на настоящий момент энциклопедических изданиях [Языки народов СССР 1967; Языки мира 1999]. Мы не будем специально касаться вопроса о генетических взаимоотношениях между отдельными дагестанскими языками и будем следовать классификации, приводимой, в частности, в [Языки мира 1999]:

Аваро-андо-цезские

1. Аварский

Андийские

- | | |
|----------------|-----------------|
| 2. Андийский | 6. Ахвахский |
| 3. Ботлихский | 7. Багвалинский |
| 4. Годобери | 8. Тиндинский |
| 5. Каратинский | 9. Чамалинский |

Цезские

- | | |
|-----------------|----------------|
| 10. Цезский | 13. Бежтинский |
| 11. Гинухский | 14. Гунзибский |
| 12. Хваршинский | |
| 15. Лакский | |

16. Даргинский

Лезгинские

17. Лезгинский 22. Арчинский

18. Табасаранский 23. Крызский

19. Агульский 24. Будухский

20. Рутульский 25. Удинский

21. Цахурский

26. Хиналугский

Таким образом, предметом рассмотрения в настоящей статье будут указательные местоимения 26 языков Дагестана. Однако в некоторых случаях мы не будем этим ограничиваться и привлечем материал тех диалектов, дейктические системы которых представляют особый интерес. Так, например, мы опишем хайдакский диалект даргинского языка или нютюгский говор яркинского диалекта лезгинского языка (по работам [Темирбулатова 1983] и [Мейланова 1964] соответственно). В рамках настоящей статьи мы не сможем подробно описать дейктические системы всех 26 языков Дагестана, поэтому, выделив на их материале существенные пространственные оппозиции, ограничимся рассмотрением лишь наиболее интересных и показательных примеров, реализующих ту или иную типологическую возможность. Статистическая информация, приводимая в заключительной части работы, будет даваться на материале всех дагестанских языков. Для каждого из рассматриваемых примеров будем указывать все источники информации, а в случае их противоречивости обосновывать выбор того или иного варианта. В некоторых случаях для проверки достоверности данных использовался материал, полученный при работе с носителями соответствующего языка. Транскрипция примеров унифицирована и дается на латинской основе.

2. КЛАССИФИКАЦИОННАЯ БАЗА ДЛЯ ТИПОЛОГИИ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКОВ

Прежде чем перейти непосредственно к описанию указательных местоимений дагестанских языков, рассмотрим более подробно пять основных пространственных противопоставлений, выделяемых в работе Х. Диссела [Diessel 1999a].

Расстояние (Distance). Автор считает, что все языки имеют хотя бы два указательных местоимения: указательное местоимение со значением близости (*proximal demonstrative*), обозначающее объект, находящийся рядом с дейктическим центром, и указательное местоимение со значением удаленности (*distal demonstrative*), которое обозначает референта, находящегося на некотором расстоянии от дейктического центра. Это мнение Х. Диссела [Diessel 1999a: 36] расходится с данными К.Е. Майтинской, которая отмечает, что например, в современном шведском или норвежском языках местоимение, указывающее на удаленность от Говорящего, фактически вышло из употребления. В таком случае данное противопоставление выражается различными вспомогательными средствами [Майтинская 1969].

Высота (Elevation). В выборке Х. Диссела 9 из 85 представленных языков имеют данное противопоставление. Оно характерно, в частности, для языков Новой Гвинеи (Usan, Hua, Tauya), для языков Гималайского ареала (Lahu, Khasi, Byansi), языков Австралии (Dyirbal, Ngiyambaa) и для лезгинского языка. Анализируя данные, представленные в [Diessel 1999a], можно разделить данные языки на две группы относительно самостоятельности/связанности данных значений. К первой группе относится, например, язык Кхаси (Khasi), принадлежащий к Мон-Кхмерским языкам. В нем, как видно из примеров, указательные основы присоединяются к личным местоимениям, в результате чего, в частности, получается (для местоимения *и* 'he'):

(1) Кхаси (Khasi) [Nagaraja 1985: 11–12]

‘далекий’ *и-taυ*

‘близкий’ *и-pe*

'высокий' *u-tey*

'низкий' *u-thie*

Другую ситуацию можно проиллюстрировать на материале языка Дирбал:
(2) Дирбал (Dyirbal) [Dixon 1972: 48]

'близко внизу' *baydi*

'далеко внизу' *baydu*

'близко высоко' *dayi*

'далеко высоко' *dayu*

Р. Диксон не членил данные словоформы на морфемы в отличие от С. Андерсона и Е. Кинена [Anderson, Keenan 1985: 292], которые отделяют гласные морфемы *-i* (со значением 'близкий') и *-u* (со значением 'далекий'). Таким образом, во второй группе языков данный пространственный контраст не может выражаться изолированно.

Видимость (Visibility). Данный дейктический контраст, по данным Х. Диссела, характерен для языков индейцев Северной Америки. 7 из 15 языков, представленных в работе [Diessel 1999a], обладают этим признаком: West Greenlandic, Halkomelen, Quileute, Passamaquoddy-Maliseet, Tumpisa Shoshone, Ute Ерена и Ерена Pedee. Представленные языки можно разделить на две группы в зависимости от возможных значений категории Видимость. К первой группе относятся языки, в которых 'невидимый' всегда обозначает самый далекий от собеседников объект. Так обстоит дело, например, в языке Уте (для одушевленных предметов):

(3) Уте (Ute) [Givón 1980: 55]

'близкий' *'ina*

'далекий' *maa*

'невидимый' *'u*

В языке Квилеуте (Quileute) согласно [Andrade 1933: 252] ситуация иная: для обозначения невидимого референта используются три различных указательных местоимений. Одно из них обозначает референта, находящегося близко к дейктическому центру, другое используется для обозначения того референта, чье местонахождение далеко, но известно, и, наконец, третье обозначает далекого и неизвестно где находящегося референта. Аналогичный пример приводит К.Е. Майтинская, описывая ситуацию в ваховском диалекте хантыйского языка, где указательное местоимение *тими* 'этот' обозначает близкий и видимый объект, а указательное местоимение *ти'т* 'этот' – близкий и невидимый объект (цитируется по [Майтинская 1969: 78]).

География (Geography). В выборке Х. Диссела данное противопоставление встречается только в трех языках: в одном австралийском (Dyirbal), одном языке Новой Гвинеи (Hua) и одном языке индейцев Северной Америки (West Greenlandic). Дейктическая система последнего выделяется своей сложностью. Согласно работе [Fontescue 1984], в этом языке выделяется противопоставление северного и южного побережья, а также сложная система обозначения внешнего/внутреннего референта: одно указательное местоимение используется для обозначения референта, находящегося вне какого-либо помещения, а другое указательное местоимение – для обозначения референта, находящегося с противоположной от Говорящего стороны.

(4) Западно-Гренландский (West Greenlandic) [Fontescue 1984: 259–262]

'север' *av-*

'юг' *qav-*

'в/вне' *qam-*

'вне' *kig-*

Движение (Movement). Х. Диссел приводит данные двух языков: австралийского (Nunggubuya) и северо-американского (Kiowa). В первом из них (цитируется по [Heath 1980: 152]) имеются три кинетических суффикса, которые обозначают движение референта (i) к Говорящему, (ii) от Говорящего и (iii) пересекая угол зрения Говорящего.

Все вышеперечисленные противопоставления Х. Диссел считает дейктическими, т.е. указывающими на положение объекта в пространстве относительно дейктического центра, а именно, Говорящего. Иного мнения придерживается Ч. Филлмор [Fillmore 1982: 51], считая дейктической лишь оппозицию по Расстоянию. Аналогичная трактовка приводится и в работе [Плунгян 2000: 263]. На наш взгляд, первые три перечисленные Х. Дисселом оппозиции (а именно, Расстояние, Высота и Видимость) имеют гораздо больше оснований называться дейктическими, чем две последние (География и Движение).

Отдельного упоминания заслуживает вопрос о выделении двух различных систем в тех языках, в которых выделяется так называемый средний, или нейтральный, член оппозиции по Расстоянию. В первой из этих систем, которую, согласно работам [Anderson, Keenan 1985; Fillmore 1982], обычно называют Ориентированной на Расстояние (Distance-Oriented), средний элемент оппозиции обозначает референта, находящегося на среднем расстоянии от дейктического центра. Такая ситуация, например, имеет место в испанском языке или в австралийском языке Йимас (Yimas). Другая система характерна, по мнению авторов, для японского языка или для полинезийского языка Пангасинан (Pangasinan). В них средний элемент обозначает референта, близкого к Адресату; данные системы получили название Ориентированных на Лицо (Person-Oriented). С данной оппозицией связана универсалия, относительно которой до сих пор продолжается дискуссия. Х. Диссел, вслед за Ч. Филлмором считает, что в языках, Ориентированных на Расстояние, не может быть больше трех указательных местоимений, противопоставленных по признаку Расстояние, в отличие от языков, Ориентированных на Лицо, в которых может быть больше четырех подобных элементов. С этим не соглашаются С. Андерсон и Е. Кинен, приводя примеры языков, различающих четыре, пять и даже более указательных местоимений, противопоставленных только по Расстоянию. Х. Диссел отмечает также, что в его выборке языков не встретилось таких языков, которые, имея Ориентированную на Лицо систему, кодировали бы Адресата более чем в одном случае, т.е. указательные местоимения всех рассмотренных им языков имеют значения 'близко к Говорящему' и 'близко к Адресату', но 'далеко от собеседников'.

Интересный подход к описанию системы указательных местоимений японского языка продемонстрирован в работе [Подлесская 1990: 103–118]. В.И. Подлесская описывает переход от концепции, согласно которой три указательных местоимения японского языка 'проксимум', 'медиум' и 'экстремум' различались по степени удаленности от Говорящего, к концепции, согласно которой *ко*-серия ('проксимум') интерпретируется как 'близкий ко мне', *со*-серия ('медиум') – 'близкий к тебе' и *а*-серия – как 'не близкий ко мне и не близкий к тебе'. Далее в работе автор предлагает свое собственное решение данной проблемы, а именно: если Говорящий оценивает расстояние между собой и Адресатом как близкое, выбирается первая из вышеописанных стратегий; если же Говорящий оценивает это расстояние как большое, то выбирается вторая стратегия: 'проксимум' используется для обозначения объектов, близких к Говорящему, 'медиум' – в отношении объектов, близких к Адресату или удаленных на небольшое расстояние от Говорящего, и 'экстремум' – в отношении объектов, удаленных на значительное расстояние как от Говорящего, так и от Адресата.

В отличие от вышецитированной работы Х. Диссела, в работе [Майтинская 1969] автор выделяет всего три основных признака, связанных с пространственным расположением: противопоставление по расстоянию, противопоставление по разноплановости пространственных направлений и противопоставление по видимости-невидимости. Все эти три противопоставления, по мнению К.Е. Майтинской, характерны для дагестанских языков.

Теперь перейдем к описанию указательных местоимений в дагестанских языках. Многие исследователи отмечают тот факт, что дейктические системы дагестанских языков очень сложны и многообразны. Часто это объясняется характерным даге-

станским ландшафтом¹. Так, например, Б.М. Атаев пишет: "Носители аваро-андоцезских языков испокон веков населяют область сильно пересеченного ландшафта, характеризующегося резкими перепадами высот. Этим и обусловлено наличие в некоторых из них многоступенчатой дейктической системы, отражающей степень удаленности денотатов от говорящего на разных уровнях" ([Атаев 1990: 61]). Подобное характерно и для лакцев: "Указательные местоимения лакского языка очень многообразны в смысле различения не только близости или отдаленности указываемого предмета, но и его нахождения на той или другой высоте, на том или другом уровне по отношению к уровню, занимаемому говорящим (что, очевидно, отвечает условиям жизни в горной местности)" [Жирков 1955: 62].

Рассмотрим теперь для примера дейктическую систему цахурского языка более подробно. Дейктическая система цахурского языка (согласно [Элементы цахурского языка... 1999]) включает в себя местоименные наречия и местоимения-атрибутивы. Значение конкретного дейктического элемента складывается из значения тематической группы (место, направление, время, причина, следствие, образ действия, атрибутивные значения) и значения одного из трех рядов:

(5) Цахурский [Элементы цахурского языка... 1999: 133]

'близкий' *in-*
'средний' *m-*
'далекый' *ʒ-*

Приведем примеры употребления трех основных пространственных противопоставлений:

(6) Цахурский [Элементы цахурского языка... 1999: 433]

ʒe-na	balkan	jug-na.
тот-АА	лошадь.3	хороший-АА

Та лошадь – хорошая.

(7) Цахурский [Элементы цахурского языка... 1999: 300]

ma-na	adami	sanixa	qa=g-na.
этот-АА	человек.1	вчера	1=приходить-АА

Этот человек вчера пришел.

(8) Цахурский [Элементы цахурского языка... 1999: 626]

haj-na	rasul,	jiz-da	Gonši	wo=g-na.
этот-АА	Расул.1	мой-АА	сосед.1	быть=1=АА

Этот Расул – мой сосед.

К данным базовым дейктическим элементам могут прибавляться различные дополнительные элементы, такие как указательные слова *ha* или *ho*, или числительное со значением 'один' *sa*.

(9) Цахурский [Элементы цахурского языка... 1999: 828]

haman-n	haman-n-o=d-un,	tafawut	deš-in.
этот.4-А	этот.4-А-	разница.4	не.быть-А
	быть=4=А		

Это – это и есть, разницы нету.

Кроме того, местоимения-атрибутивы согласуются с вершинным именем по классу, числу и косвенности. При субстантивации они склоняются по атрибутивному типу склонения.

Помимо дейктической, указательные местоимения цахурского языка выполняют и анафорическую функцию, выступая субстантивированно как местоимение 3-го лица:

¹ В данной работе мы не затрагиваем интересный, однако довольно дискуссионный вопрос о взаимозависимости сложности дейктической системы языка и культурного окружения данного языкового сообщества. Согласно этой гипотезе (см. работы [Denny 1978] и [Perkins 1992]), чем "современнее" язык, тем меньше в нем различных дейктических элементов. Сторонники этой гипотезы сравнивают дейктические системы индейских языков с современными английским, французским и японским, предполагая при этом, что и эти последние языки имели ранее более сложные дейктические системы.

(10) Цахурский [Элементы цахурского языка... 1999: 787]

"ma-n-Gi-qa=d	taXsir	deš-in-wi", –	iwho.
этот.2-А-OBL.2-POSS.4	вина.4	не.быть-А-WY	говорить. PF

"Она не виновата [=У нее вины нет]", сказал (он).

Кратко наметив рамки многогранной дейктической системы в целом, в настоящей работе мы существенно сузим тему и сосредоточим внимание только на первичной, дейктической функции собственно указательных местоимений в дагестанских языках.

Введем теперь основные противопоставления, на которых базируется наше исследование. При анализе дейктических систем дагестанских языков мы будем выделять три различительных признака: горизонтальное расстояние (Distance, в терминологии Х. Диссела), вертикальное расстояние (Elevation) и тип Локутора (Distance-Oriented vs. Person-Oriented systems, по Андерсону – Кинену).

Расстояние по горизонтальной шкале координат. Количество членов данной оппозиции сильно различается даже в дагестанских языках. Так, в будухском языке их всего два, зато в хайдакском диалекте даргинского языка С.М. Темирбулатова выделяет пять различных степеней удаленности – очень близкий, близкий, далекий и еще две степени удаленности объекта, при этом в данном диалекте не выделяется специального указательного местоимения для обозначения невидимого для собеседников объекта [Темирбулатова 1983]. Здесь надо сразу затронуть важный вопрос о структуре подобных указательных местоимений. Мы будем различать **простые** (или **базовые**) и **сложные** указательные местоимения, последние образуются путем прибавления к базовым тех или иных дополнительных элементов. Интуитивно очевидно, что число базовых местоимений не может быть особенно большим, а различные оттенки могут привноситься при помощи дополнительных частиц. В дальнейшей работе мы будем последовательно различать указательные местоимения по их структуре, руководствуясь при этом в основном грамматиками соответствующих языков.

В некоторых дагестанских языках выделяется еще один, самый далекий, член оппозиции – объект, **невидимый** для собеседников. Данное противопоставление мы не выделяем в отдельную оппозицию, т.к. 'невидимый' в дагестанских языках всегда обозначает самый далекий от собеседников объект. По данным К.Е. Майтинской, специальное указательное местоимение для обозначения далекого, невидимого объекта существует в чамалинском, бежтинском и цезском языках Дагестана. В работе [Атаев 1990] автор прибавляет к этому списку еще каратинский и некоторые диалекты андийского.

Расстояние по вертикальной шкале координат. Некоторые дагестанские языки различают не только горизонтальную, но и вертикальную ориентацию объекта речи. К.Е. Майтинская отмечает данные местоимения в лакском, даргинском и чамалинском языках [Майтинская 1969]. В дальнейшей работе мы рассмотрим все случаи использования указательных местоимений для обозначения вертикальной ориентации объекта, здесь отметим лишь возможность пятичленной вертикальной системы – 'на одном уровне', 'выше', 'ниже', 'очень выше' и 'очень ниже' – в авхаском языке.

Тип Локутора. Различение сферы Говорящего и сферы Адресата – третья рассматриваемая нами оппозиция. Мы в настоящей работе используем термин "тип Локутора", взятый из работы [Kibrik 1997], при помощи которого обозначаем участников речевого акта, т.е. Говорящего и Адресата, в отличие от не-Локутора. Мы будем различать дейктические системы, ориентированные исключительно на Говорящего (данная позиция является немаркированной) и системы, различающие позиции Говорящего и Адресата. Систем, ориентированных исключительно на Адресата, нам не встречалось, что хорошо согласуется с интуитивно очевидной иерархией Говорящий < Адресат < не-Локутор.

Кроме того, стоит особо отметить тот факт, что в системах с постоянным центром координат в одних грамматических описаниях в этом центре мы находим Говорящего, а в других – обоих собеседников. Мы не различаем эти ситуации, полагая, что нет никаких оснований считать подобные различия мотивированными какими-либо языко-

выми фактами. Поэтому в дальнейшей работе мы будем маркировать, например, буквой **Б** (близко) ситуацию, когда язык не различает тип Локутора. Однако если в этом же языке некоторое указательное местоимение маркируется буквами **БА** (близко к Адресату), это значит, что буква **Б** в нашем описании этого языка обозначает именно **БГ** – близко именно к Говорящему.

3. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КАРТА УПОТРЕБЛЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКОВ. ДЕЙКТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЯЗЫКОВ ДАГЕСТАНА

Термином "**пространственная карта**" мы в дальнейшей работе будем обозначать некоторое наглядное представление распределения указательных местоимений в некотором дагестанском языке. Представленные карты имеют мало общего с так называемыми семантическими, ментальными или имплицативными картами Л. Андерсона, Й. Ауверы – В. Плулуняна, М. Хаспельмата и др. (в данном разделе мы использовали материалы доклада С.Г. Татевосова на Второй зимней типологической школе "Семантическое картирование: метод и его применение", сделанного в феврале 2000 года), где размещаются значения, функции или грамматические типы, некоторые из которых затем объединяются, если кодируются в каком-то языке одинаковым способом. Таким образом, при данном методе описания сопоставляются употребления различных категорий. Мы же будем изображать на пространственных картах распределение указательных местоимений с разными пространственными значениями в том или ином дагестанском языке. Рассмотрим Рис. 1.

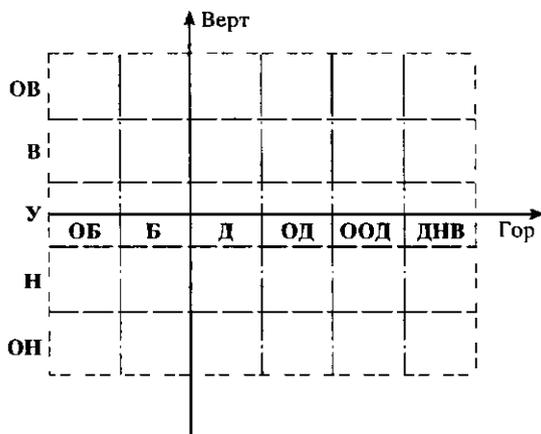


Рис. 1. Пространственная карта возможных значений указательных местоимений в дагестанских языках

Определим сначала поле возможных значений указательных местоимений в дагестанских языках. Оно будет максимально широким: мы будем учитывать здесь все возможные оппозиции, которые встретились хотя бы в одном языке. Мы представим это поле в виде системы координат (см. Рис. 1), на которой на горизонтальной оси отмечены шесть значений указательных местоимений по горизонтальному расстоянию (в дальнейшем мы будем использовать следующие сокращения: **ОБ** – 'очень близко', **Б** – 'близко', **Д** – 'далеко', **ОД** – 'очень далеко', **ООД** – 'очень-очень далеко', **ДНВ** – 'далеко и невидимо'). Однако не следует воспринимать принятые нами соглашения слишком буквально. Если язык различает на горизонтальной шкале лишь два значения – 'близко' и 'далеко', это отнюдь не означает, что объекты, расположенные очень близко или очень далеко, не могут быть обозначены при помощи данных местоимений. Таким образом, отрезки, выделяемые на шкале, не следует соотносить с расположением в реальном пространстве. Более того, всегда, когда в языке используется более

общее указательное местоимение, оно покрывает и все более частные значения, независимо от наличия/отсутствия последнего в данном языке. Таким образом, более правильным (но менее наглядным, на наш взгляд) было бы обозначать на пространственной карте систему вложенных друг в друга значений, а не пересекающиеся области.

На вертикальной оси отмечены пять значений указательных местоимений по вертикальной ориентации объекта речи: **У** – ‘на одном уровне с собеседниками’, **В** – ‘выше’, **Н** – ‘ниже’, **ОВ** – ‘очень выше’, **ОН** – ‘очень ниже’. Если в некотором языке существуют два разных местоимения для обозначения одного уровня с собеседниками, один – нейтральный, а второй – маркированный по вертикальной шкале, мы на схеме будем это отмечать отдельной полоской внутри сектора нейтрального значения. Тип Локутора мы будем отмечать разным направлением штриховки: те указательные местоимения, которые определяют объект относительно Говорящего – правоориентированной штриховкой, а те местоимения, которые определяют объект относительно Адресата – левоориентированной штриховкой. Примеры распределения указательных местоимений по конкретным языкам см. ниже.

Кроме всего вышелереченного, мы на нашей схеме будем различать указательные местоимения по структуре: базовые указательные местоимения в конкретном языке будут обрамляться жирной одинарной рамкой, сложные будут оставаться с пунктирным обрамлением.

Таким образом, репертуар пространственных значений указательных местоимений в дагестанских языках состоит из горизонтальной ориентации объекта (6 значений), вертикальной ориентации (5 значений) и отсутствие вертикальной ориентации) и типа Локутора (2 значения). Если бы существовал какой-нибудь дагестанский язык, который различал бы все выделенные значения во всех возможных сочетаниях, в нем насчитывалось бы 72 различных указательных местоимения! В нашем исследовании больше всего – 16 – имеет хайдакский диалект даргинского языка.

Следующие разделы настоящей работы будут посвящены распределению указательных местоимений в конкретных языках Дагестана. В заключительной части будет проведен сопоставительный анализ и сформулированы основные универсальные закономерности употребления указательных местоимений в рассматриваемых языках. Рассматривая различные дейктические системы, мы будем идти от более простых случаев к более сложным.

3.1. Будухский язык

По тем не очень многочисленным источникам, которыми мы располагаем (а именно, статья Э.М. Шейхова в [Языки мира 1999] и статья Ю.Д. Дешериева в [Языки народов СССР 1967]) будухский язык, наряду с рутульским, крызским и хваршинским, имеет самую простую дейктическую систему среди всех дагестанских языков (см. Рис. 2).

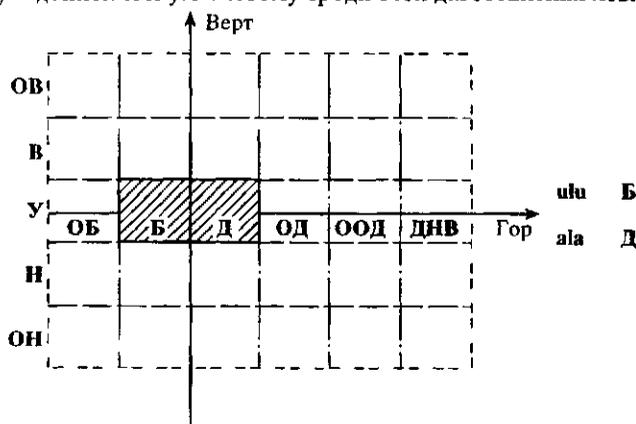


Рис. 2. Пространственная карта распределения указательных местоимений в будухском языке

Сделаем некоторые пояснения. Для описания пространственного местонахождения объекта в будухском языке используется два местоимения – *ulu* и *ala* – которые оба являются базовыми и обозначают близкий и далекий от собеседников объект соответственно. Таким образом, из трех возможных оппозиций – горизонтальной, вертикальной и по типу Локутора – будухский язык реализует лишь одну, выделяя при этом лишь два значения на горизонтальной шкале.

3.2. ГУНЗИБСКИЙ ЯЗЫК

Гунзибский язык реализует более сложную систему указательных местоимений. При анализе данных гунзибского языка мы руководствовались работами [Ломтадзе 1956; Berg 1995; Бокарев 1959], а также описаниями И.А. Исакова в энциклопедическом издании [Языки мира 1999] и Е.А. Бокарева в [Языки народов СССР 1967].

В работах [Ломтадзе 1956], а также Е.А. Бокарева, И.А. Исакова система указательных местоимений гунзибского языка насчитывает три члена и выглядит следующим образом (см. Рис. 3а). В данном примере символом *e* обозначается нелабиализованный гласный среднего ряда среднего подъема.

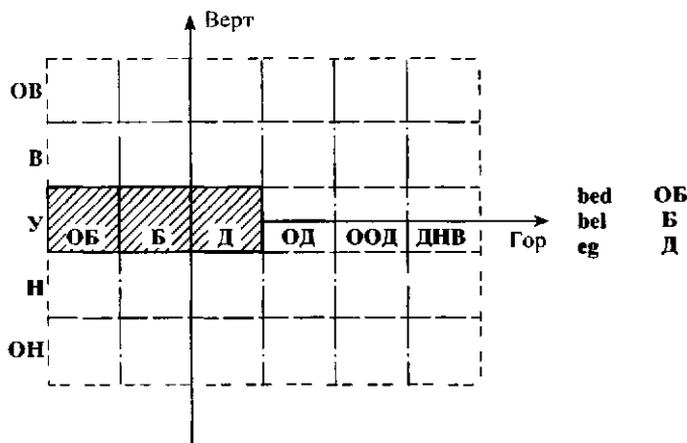


Рис. 3а. Пространственная карта распределения указательных местоимений в гунзибском языке

Как видно из Рис. 3а, все три местоимения являются базовыми и образуют оппозицию по горизонтальной шкале. Однако в работе [Berg 1995] действительная система представляется по-иному (см. рис. 3б).

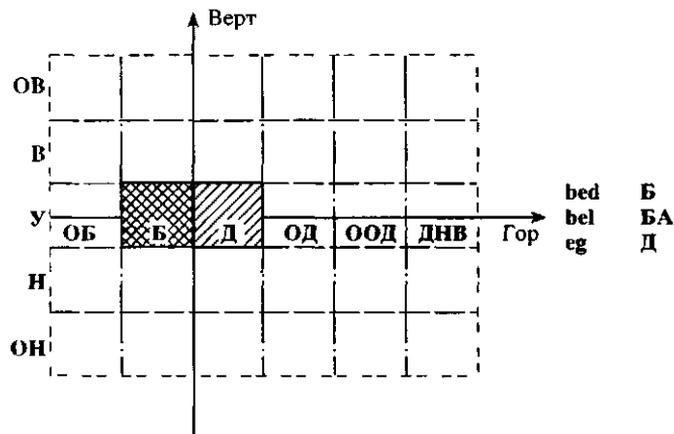


Рис. 3б. Пространственная карта распределения указательных местоимений в гунзибском языке

Согласно Хельме ван ден Берг, мнения которой мы и будем придерживаться, в гунзибском языке реализуются две основные пространственные оппозиции: как горизонтальная оппозиция, которая насчитывает, в отличие от вышеперечисленных работ, всего два члена: 'близкий' и 'далекий', так и оппозиция, различающая тип Локутора: указательное местоимение *bed* используется для обозначения объекта, близкого к Говорящему, а местоимение *bel* обозначает объект, близкий к Адресату. Х. ван ден Берг подчеркивает, что это последнее местоимение встречается в гунзибском языке значительно реже, чем два других, обслуживающих оппозицию по горизонтальной шкале.

3.3. БОТЛИХСКИЙ ЯЗЫК

Дейктическая система ботлихского языка, по данным З.М. Магомедбековой и Е.Т. Гудавы в [Языки мира 1999] и [Языки народов СССР 1967] соответственно, состоит из четырех членов (см. Рис. 4). Здесь и далее *b* обозначает изменяемый классный показатель, который отделяется знаком '+'.¹

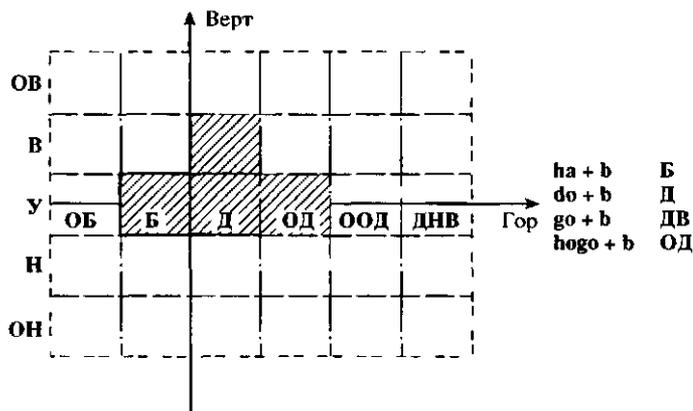


Рис. 4. Пространственная карта распределения указательных местоимений в ботлихском языке

Таким образом, горизонтальная оппозиция насчитывает три члена, а вертикальная – только один. Отметим, что местоимение со значением 'очень далеко' является сложным в отличие от первых трех.

3.4. ЦАХУРСКИЙ ЯЗЫК

В цахурском языке используется три основных базовых указательных местоимения (см. Рис. 5), все они расположены на горизонтальной оси (при описании цахурского

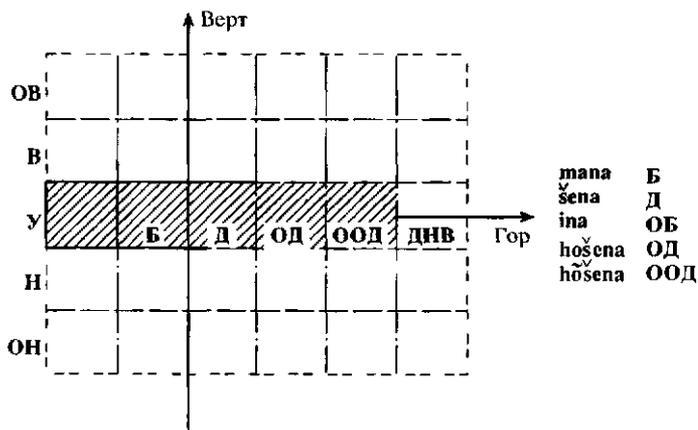


Рис. 5. Пространственная карта распределения местоимений в цахурском языке

языка мы опираемся на работы [Языки мира 1999; Языки народов СССР 1967; Ибрагимов 1990; Талибов 1983; Элементы цахурского языка... 1999], а также на собственные экспедиционные примеры. В работе [Языки народов СССР 1967] Б.Б. Талибов выделяет также еще два указательных местоимения, производных от местоимения *šena* – *hošena* и *hōšena* – которые обозначают ‘очень далекий’ и ‘очень-очень далекий’ объект соответственно.

По нашим данным, указательные частицы *ho*, *ha* и *hō*, присоединяясь к базовым местоимениям, приносят лишь усилительный, выделительный оттенок. Однако мы отметили на Рис. 5 данные местоимения, и, таким образом, дейктическая система цахурского языка состоит из пяти членов, трех простых и двух сложных, и все они противопоставлены по горизонтальной оси.

3.5. АГУЛЬСКИЙ ЯЗЫК

В агульском языке реализуется противопоставление по двум основаниям: горизонтальной и вертикальной ориентации объекта в пространстве. Данный раздел основан на работах [Языки мира 1999; Языки народов СССР 1967; Сулейманов 1983; Магомедов 1970; Шаумян 1941], а также на наших собственных наблюдениях.

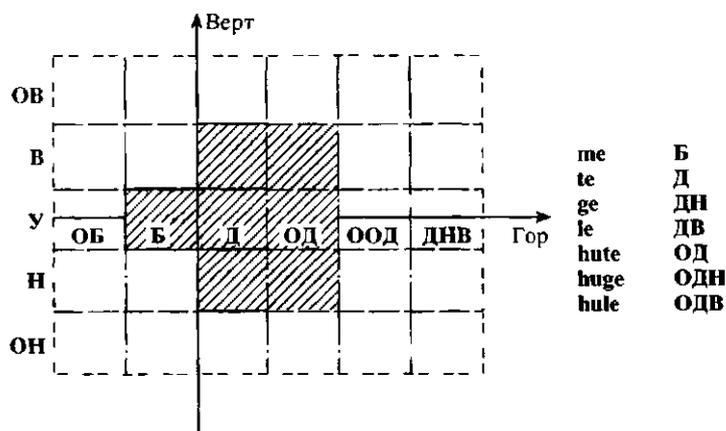


Рис. 6. Пространственная карта распределения указательных местоимений в агульском языке

В агульском языке всеми авторами выделяется четыре основных указательных местоимения, в работе [Магомедов 1970: 110] отмечается, что употребление дейктической частицы *ha* усиливает значение; в энциклопедических описаниях к этим базовым местоимениям добавляются еще три сложных, образующихся при помощи префикса *hi*. В последнем случае (см. Рис. 6), по нашим данным, это именно ‘очень далеко + выше’, а не ‘очень далеко + очень высоко’ и не ‘далеко + очень высоко’.

3.6. ТИНДИНСКИЙ ЯЗЫК

Тиндинский язык (раздел написан по статьям З.М. Магомедбековой и Т.Е. Гудавы из энциклопедических изданий) последовательно реализует стратегию обозначения горизонтальной ориентации при помощи гласных – *a*, *o* и *u*, и вертикальной ориентации – при помощи согласных – *t* и *h*. Из семи указательных местоимений тиндинского языка три, образующих горизонтальную оппозицию, являются базовыми, четыре других образуются путем прибавления элементов *ha* и *ta* после базового элемента и перед классным показателем.

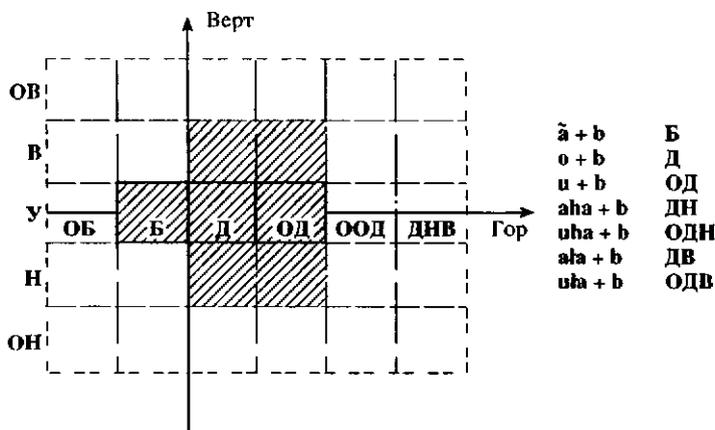


Рис 7. Пространственная карта распределения указательных местоимений в тиндинском языке

Система указательных местоимений тиндинского языка по количеству выделяемых местоимений и по распределению элементов в оппозициях совпадает с вышеразобранной дейктической системой агульского языка. Единственное, но очень важное, отличие состоит в соотношении базовых и сложных местоимений.

3.7 ГОДОБЕРИНСКИЙ ЯЗЫК

Из четырех имеющихся в нашем распоряжении источников, во многом пересекающихся, но имеющих некоторые существенные отличия, а именно: [Kibrik 1996; Саидова 1973], а также статьи С.Г. Татевосова в [Языки мира 1999] и Т.Е. Гудавы в [Языки народов СССР 1967], за основу мы возьмем первую из вышеперечисленных работ. Также будут использоваться наши собственные изыскания. Рассмотрим Рис. 8.

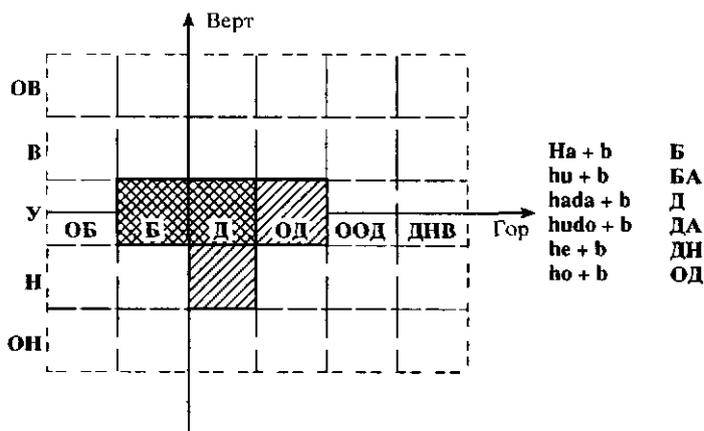


Рис 8. Пространственная карта распределения указательных местоимений в годоберинском языке

Система указательных местоимений, как видно из Рис. 8, насчитывает шесть элементов, каждый из которых является базовым. Как отмечается в [Kibrik 1997], указательное местоимение *heb* встречается в современном языке очень редко, а местоимение *hob*, хоть и имеет значение 'очень далеко', но в современном языке используется почти исключительно анафорически в качестве местоимения третьего лица. Таким образом, дейктическая система годоберинского языка, имеющая шесть членов, распределенных по всем трем основаниям, в настоящее время активно использует

лишь два из них – горизонтальную ориентацию и тип Локутора. Вертикальная ориентация, представленная в языке только в виде одного значения, активно не используется.

3.8. ЧАМАЛИНСКИЙ ЯЗЫК

Данный раздел, кроме энциклопедических статей П.Т. Магомедовой и З.М. Магомедбековой, учитывает работы [Бокарев 1949; Магомедова 1990], на последнюю из перечисленных работ он и опирается.

Дейктическая система чамалинского языка насчитывает девять членов, из которых только три можно назвать базовыми (см. Рис. 9).

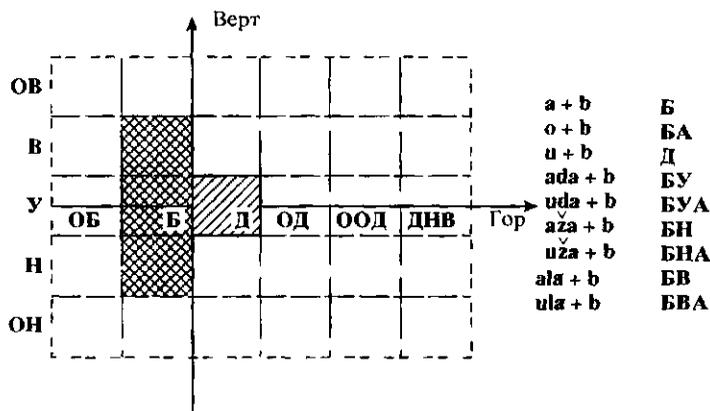


Рис. 9. Пространственная карта распределения указательных местоимений в чамалинском языке

Данная система, реализующая все три противопоставления, интересна как с точки зрения последовательного различия типа Локутора и при горизонтальной, и при вертикальной ориентации, так и редким для дагестанских дейктических систем сочетанием значений 'близко' и 'выше', 'близко' и 'ниже', т.к. вертикальная ориентация более характерна для удаленных от собеседников объектов.

3.9. ХИНАЛУГСКИЙ ЯЗЫК

Описывая дейктическую систему хиналугского языка, мы будем в первую очередь опираться на описание в [Кибрик .. 1972], которое, впрочем, не имеет больших расхождений с работой [Дешериев 1959] и статьями Ю.Д. Дешериева и М.Е. Алексева из энциклопедических изданий.

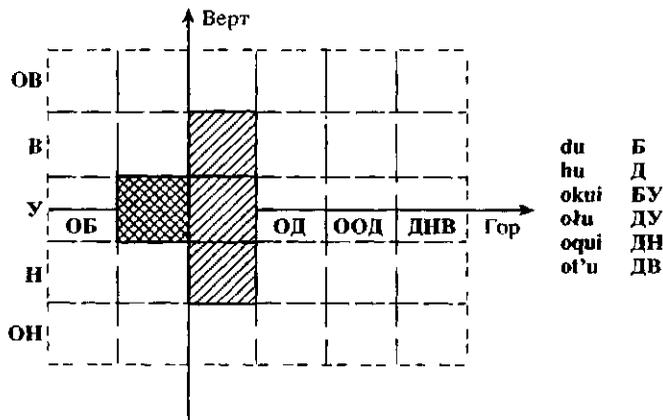


Рис. 10. Пространственная карта распределения указательных местоимений в хиналугском языке

Все шесть указательных местоимений хиналугского языка мы будем считать базовыми, хотя первые два – *du* и *hi* – обладают большей частотностью и имеют словоизменение в отличие от остальных, интересной особенностью данной системы является наличие особого члена вертикальной оппозиции – местоимения *okhi*, обозначающего близкий объект, которое недифференцировано к вертикали в отличие от трех элементов на вертикальной оси, которые характерны для удаленных объектов. На Рис 10, однако, он будет обозначаться как ‘близко, на уровне собеседников’.

3.10. ЛЕЗГИНСКИЙ ЯЗЫК

При написании данного раздела кроме статей У А Мейлановой и Э.М Шейхова из энциклопедических изданий мы руководствовались работами [Алексеев, Шейхов 1997 Haspelmath 1993, Шейхов 1983, Курбанов 1996; Жирков 1949; Мейланова 1964]

В лезгинском языке выделяют восемь указательных местоимений, четыре из которых являются простыми (см Рис 11)

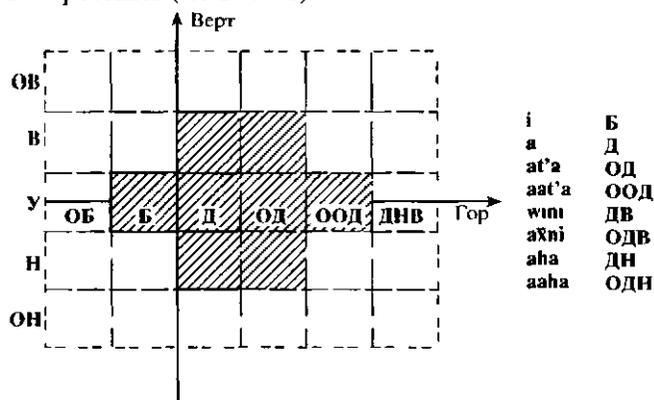


Рис 11 Пространственная карта распределения указательных местоимений в лезгинском языке

Указательные местоимения *at'a* и *aat'a* образованы путем прибавления к базовому указательному местоимению указательной частицы *ʔa*

3.11. БЕЖТИНСКИЙ ЯЗЫК

Рассматривая указательные местоимения бежтинского языка, мы в первую очередь ориентируемся на работы [Бокарев 1959, Мадиева 1965], а также учитываем [Алексеев 1994] и статьи Я Г Тестельца, М Ш Халилова и Е А Бокарева, Г И Мадиевой в энциклопедических изданиях Дейктическую систему бежтинского языка мы приводим в качестве примера языка со значением ‘невидимый’ Рассмотрим Рис 12

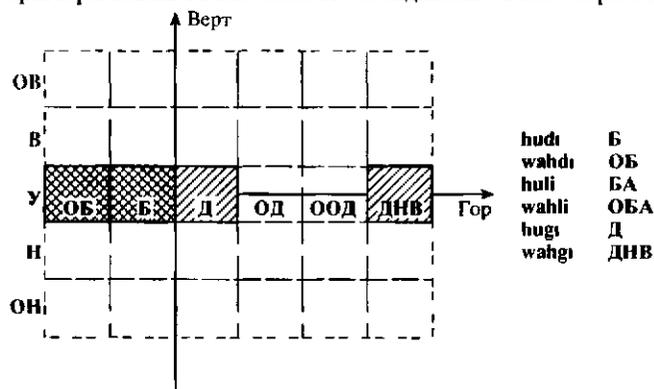


Рис 12 Пространственная карта распределения указательных местоимений в бежтинском языке

Кромс бeжтинского, значение 'невидимый' имеет, по нашим данным, еще цезский язык

3.12. АХВАХСКИЙ ЯЗЫК

Данный язык мы приводим как образец сложной вертикальной системы. Рассмотрим Рис 13 Ахвахский язык является единственным дагестанским языком с подобной двухъярусной системой вертикальных оппозиций. Хотя данный раздел написан только на основе двух статей З.М. Магомедбековой в энциклопедических изданиях, у нас нет сомнений в достоверности данного материала

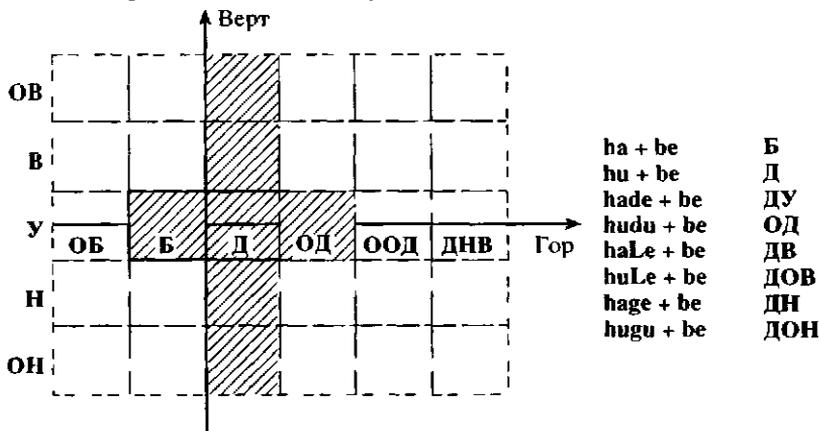


Рис 13 Пространственная карта распределения указательных местоимений в ахвахском языке

3.13. АНДИЙСКИЙ ЯЗЫК

При написании данного раздела кроме статей М.Е. Алексева и И.И. Церцвадзе из энциклопедических изданий мы в первую очередь руководствовались экспедиционными изысканиями В.А. Плулгяна, собранными в селении Анди в 1981 году и в сжатом виде представленными в [Плулгян 2000: 263]

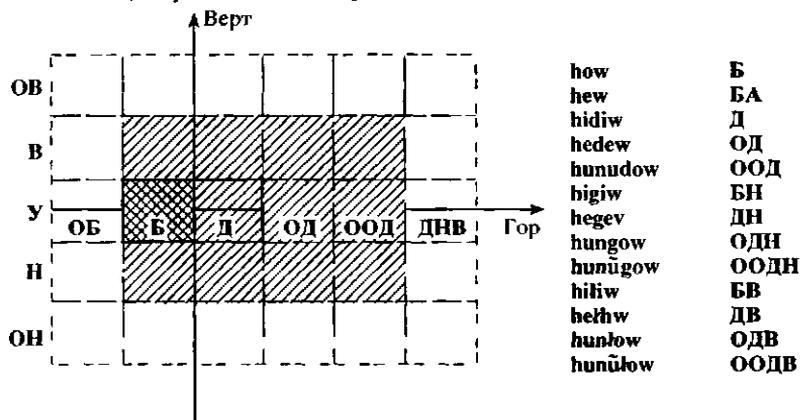


Рис 14 Пространственная карта распределения указательных местоимений в андийском языке

Дейктическая система андийского языка отличается несколькими редкими особенностями во-первых, в ней присутствуют указательные местоимения, выражающие противопоставление **БН – БВ**, которое встречается еще лишь в чамалинском языке, во-вторых, мы находим здесь и оппозицию **ООДН – ООДВ**, зафиксированную также лишь в хайдакском диалекте даргинского языка, разбираемого ниже

3.14. ХАЙДАКСКИЙ ДИАЛЕКТ ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА

Данное описание основано на работе [Темирбулатова 1983]. Литературный даргинский язык различает пять базовых указательных местоимений (см. Рис. 15):

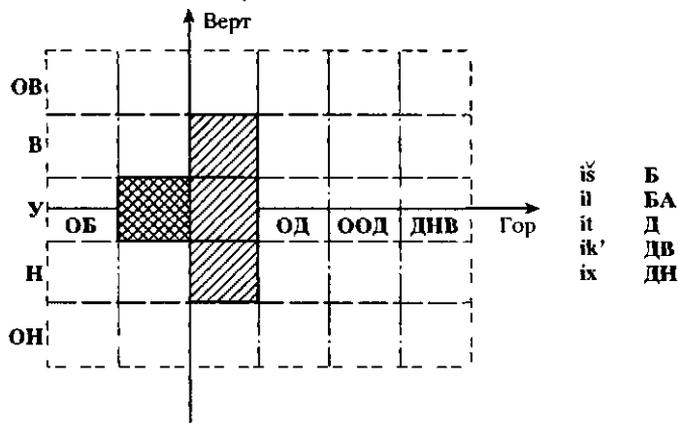


Рис. 15. Пространственная карта распределения указательных местоимений в даргинском языке

В рассматриваемом диалекте параллельно с ними употребляются еще и следующие местоимения (см. Рис. 16): пять местоимений с горизонтальным значением 'очень близко, под носом у собеседников'; три местоимения с горизонтальным значением 'очень далеко от собеседников'; три местоимения с долготой гласного и частичной редупликацией подчеркивают еще большую степень удаленности.

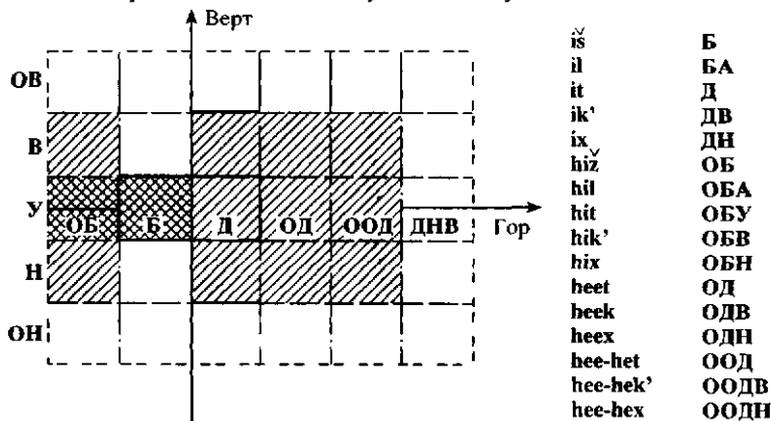


Рис. 16. Пространственная карта распределения указательных местоимений в хайдакском диалекте

Таким образом, данная система различает 16 указательных местоимений; при этом мы еще не учитываем различные усилительно-выделительные частицы, описываемые в вышецитированной работе.

4. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКОВ

Сначала сформулируем основные выводы, которые непосредственно вытекают из приводимой ниже табл. 1.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ШКАЛА близко – далеко

Данная оппозиция встречается абсолютно во всех дагестанских языках и является основой горизонтальной шкалы. Хваршинский, рутульский, будухский и крызский языки данной оппозицией и ограничиваются (этот факт вполне может оказаться недостатком описаний данных языков).

Таблица 1

Распределение указательных местоимений в языках Дагестана

№	Язык	Б	БА	ОБ	ОБА	Д	ДА	ОД	ОД	ОН	БУ	БУА	БН	БНА	БВ	БВА	БУ	ОН	ОВ	ОДУ	ОН	ОВ	ОДУ	ОН	ОВ	ОН	ОВ
1	Аварский	+				+		+																			
2	Андийский	+	+			+		+	+				+		+												
3	Ботлихский	+				+		+																			
4	Годоберинский	+	+			+	+	+																			
5	Каратинский	+				+		+	+		+																
6	Ахвахский	+				+		+																			
7	Багвалинский	+				+		+	+																	+	+
8	Тиндинский	+				+		+																			
9	Чамалинский	+	+			+					+	+	+	+	+	+											
10	Цезский	+	+			+					+																
11	Гынухский	+	+			+																					
12	Хваршинский	+				+																					
13	Бежтинский	+	+	+	+	+					+																
14	Гунзибский	+	+			+																					
15	Лакский	+	+			+																					
16	Даргинский	+	+			+																					
17	Лезгинский	+				+		+	+																		
18	Табасаранский	+				+																					
19	Агульский	+				+		+																			
20	Рутульский	+				+																					
21	Цахурский	+		+		+		+	+																		
22	Арчинский	+	+			+																					
23	Крызский	+				+																					
24	Будухский	+				+																					
25	Удинский	+	+			+																					
26	Хиналугский	+				+					+																
27	Хайдакский диалект даргинского языка	+	+	+	+	+																					

очень близко

Данное значение является достаточно редким и характерно, по нашим данным, всего для трех языков, а именно, бежтинского, цахурского и хайдакского диалекта даргинского языка.

очень далеко

Данное значение гораздо более популярно в дагестанских языках; 11 из 27 рассмотренных языков Дагестана имеют его, при этом данное значение не обязательно сочетается со значением 'очень близко'.

очень-очень далеко

В пяти дагестанских языках – андийском, каратинском, багвалинском, лезгинском и цахурском, в которых зафиксировано данное значение, горизонтальное противопоставление насчитывает как минимум четыре члена.

далеко не-видимо

Данное значение, как уже было отмечено, мы считаем одним из значений на горизонтальной шкале координат. По данным К.Е. Майтинской, данное значение характерно для чамалинского, бежтинского и цезского языков; Б.М. Атаев прибавляет к этому списку еще каратинский язык. Однако по материалам, которыми мы располагаем, данное значение имеется лишь в цезском и бежтинском языках (см. Таблицу 1).

Пояснения к Таблице 1

Названия столбцов:

Б – близко к говорящему или к собеседникам, **БА** – близко к адресату, **ОБ** – очень близко к говорящему или к собеседникам, **ОБА** – очень близко к адресату, **Д** – далеко от говорящего или от собеседников, **ДА** – далеко от адресата, **ОД** – очень далеко, **ООД** – очень-очень далеко, **ДНВ** – далеко невидимо, **БУ** – близко к говорящему или к собеседникам на этом же уровне, **БУА** – близко к адресату на одном уровне с адресатом, **БН** – близко к говорящему или к собеседникам ниже их уровня, **БНА** – близко к адресату ниже уровня адресата, **БВ** – близко к говорящему или к собеседникам выше их уровня, **БВА** – близко к адресату выше уровня адресата, **ОБУ** – очень близко к говорящему или к собеседникам на этом же уровне, **ОБН** – очень близко к говорящему или к собеседникам ниже их уровня, **ОБВ** – очень близко к говорящему или к собеседникам выше их уровня, **ДУ** – далеко от говорящего или от собеседников на этом же уровне, **ДН** – далеко от говорящего или от собеседников ниже их уровня, **ДВ** – далеко от говорящего или от собеседников выше их уровня, **ОДУ** – очень далеко от говорящего или от собеседников на этом же уровне, **ОДН** – очень далеко от говорящего или от собеседников ниже их уровня, **ОДВ** – очень далеко от говорящего или от собеседников выше их уровня, **ООДУ** – очень-очень далеко от говорящего или от собеседников на этом же уровне, **ООДН** – очень-очень далеко от говорящего или от собеседников ниже их уровня, **ООДВ** – очень-очень далеко от говорящего или от собеседников выше их уровня, **ДОН** – далеко от говорящего или от собеседников очень ниже их уровня, **ДОВ** – далеко от говорящего или от собеседников очень выше их уровня.

На нижеприведенном рис. 17 сведены вместе все статистические данные, связанные с горизонтальной ориентацией объекта.

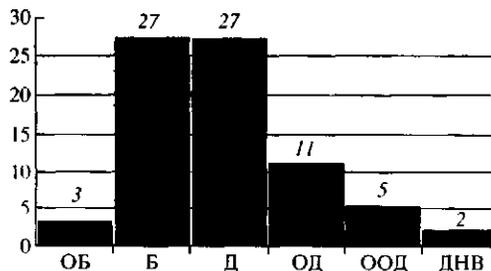


Рис. 17. График распределения значений по горизонтальной шкале координат

близко на уровне собеседников

Эта несколько экзотическая ситуация, когда при существовании немаркированного по вертикальной шкале указательного местоимения со значением близости существует еще специальное местоимение, обозначающее нахождение объекта речи близко к собеседникам на одном с ними уровне, тем не менее представлена в трех из рассматриваемых языков: каратинском, чамалинском и хиналугском.

близко ниже – близко выше

Данные значения зафиксированы только в двух – андийском и чамалинском – языках. Они также не совсем интуитивно логичны, ср. цитату: "Оба эти местоимения (т.е. указательные местоимения арчинского языка со значением близости. – О.Ф.) называют на предмет, расположенный недалеко, поэтому признак 'выше-ниже говорящего' для них несуществен" [Кибрик 1977: 124].

очень близко на уровне – ниже – выше

Еще более удивительные указательные местоимения наблюдаются в хайдакском диалекте даргинского языка, когда при отсутствии указательного местоимения, совмещающего значения горизонтальной близости и вертикальных противопоставлений. в языке имеются три различных местоимения со значениями горизонтальной ориентации 'очень близко' + вертикальная ориентация 'на уровне – выше – ниже'.

далеко на уровне собеседников

Данное значение, по нашим данным, имеется в двух языках – ахвахском и хиналугском. Интересно, что в каратинском и чамалинском языках есть специальное указательное местоимение со значением 'близко на уровне собеседников', но нет местоимения со значением 'далеко на уровне собеседников', а в ахвахском языке ситуация прямо противоположная.

далеко ниже – далеко выше

Данное противопоставление, в отличие от разобранных ранее случаев, весьма популярно в дагестанских языках и представлено в 14 из них. Отметим, что почти всегда в языке имеются оба местоимения данной оппозиции. Исключения составляют лишь два языка – ботлихский и годоберинский, причем в первом из них существует только указательное местоимение со значением 'далеко выше', а во втором – только 'далеко ниже'.

очень далеко на уровне собеседников

Данное значение встретилося нам лишь один раз – при анализе хайдакского диалекта даргинского языка. Отметим, что в этом единственном зафиксированном случае это местоимение сочетается с двумя другими указательными местоимениями вертикальной ориентации.

очень далеко ниже – очень далеко выше

Данное противопоставление характерно для шести дагестанских языков – андийского, каратинского, тиндинского, лезгинского, агульского и хайдакского диалекта даргинского языка. Во всех этих языках всегда имеются оба члена данной оппозиции, при этом наличие указательных местоимений со значениями 'далеко ниже – далеко выше' также обязательно.

очень-очень далеко на уровне – ниже – выше

Данное противопоставление является весьма экзотическим и зафиксировано только в двух случаях – андийском языке и хайдакском диалекте даргинского языка.

далеко очень выше – далеко очень ниже

Последнее из рассматриваемых здесь противопоставлений выглядит менее экзотично, хоть и представлено также только в одном языке – ахвахском, при этом наличие противопоставления ‘далеко выше – далеко ниже’ обязательно.

Рис. 18 представляет распределение значений указательных местоимений по вертикальной шкале.



Рис. 18. График распределения значений указательных местоимений по вертикальной шкале координат

ТИП ЛОКУТОРА

В той части настоящей статьи, в которой мы описывали особенности указательных местоимений с горизонтальной ориентацией, мы отмечали, что некоторые языки имеют лишь одну оппозицию – по горизонтальной шкале. Это действительно единственная оппозиция, однако не стоит забывать, что в любой дейктической системе всегда присутствует точка отсчета, или центр координат. Когда в этом центре всегда находится только один локутор – Говорящий, мы с некоторой долей условности говорим, что данная дейктическая система реализует только одну оппозицию – горизонтальную. На самом деле, конечно, любая дейктическая система всегда ориентирована на Говорящего и/или Адресата.

близко к Говорящему – близко к Адресату

Это противопоставление достаточно популярно – встретилось в 12 из 27 языков, причем оно характерно для языков всех дагестанских групп.

очень близко к Говорящему – очень близко к Адресату

Эта оппозиция встретилась только в двух языках – бежтинском и хайдакском диалекте даргинского языка.

далеко от Говорящего – далеко от Адресата

Эта оппозиция характерна только для годоберинского языка, причем факт ее наличия неоднократно проверялся с носителями языка и поэтому не вызывает никаких сомнений.

Относительно статистического распределения см. Рис. 19.

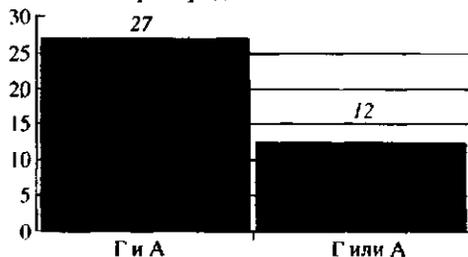


Рис. 19. График распределения значений по типу Локутора

Посмотрим теперь, как выглядит распределение указательных местоимений дагестанских языков с точки зрения задействованности одного, двух, или всех трех основных противопоставлений (см. Рис. 20).

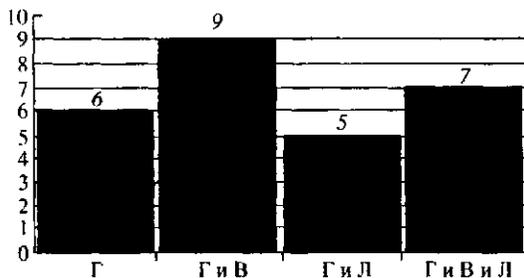


Рис. 20. График распределения значений указательных местоимений по основным оппозициям

Обратимся, наконец, к последнему распределению (Рис. 21). В отличие от предыдущего графика, в данном показано распределение указательных местоимений по основным оппозициям с точки зрения возможности совмещения всех трех оппозиций в одной словоформе. Так, в чамалинском языке (для более подробной информации см. соответствующую пространственную карту и таблицу) существуют указательные местоимения, совмещающие в себе не только признаки близости и вертикальной ориентации, что само по себе уже является уникальным, но также одновременно еще и тип Локутора. Например, в чамалинском языке есть местоимение со значением 'близко ниже Адресата', при этом количество указательных местоимений в дейктической системе чамалинского языка не является таким уж большим.



Рис. 21. График распределения значений по возможности выражения в одной словоформе

Таким образом, дейктическую систему любого дагестанского языка действительно удобно представлять в виде системы координат. В любой такой системе обязательно есть центр, в некоторых языках он всегда один – это Говорящий, в других может перемещаться от Говорящего к Адресату. Некоторые языки однонаправленны, т.е. имеют только горизонтальную ориентацию, другие совмещают горизонтальную ориентацию с вертикальной.

В предыдущих разделах работы мы подробно рассмотрели распределение указательных местоимений по конкретным дагестанским языкам, а также многочисленные частотные соотношения. Однако, что стоит за этими статистическими выкладками? Какие универсальные закономерности можно вывести из полученных данных? Какие пути расширения самой простой – двухчленной – дейктической системы дагестанских языков можно сформулировать? На эти вопросы мы постараемся дать ответ в следующей части работы.

**5. ИМПЛИКАТИВНАЯ КАРТА УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
В ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКАХ**

Начнем данный раздел с еще одного статистического соотношения. Посмотрим, сколько различных типов дейктических систем существует в дагестанских языках и каковы они. Оказывается, что и здесь обнаруживается большое разнообразие: из 27 разбираемых языков получается 19 различных дейктических систем (см. Табл. 2).

Таблица 2

Типы дейктических систем в языках Дагестана

№	Дейктическая система	Язык(и)
1	Б Д	Будухский, рутульский, хварширский, крызский
2	Б БА Д	Гунзибский, удинский, гинухский
3	Б Д ОД ДВ	Ботлихский
4	Б ОБ Д ОД ООД	Цахурский
5	Б Д ОД ООД	Багвалинский
6	Б БА Д ДНВ	Цезский
7	Б Д ДН ДВ	Табасаранский
8	Б БА Д ДН ДВ	Лакский, даргинский, арчинский
9	Б БА Д ДА ДН ОД	Годоберинский
10	Б Д ОД ДН ДВ	Аварский
11	Б БА ОБ ОБА Д ДНВ	Бежтинский
12	Б Д БУ ДУ ДВ ДН	Хиналугский
13	Б Д ДН ДВ ОД ОДН ОДВ	Агульский, тиндинский
14	Б Д ОД ООД ДВ ОДВ ДН ОДН	Лезгинский
15	Б БУ Д ОД ООД ДВ ОДВ ДН ОДН	Каратинский
16	Б БА БУ БУА БН БНА БВ БВА Д	Чамалинский
17	Б Д ДУ ОД ДВ ДОВ ДН ДОН	Ахвахский
18	Б БА БН БВ Д ОД ООД ДН ДВ ОДН ОДВ ООДН ООДВ	Андийский
19	Б БА ОБ ОБА ОБУ ОБВ ОБН Д ДВ ДН ОД ОДВ ОДН ООД ООДВ ООДН	Хайдакский диалект даргинского языка

Рассмотрим теперь задачу построения имплицативной карты употребления указательных местоимений в дагестанских языках. Для этого введем понятие имплицативной матрицы (см. Табл. 3). Заголовками столбцов и строк имплицативной матрицы являются пространственные значения, реально зафиксированные среди указательных местоимений дагестанских языков². Элементы имплицативной матрицы могут принимать значение 0 или 1. Для каждой строки единица в некоторой позиции означает, что во всех языках, в которых встречается соответствующее указанному в заголовке этой строки пространственное значение, обязательно присутствует и значение, указанное в заголовке столбца. Заметим, что это отношение между пространственными значениями несимметрично. Например, верно, что если в языке есть пространственное значение **БА**, то всегда есть и **Б**, однако обратное неверно.

Имплицативную матрицу можно построить на основании данных о распределении указательных местоимений в дагестанских языках, приведенных в Таблице 1, используя следующую формальную процедуру. Сначала присвоим каждому элементу матри-

² Данные названия совпадают с названиями столбцов в вышеприведенной Таблице 1.

цы значение 1. Далее, для каждой строки таблицы распределения указательных местоимений, т.е. для каждого языка, проделаем следующую операцию. Для каждого значения, присутствующего в данном языке, т.е. обозначенного знаком «+», найдем соответствующую этому значению строку имплицативной матрицы и присвоим значение 0 всем тем элементам этой строки, для которых значения, указанные в заголовке столбца, не присутствуют в данном языке. Легко видеть, что элемент имплицативной матрицы, стоящий в строке с заголовком X, и столбце Y, равен нулю тогда и только тогда, если хотя бы в одном языке в котором встречается значение X, не встречается значение Y.

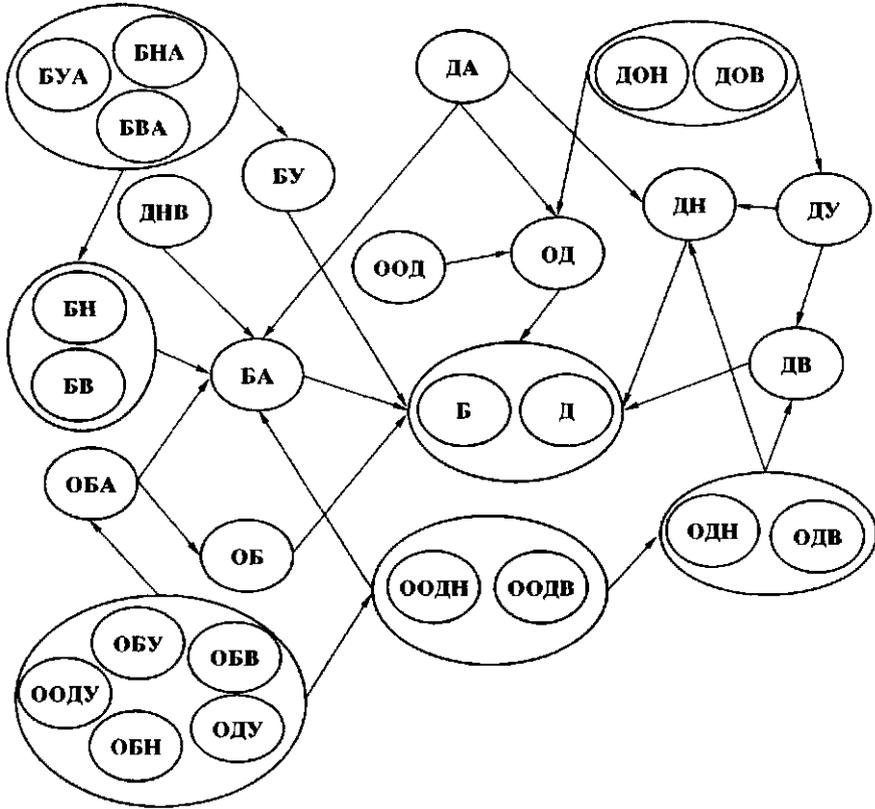


Рис. 22. Имплицативная карта распределения указательных местоимений в языках Дагестана

Имплицативная матрица является одной из форм представления имплицативной карты. Если на имплицативной карте существует зависимость между элементами X и Y, то тогда в имплицативной матрице элемент, стоящий в строке X и столбце Y, равен 1. Имплицативная карта³, представленная на Рис. 22, соответствует имплицативной матрице, приведенной в Таблице 3. Для наглядности значения, которые во всех языках всегда используются вместе, на имплицативной карте объединены в один элемент.

Сформулируем теперь универсалии, которые следуют из данной имплицативной карты. Некоторые из них очевидны, некоторые – интуитивно логичны, некоторые кажутся неестественными, однако все они справедливы на данном материале.

³ Отметим, что данная имплицативная карта не совсем традиционна, т.к. стрелками на ней обозначены не пути диахронического развития, а направления имплицативных связей.

1. Если в каком-либо дагестанском языке есть пространственное значение **БА**, то в нем есть значение **Б** и **Д** (данное утверждение верно и для любого другого пространственного значения, т.е. значения **Б** и **Д** встречаются во всех дагестанских языках).
2. Если в каком-либо дагестанском языке есть пространственное значение **ОБА**, то в нем есть значения **ОБ**, **БА**, **Б** и **Д**.
3. Если в каком-либо дагестанском языке есть пространственное значение **ДА**, то в нем есть значения **БА**, **ОД**, **ДН**, **Б** и **Д**.
4. Если в каком-либо дагестанском языке есть пространственное значение **ООД**, то в нем есть значения **ОД**, **Б** и **Д**.
5. Если в каком-либо дагестанском языке есть пространственное значение **ДНВ**, то в нем есть значения **БА**, **Б** и **Д**.
6. Если в каком-либо дагестанском языке есть пространственное значение **БУА**, **БНА** или **БВА**, то в нем есть значения **БА**, **БУ**, **БН**, **БВ**, два других из этой тройки, **Б** и **Д**.
7. Если в каком-либо дагестанском языке есть пространственное значение **БН** или **БВ**, то в нем есть значения **БА**, другое из этой пары, **Б** и **Д**.
8. Если в каком-либо дагестанском языке есть пространственное значение **ОБУ**, **ОБН**, **ОБВ**, **ОДУ** или **ООДУ**, то в нем есть значения **ОБА**, **ОБ**, **БА**, **ООДН**, **ООДВ**, **ДН**, **ДВ**, **ОДН**, **ОДВ**, остальные из этой пятерки, **Б** и **Д**.
9. Если в каком-либо дагестанском языке есть пространственное значение **ДУ**, то в нем есть значения **ДН**, **ДВ**, **Б** и **Д**.
10. Если в каком-либо дагестанском языке есть пространственное значение **ОДН** или **ОДВ**, то в нем есть значения **ДН**, **ДВ**, другое из этой пары, **Б** и **Д**.
11. Если в каком-либо дагестанском языке есть пространственное значение **ООДН** или **ООДВ**, то в нем есть значения **БВ**, **ДН**, **ДВ**, **ОДН**, **ОДВ**, другое из этой пары, **Б** и **Д**.
12. Если в каком-либо дагестанском языке есть пространственное значение **ДОН** или **ДОВ**, то в нем есть значения **ОД**, **ДУ**, **ДН**, **ДВ**, другое из этой пары, **Б** и **Д**.

6. УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕННИЯ ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКОВ: ПУТИ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Описывая в настоящей работе указательные местоимения дагестанских языков, мы пытались исчислить все возможные дагестанские дейктические системы, а затем остановились на наиболее интересных случаях. Однако много вопросов остались открытыми. Перечислим их.

Без сомнения, читателю бросается в глаза тот факт, что разные дейктические системы описаны с разной степенью подробности. Так, самый красноречивый пример, несомненно, имеет место с хайдакским диалектом даргинского языка. К сожалению, подобные описания очень малочисленны, однако, как нам представляется, такая разная степень подробности никак не влияет на общие принципы описания, классификационные основания и соотношение базовых и сложных указательных местоимений. Несмотря на это, одно из направлений дальнейших исследований в этой области – это более исчерпывающее описание различных диалектов и языков, которое можно получить только в ходе кропотливой работы с носителями таких языков и диалектов.

Следующее малоизученное пока исследовательское поле – это вопрос о морфологической структуре дагестанских указательных местоимений и о степени iconicности отображения пространственной схемы в структуру словоформы. Исходя из того, что любое указательное местоимение некоторого дагестанского языка имеет

семантическую пространственную структуру **Л-Г-В** (при этом категории Тип Локутора и Горизонтальная ориентация обязательны для любого местоимения а категория Вертикальная ориентация – лишь иногда), можно проследить, как – когда кумулятивно, когда агглютинативно – форма указательного местоимения соотносится с этой пространственной структурой

Отдельного исследования заслуживает и вопрос о соотношении Ориентированных на Расстояние и Ориентированных на Лицо систем в дагестанских языках. Возможно, окажется применимым вышеописанное предложение В.И. Подлеской, в таком случае станет понятным различие в описаниях гунзибского языка. Однако тогда встанет другой вопрос – как объяснить наличие в годоберинском языке значения 'далеко от Адресата'?

Один из самых интересных вопросов – вопрос о прагматическом употреблении, в особенности о том, какое из указательных местоимений выбирается анафорически 'основным' и приближается по своим свойствам к местоимению 3-го лица. В разных языках этот элемент имеет разное исконно-пространственное значение. Так, в годоберинском языке – это значение **ОД**, в андийском и лакском – **ДН**, в рутульском – **Д**, в цахурском – **Б**. По каким закономерностям происходит это развитие?

В заключение мы хотим еще раз подчеркнуть тот факт, что данное исследование преследует две основные цели. Во-первых, поставленная задача – описать дейктические системы дагестанских языков – интересна и самодостаточна сама по себе. Во-вторых, проведенное исследование может послужить основой для целого ряда новых исследований. В первую очередь, перед нами теперь стоит задача-минимум – задача построения морфо-синтаксической, прагматической и диахронической типологий (более подробно об этом см. во Введении) для дагестанских языков. С другой стороны, задача максимум состоит в типологическом описании самых разнообразных языков мира, и такое исследование, как нам представляется, должно развиваться в том же порядке – от создания пространственной типологии указательных местоимений (с использованием разработанного метода установления универсальных импликаций) к морфо-синтаксической, прагматической и диахронической типологиям*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеев М.Е. 1994 – Бежтинский язык // Красная книга языков народов России. М., 1994.
Алексеев М.Г., Атаев Б.М. 1998 – Аварский язык. М., 1998.
Алексеев М.Е., Шенцов Э.М. 1997 – Лезгинский язык. М., 1997.
Атаев Б.М. 1990 – Роль указательных местоимений в выражении пространственной ориентации (на материале аваро-андо-цезских языков) // Выражение пространственных отношений в языках Дагестана. Махачкала, 1990.
Бокарев А.А. 1949 – Очерк грамматики чамалинского языка. М., Л., 1949.
Бокарев А.А. 1959 – Цезские (дидонские) языки Дагестана. М., 1959.
Бюлер К. 1993 – Теория языка. М., 1993.
Вольф Л.М. 1974 – Грамматика и семантика местоимений (на материале иберо-романских языков). М., 1974.
Выражение пространственных отношений в языках Дагестана. Махачкала, 1990.
Дешириев Ю.Д. 1959 – Грамматика хиналугского языка. М., 1959.
Жирков Л.И. 1949 – Ахвакские сказки // Языки Северного Кавказа и Дагестана. Вып. 2. М., 1949.
Жирков Л.И. 1955 – Лакский язык. Фонетика и морфология. М., 1955.
Ибрагимов Г.Х. 1990 – Цахурский язык. М., 1990.

* Автор выражает глубокую признательность А.Е. Кибрику за ценные замечания и помощь в процессе работы над статьей.

- Кибрик* 1972 – Кибрик А Е Кодзасов С В Оловяникова И П Фрагменты грамматики хиналугского языка М 1972
- Курбанов Б Р* 1996 – Структура и семантика местоимений в лезгинском языке М, 1996
- Ломтадзе Э А* 1956 – Структура и склонение указательных местоимений в языках дидойской группы // ИКЯ Т VIII 1956
- Магомедова П М* 1990 – К характеристике дейктических систем чамалинского языка // Выражение пространственных отношений в языках Дагестана Махачкала 1990
- Магомедов А А* 1970 – Агульский язык Тбилиси, 1970
- Мидиева Г И* 1965 – Грамматический очерк бежтинского языка Автореф канд дис Махачкала 1965
- Майтинская К Е* 1969 – Местоимения в языках разных систем М, 1969
- Мейланова У А* 1964 – Очерки лезгинской диалектологии М, 1964
- Падучева Е В Крылов С А* 1984 – Дейксис Общетеоретические и прагматические аспекты // Языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики М, 1984
- Палунян В А* 2000 – Общая морфология М, 2000
- Подлесская В И* 1990 – Вопросы лексической и синтаксической семантики М, 1990
- Саидова П А* 1973 – Годоберинский язык Махачкала 1973
- Талибов Б Б* 1983 – О личных и указательных местоимениях в цахурском языке // Местоимения в языках Дагестана Махачкала 1983
- Тмирбулатова С М* 1983 – Выражение пространственных отношений указательных местоимений хайдакского диалекта даргинского языка // Местоимения в языках Дагестана Махачкала 1983
- Человеческий фактор 1992 – Человеческий фактор в языке Коммуникация модальность дейксис М 1992
- Шаумян Р* 1941 – Грамматический очерк агульского языка М, Л, 1941
- Шейхов Э М* 1983 – Вопросы образования и истории указательных местоимений в лезгинском языке // Местоимения в языках Дагестана Махачкала, 1983
- Элементы цахурского языка 1999 – Элементы цахурского языка в типологическом освещении М 1999
- Языки мира 1999 – Языки мира, М 1999
- Языки народов СССР 1967 – Языки народов СССР М, 1967
- Anderson S Keenan F* 1985 – Deixis // Language typology and syntactic description / Ed by T Shopen N Y 1985 V 3
- Andrade M J* 1933 – Quileute // Handbook of American Indian languages Pt 3 N Y 1933
- Beig X* 1995 – A grammar of Hunzib Leiden 1995
- Denny I P* 1978 – Locating the universals in lexical systems for spatial deixis // Chicago linguistic society Papers from the parasession on the lexicon 1978
- Diessel X* 1998 – Demonstratives in crosslinguistic and diachronic perspectives Ph D dissertation 1998
- Diessel X* 1999a – Demonstratives form, function, and grammaticalization Amsterdam 1999
- Diessel X* 1999b – The morphosyntax of demonstratives in synchrony and diachrony // Linguistic Typology V 3 1999
- Dixon R M W* 1972 – The Dyirbal language of North Queensland Cambridge, 1972
- Ehlich K* 1982 – Anaphora and deixis same similar or different? // Speech, place and action Studies in deixis and related topics / Ed by Jarvella Klein Chichester 1982
- Essays on deixis 1983 – Essays on deixis / Ed by Rauh Tuebingen 1983
- Fillmore C F* 1982 – Towards a descriptive framework for spatial deixis // Speech place and action Studies in deixis and related topics / Ed by Jarvella, Klein Chichester, 1982
- Fortescue M* 1984 – West Greenlandic London 1984
- Givon T* 1980 – Ute reference grammar Ignacio, 1980
- Givon T* 1984 – Syntax A functional typological introduction V I Amsterdam, 1984
- Halliday M A K Hasan P* 1976 – Cohesion in English London, 1976
- Haspelmath M* 1993 – A grammar of Lezgian Berlin, New York 1993
- Heath I* 1980 – Nunggubuyu deixis anaphora and culture // Chicago linguistic society Parasession on pronouns and anaphora 1980

- Here and there 1982 – Here and there Cross-linguistic evidence on deixis and demonstration / Ed by Weissenborn, Klein Amsterdam, 1982
- Himmelmann N P 1996 – Demonstratives in narrative discourse A taxonomy of universal uses // Studies in anaphora / Ed by B Fox, 1996
- Kibrik Alexandr E (ed) 1996 – Godoberi Lincom Europa, 1996
- Kibrik Alexandr E 1997 – Beyond subject and object Toward a comprehensive relational typology // Linguistic typology V 3 1997
- Lions J 1977 – Semantics V II Cambridge, 1977
- Nagaraja K S 1985 – Khasi A descriptive analysis Pune, 1985
- Perkins R D 1992 – Deixis, grammar and culture Amsterdam, 1992
- Speech, place and action 1982 – Speech place and action Studies in deixis and related topics / Ed by Jarvella, Klein Chichester 1982

© 2001 г. А И ФАЛИЛЕЕВ

**ЯЗЫК СРЕДНЕВЕКОВОГО ВАЛЛИЙСКОГО ПРАВА КАК ИСТОЧНИК
ДЛЯ ОБЩЕКЕЛЬТСКОЙ И ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ***

Интерес к языку ранних юридических памятников, проявляемый исследователями различных индоевропейских традиций, имеет прежде всего два аспекта. С одной стороны, «любой из памятников древнего и средневекового права – от Судебника Хаммураби и законов Хеттского царства до французских Кутюмов и "Саксонского Зерцала" может служить образцом усилий известного или неизвестного кодификатора, вложенных им не только в дело систематизации правовых норм, содержащихся в народном обычае, но и обработку языкового материала» [Десницкая 1982 159] Внимание, таким образом, фокусируется на вопросах изучения закономерностей формирования и развития собственно литературного языка – ведь на раннем этапе "язык права не был изолированным специальным языком, обслуживающим небольшую группу людей, более того, он составлял весьма важную сферу общественной жизни" [Гроссе 1963 176] Значительные результаты этого аспекта изучения языка ранних правовых трактатов были достигнуты, в частности, в русистике – см., например, исследования языка "Русской правды" в контексте истории русского литературного языка старшего периода (С П Обнорский, Б А Ларин, М А Селищев и др.)

Другой аспект изучения ранних правовых текстов носит ретроспективный исторический характер и охватывает самый широкий круг вопросов – от текстологии и диалектологии до сравнительно-исторического изучения терминологии, формул и т.д., что, в свою очередь, часто приводит к реконструкции индоевропейских правовых древностей на вербальном уровне. Нередко в текстах ранних законов фиксируются лексемы и целые последовательности лексем (и не только относящиеся к собственно юридическому слою), которые не встречаются в других памятниках языка

В кельтской филологии ретроспективный аспект изучения текстов ранних законов преимущественно разрабатывается на ирландском материале в связи с большим объемом памятников и их весьма архаичным характером, см. [Kelly 1988] Другой крупнейший корпус ранних кельтских юридических документов был создан на (средне) валлийском языке, уступая и по объему, и по древности раннему ирландскому материалу, тексты средневековых валлийских законов, тем не менее, представляют значительный интерес как для бриттской и общекельтской, так и для индоевропейской реконструкции

Средневековые валлийские законы связаны с именем принца Хауэла Доброго (Hywel Dda), который правил большей частью Уэльса в первой половине X века Согласно прологам ко всем трем полным редакциям законов (о чем см. ниже), "Хауэл сын Каделла, принц всего Уэльса, призвал к себе в Ти Гвин, что на реке Тав шесть человек из каждого кантрева Уэльса, и были то люди мудрейшие () И общим советом и согласием мудрых, что пришли туда, пересмотрели старые законы и некоторым из них позволили продолжаться, и другие поправили, и некоторые совсем запретили,

* Настоящая работа выполнена в рамках проекта *Thesaurus Indo-Europeanus* (руководитель – член-корреспондент РАН Н Н Казанский) при поддержке гранта РГНФ № 98-04-30008 а/1

а другие составили вновь" (Юг. 1. 1–3; 10–13). Уже почти тысячу лет законы средневекового Уэльса известны под названием "Законы Хауэла" (валл. *Syfraith Hywel*, лат. *Lex / Leges Hoeli*). Вполне резонно возникает вопрос: а не является ли ссылка на принца Хауэла очередной мифологемой, сходной с историей о благословении Св. Патриком текстов ранних ирландских законов, содержащейся в так называемом "псевдоисторическом прологе" к собранию трактатов *Senchas Már*? Действительно, попытки увидеть в этих прологах к текстам валлийских законов политическую мифологему, созданную в XII в., встречаются и сейчас, однако большинство современных специалистов по истории валлийского законодательства все же связывают становление валлийских юридических трактатов с именем Хауэла, см. [Jenkins 1990: xiii – xvii; Jenkins 1997: 349–50].

До сегодняшнего дня сохранилось около сорока рукописей, содержащих "Закон Хауэла", которые были записаны в период XIII–XVI вв. Шесть из них – на латыни, остальные – на средневаллийском. Со времен Анейрина Оуэна, издателя средневековых валлийских юридических трактатов [Owen 1841], общепринятым является распределение средневаллийских текстов "Закона Хауэла" на три группы, восходящих к так называемым "трем редакциям". В современной традиции эти три редакции носят названия "Книга Кивнерфа" (*Llyfr Cyfnerth*), "Книга Блегиурида" (*Llyfr Blegywryd*) и "Книга Иоруерта" (*Llyfr Iorweth*). Некоторые (более поздние) рукописи не попадают, собственно говоря, ни в одну из них или занимают промежуточное положение. За последние сорок лет была проведена огромная текстологическая работа, которая позволила установить систему взаимоотношения как между отдельными рукописями, так и между редакциями, см. [Jenkins 1997]. На сегодняшний день общепринятой является следующая хронологическая последовательность редакций: "Книга Кивнерфа", сокр. *Syfn*. [Wade-Evans 1909]; "Книга Блегиурида", сокр. *Bleg*. [Williams, Powell 1961] и "Книга Иоруерта", сокр. *Ior*. [Wiliam 1960].

Как отмечал более полувека назад Т. Парри-Уильямс [Parry-Williams 1928: 139–140], "в основном, большинство лингвистических черт ранних валлийских версий законов сходны с особенностями языка средневаллийской прозы". Действительно, язык текстов средневековых валлийских законов совершенно закономерно рассматривается в качестве одного из важнейших источников становления и существования средневаллийского языка (XII – конец XIV в.). Более детальная периодизация этого хронологического отрезка (раннесредневаллийский – до середины XIII в. и поздневаллийский – с середины XIII в., см. [Evans 1970: xviii – xix]) основывается, в том числе, и на лингвистических особенностях средневековых валлийских рукописей законов; таким образом, язык самых ранних текстов законов традиционно рассматривается вместе с лингвистическими данными древнейшей валлийской художественной прозы ("Килхух и Олуен"), и, что немаловажно, с крайне архаичным (и, очень часто, намеренно архаизированным) языком так называемой "не столь ранней поэзии" (период ранних *Gogynfeirdd*), который, в свою очередь, является в определенной степени переходным от до-средневаллийского (древневаллийского и архаического валлийского, см. [Калыгин, Королев 1989: 208–212]) к собственно средневаллийскому.

Даже если, следуя традиции, признать участие принца Хауэла в формировании основы средневековых валлийских законов реальностью, то, на первый взгляд, мы имеем возможность соотнести лингвистические данные этих текстов только с серединой X века. Однако, как заметил Д. Бинчи, "валлийские юридические трактаты, несмотря на их очевидно позднюю запись (*modernity*), содержат архаический слой, который можно иногда выделить с помощью соответствующих ирландских текстов" [Binchy 1959: 17]. Один из этих слоев, как справедливо полагает этот виднейший исследователь языка кельтского права, являет поразительные совпадения в юридической терминологии валлийской и ирландской традиции. Действительно, на первый взгляд казалось бы, что включение кельтской Британии в орбиту Римского мира с весьма развитой системой законодательства не могло не повлечь привнесения большого числа латинских заимствований в валлийскую юридическую терминологию.

«Напротив, – отмечает Д. Бинчи, – их поразительно мало. Такие термины, как "суд, судья, иск, преследование, наказание, договор, поручительство, кредитор, должник, адвокат, доказательство, приговор" и т.д. – все они, между прочим, были заимствованы в язык английского закона из франко-норманского – представлены в валлийском (и ирландском) исконными словами» [Там же: 18]. С одной стороны, это наблюдение позволяет поставить вопрос о степени романизации (страта романизации?) Римской Британии. С другой стороны, сохранение этих терминов (а многие из них находят параллели и в других языках) представляет существенный интерес и для общекельтской, и для индоевропейской реконструкции.

Так, например, встречающийся в средневековых валлийских юридических трактатах термин *detyf, detef* (совр. валл. *deddf*) 'закон, обычай' находит точную параллель в ирландском галаксе *deidme (cacha deidme a díchur "every ordinance can be set aside", букв. "каждого закона его отложение")*. Сопоставление этих форм предполагает общекельтский номинатив **dedm-*, который соответствует греческому *θεσμός* (дор. *τεθμός*). Несмотря на определенные трудности дальнейшей реконструкции, ср., например [Бенвенист 1995: 300 и сл.; Chantraine 1977: 432], эта архаичная лексема представляет значительный интерес как с точки зрения ареального ее распространения, так и с точки зрения развития семантики. Действительно, в средневековых валлийских текстах соответствующая форма может использоваться в значениях 'закон, законодательный акт; статут; обычай; обряд; религия', см. [GPC: 912]. В ирландском же это архаическое слово было вытеснено заимствованиями (напр. *rechtge* : лат. *rectus*), или новообразованиями (*noës* : глагол *noïd* 'делать известным, провозглашать').

Интереснейшее ср.-валл. *amod* 'соглашение, stipulatio'¹ восходит к сочетанию предлога и глагольного имени глагола 'быть'. С точки зрения Д. Бинчи [Binchy 1959: 18–19], эта форма находит параллель в ирл. формульном *ben imtha* "betrothed wife", букв. "женщина соглашения". Вторая часть этой ирландской юридической формулы *imtha* – является абсолютным семантическим аналогом валлийского термина (при стандартном использовании в ирландских законах *cor* или *cor hél* в значении 'контракт, соглашение'). Более того, Д. Бинчи указал на возможность рассматривать соответствующие глагольные формы *im-tá* (традиционно переводимые "so is, even so"), особенно в текстах законов, как относящиеся к этой же модели и обозначающие 'accords, agrees'.

Таким образом, язык валлийской юридической терминологии часто может быть весьма важным подспорьем для анализа соответствующих ирландских фрагментов и служит немаловажным источником для общекельтской реконструкции. Конечно, возможен и обратный процесс – использование ирландских данных для уточнения соответствующих "темных мест" валлийских законов, см., например, предложенный Д. Бинчи в другом месте [Binchy 1956: 228–229] анализ валлийского *tah anwar* "сын не выполняющий завещание отца" (Ior. 45.14) с учетом ирландского *macc gor* "сын, заботящийся (о пожилым и/или недееспособным отце)" и его антонима (с отрицательным префиксом) *macc ingor*, который, что немаловажно, этимологически тождествен валлийскому выражению. Некоторые вопросы вызывает семантическая сторона этого любопытного сопоставления, а также его предыстория. Так, с точки зрения Бинчи [Там же: 228], валлийская формула – это "слабое эхо" первоначального значения, представленного полностью в ирландском. Однако П. Шрайвер, вслед за У. Каугиллом, поставил под сомнение этимологию ирл. (*in)gor*, сопоставленного Д. Бинчи с и.-е. корнем **g^her-* 'тепло' [IEW: 493–5], и реконструирует омонимичный

¹ Ср. Ior. 69. 29–30 *amuot a tyr dedef. Ket gunelher amuot en erbyn keureyth, dyr yu e kadu* "амод нарушает (может нарушать) закон. Хотя амод сделан против закона, необходимо соблюдать его", отмечу здесь сосуществование в одном фрагменте двух слов – *dedef* и *deureyth* – в качестве родового термина 'закон'; об этих и других терминах см. подробно [Jenkins 1981: 323–348].

корень **g^{nh}er-* со значением 'возмещать, стоить' ('compensate, to be worth') на основании кельтских и германских (ср. совр. англ. *worth*) данных. При этом, как отмечает П. Шрайвер, соотнесение этого корня с индоевропейской древностью не обязательно [Schrijver 1996: 199–202]. В отношении же первого компонента этого термина (валл. *map*/ирл. *mac*) можно заметить, что несмотря на этимологическую прозрачность кельтских слов, обозначающих "сына", его использование в некоторых формульных сочетаниях в кельтских языках ведет к многозначной интерпретации. см. [Falileyev 1998]. Исходя из новой этимологии, предложенной для второго компонента этого термина, как отмечает Шрайвер, можно уточнить и семантический аспект валлийской формы. Если незафиксированное в валлийском **mab gwar* должно быть синонимично ирландскому *mac gor*, то введение в систему права завещания автоматически предполагает, что "сын, заботящийся (о пожилom и/или недееспособном отце)" должен заботиться и о соблюдении его посмертной воли [Schrijver 1996: 198, сноска 7].

Подобное "взаимодополнение" ирландского материала валлийским и *vice versa*, конечно, не ограничивается лишь лингвистическим уровнем анализа. Без сопоставления соответствующих фрагментов этих двух юридических традиций, которые, в основном, восходят к общему источнику, достаточно сложно (а подчас и невозможно) понять целые разделы законов, а следовательно, и стоящую за ними историческую реальность. Так, например, ранние ирландские законы лишь упоминают совместную обработку земли (*comar*), не вдаваясь в какие-либо более или менее подробные комментарии. В тоже самое время средневековые валлийские юридические трактаты не только сохранили этимологически тождественный термин (*cyfar*), но и содержат целые тексты, посвященные этому важнейшему аспекту сельскохозяйственной деятельности (см., например, *log*. 152). Примером обратной связи может послужить валл. *dadannudd* – юридический акт претензии на землю, который остается в рамках валлийских источников достаточно неразработанным, и ключом к пониманию этой валлийской реальности является его ирландское соответствие – *tellach* (см. библиографию в [Jenkins 1997: 355, сноска 7]).

С другой стороны, большой интерес представляют такие фрагменты ранних ирландских и средневековых валлийских законов, в которых описываются сходные (а нередко и тождественные) юридические процедуры и/или исторические реалии. Подобные сходения интересны уже в плане выявления "первоначального" ядра средневаллийских юридических трактатов – ведь кроме того, что средневаллийские законы были записаны веками позднее ирландских, они испытали определенное влияние римского, а позднее и англосаксонского, равно как и канонического права. Любопытна в этой связи представленная в так называемой "Книге колонок" идея о трех системах закона (валл. *y tair cyfraith*, букв. "три закона") – римского права, канонического права и "Законов Хауэла" [Jenkins 1980: 258]. Вполне понятно, что эти фрагменты могут служить основанием для лингвистической реконструкции – как общекельтской, так и индоевропейской.

Действительно, многие термины, относящиеся к юридической сфере и устанавливаемые на уровне и.-е. праязыка, сохранились в ирландских и валлийских средневековых юридических трактатах. В качестве примера можно привести здесь рефлексы и.-е. **dhlgh-* 'Schuld, Verpflichtung' [IEW: 271]. Интерпретация взаимоотношения лексем, возводимых к этому сложному индоевропейскому корню, как известно, вызвала значительные расхождения во мнениях. Так, у Ю. Покорного, который находит его продолжения в кельтском (напр., др.-ирл. *dligid* "право, обязанность"), германском (только готск. *dulgs*) и славянском (ср. др.-русск. *дългъ*). этот корень постулируется для индоевропейского [IEW: 271–272]. Согласно Э. Бенвенисту, "готское *dulgs* не германское слово, а кельтское заимствование" [Бенвенист 1995: 136]; другие авторы считают его, впрочем, заимствованием из славянского, и это мнение подкрепляется аргументами, по преимуществу, экстралингвистического характера, см. [ЭССЯ: 180, библиография]. Однако родство кельтских, германской и славянских форм все-таки

принимается многими исследователями, хотя индоевропейская мотивация этого этимона может быть и оспорена, ср., в этой связи, соотношение этих форм с индоиранским ритуально-правовым термином (иранск. **drang-* "виновность, ответственность", см. [Иванов, Гамкрелидзе 1984: 808], или гипотезу о родстве славянских соответствий с прилагательным **dblgъ* "долгий, длинный" ("в понятие долга включался срок" [ЭССЯ: 180, 208–209]. Что же касается "мозаичности" этой изоглоссы [Калыгин, Королев 1989: 36], если рассматривать только кельто-германо-славянские данные, то практически идентичную дистрибуцию показывают рефлексы другого ритуального термина, введенные Ю. Покорным в статью, посвященной и.-е. **kob-* [IEW: 610]. Теперь к представленным там др.-ирл. *cob* "победа", германским (ср. др.-исл. *happ* "удача") и славянским формам (напр., ст.-слав. *ковъ* 'тὄχη') можно добавить и валл. *cabl* 'calumny, blame, blasphemy', причем соотнесение общего для этих (и целого ряда других) слов этимона с индоевропейской древностью принято нецелесообразным и необязательным, см. [Falileyev, Isaac 1998].

Представляется уместным отметить некоторые особенности валлийских соответствий этих славянских и германской форм. В средневековых юридических трактатах соответствующий глагол используется в значениях 'должен, обязан' и 'имеет право', ср. Ior. 7.15-16. *ef a dele e dyllat e penetyo e brenhyn endunt e Garawys. Ef a dely hot en wastat ydyt a'r brenhyn* "он имеет право на одежды, в которых король приносит покаяние на Пасху. Он обязан быть всегда вместе с королем". Примечательно, что в современном валлийском этот глагол используется только в имперфекте и плюсквамперфекте; он встречается только в единственной синтаксической конструкции в значении 'должен', ср. *fe ddylai wybod* "он должен знать" [Evans 1970: 152]. Эта семантическая амбивалентность может проявляться и при изложении сходных фрагментов в различных рукописях и редакциях, см. примеры в [Jenkins 1990: 263]. Абстрактное существительное *dylyed* сходным образом имеет два значения в средневаллийских юридических текстах – 'долг, обязанность' и 'право', в то время как в современном валлийском это слово используется только в первом значении.

Стоит обратить внимание и на семантику других производных от этого глагола. Так, прилагательное *dyledog* обозначает в средневаллийских текстах, как прозаических, так и поэтических, понятие 'благородный, привилегированный', т.е. *'имеющий (большие) права'; в более позднюю эпоху это слово находим и в значении 'находящийся в долгу, должный', а с начала прошлого века (субстантивировано) – 'должник' [GPC: 1136]. Существительное же *dylyawdwr*, используемое в средневаллийских правовых текстах, означает, в сущности, 'кредитора', собственно 'имеющий право (на оплату)'. В этой связи можно привести показательный фрагмент из "Книги Блегиурида", Bleg. 39. 2–7 *or hyd rwg talawdyr a'r dylyawdyr dyd gossodedic y talu y dylwet, ef a dily arhos y dyd* "если между должником и кредитором (*dylyawdyr*) определенный день, в который он должен заплатить долг (*dylwet*), он имеет право (или 'должен', *dily*) ждать до этого дня". В семантическом плане обеиметны также и замены соответствующего глагола прилагательным *iawn* 'надлежащий, справедливый'. Как отметил в этой связи Д. Дженкинз, "то что справедливо / надлежит (*iawn*) человеку, это то, на что он имеет право, или то, что он должен, обязан; иногда невозможно сделать выбор между этими двумя значениями, которые, впрочем, могут и сосуществовать" [Jenkins 1990: 340]. Это наблюдение перекликается с выводами по поводу предыстории родственного слова в ирландском. Как отмечается, "ирландский термин отражает архаичную нерасчлененность понятий права и закона в том смысле, что *dliged* предполагает следование некоему установлению (ср. *dliged* в значении 'авторитетное суждение, норма, правило') безотносительно к тому, что дает или получает в конечном счете субъект" [Калыгин, Королев 1989: 37]. Типологически схожая амбивалентность проявляется и в некоторых других средневаллийских терминах. Так, прилагательное *cylys* 'виновный, виноватый' используется как в собственно

юридических контекстах, так для обозначения чисто этического понятия, в то время как соответствующее существительное *cwl* имеет только второе значение, см. [Фалилеев 1998: 88–90].

Вероятно, менее архаичны те термины, которые зафиксированы только в германском и кельтском (см. ниже). Особый интерес, однако, представляют собственно сепаратные ирландско-валлийские изоглоссы, которые позволяют приблизиться к реконструкции общекельтского праязыка и протокультуры. В качестве примера можно привести любопытное схождение между др.-ирл. *athgabál* и ср.-валл. *adauayl* (совр. валл. *adafael, atafael*) 'завладение имуществом в обеспечение выполнения обязательства'. Сюда же относится др.-брет. *adgabael*, глоссирующее лат. *ocupanda* в *Collatio Canonum* [Fleuriot 1964: 54]. Как было отмечено в [Binchy 1973: 27; Kelly 1988: 231–232], эти формы предполагают общекельтское **ategabaglā* и, возможно, указывают на возможность существования сходных процедур в период общекельтского единства. Не менее интересны и юридические формулы, сохранившиеся в нескольких британских языках. Так, средневаллийский юридический термин *wynepwerth* (ср. также *wynepwarth*) 'компенсация за оскорбление' (Ior. 19.10; 50.12), см. о нем [Jenkins, Owen 1980: 220; Jenkins 1990: 392–393], представляет собой дословно соположение 'лицо – стоимость'. От него нельзя отделить соответствующие бретонские формы – др.-брет. *epner uuert* (Картуларий из Редона), *epner guerth* (gl. *ditatione, recte dotatione*, Картуларий из Ландевеннек) и ср.-брет. *epnarz* [Fleuriot 1964: 160]. Сопоставление валлийского и бретонского материала предполагает наличие общebritтского термина, см. [Hamr 1974: 261–270], ср. [Schrijver 1996: 201], который в свою очередь, можно сопоставить с синонимичным ирл. *lóg n-envech* [Kelly 1988: 125–126].

Несомненный интерес вызывают и юридические формулы, очень часто представляющие собой весьма архаичные формы, выходящие за хронологические рамки средневаллийского языка. Так, отмеченное Т. Парри-Уильямсом [Parry-Williams 1928: 147] *telhitor gwedy halawc lw* 'оплачивается после ложной клятвы' (Bleg. 86. 25) интересно не только из-за сохранения архаичного окончания безличной глагольной формы настоящего-будущего времени *-itor*, ср. др.-валл. *cephitor* 'получается' при стандартном ср.-валл. *-ir*, об этих формах см. [Evans 1970: 120–121]. Этот фрагмент, безусловно, можно рассматривать как некоторую юридическую формулу, на что указывает и ее контекстуальное функционирование, ср., напр., *a'r gyfreith honno a elwir "telhitor gwedy halawc llw"* (Bleg. 86. 24–5) 'и этот закон называется "оплачивается после ложной клятвы"'. Петрифицированный архаизм глагольной формы, который, между прочим, указывает на возможность наличия до-средневаллийского (письменного) источника, уже выносит этот фрагмент за рамки истории этого периода валлийского языка. На формульность модели указывает и интересное *halawc lw* 'ложная клятва'. Средневаллийское прилагательное *halawc* (совр. валл. *halog*) определяется Университетским словарем валлийского языка [GPC: 1816] как 'dirty, soiled, defiled, unclean, profane, corrupt' и находит точное соответствие в др.-брет. *haloc* gl. *lugubri* [Fleuriot 1964: 206] и ирл. *salach* gl. *sordidus* [LEIA: S–16], из и.-е. **sal-'schmutzigrau'* [IEW: 879].

Этимологические параллели к ср.-валл. *llw, llu* (совр. валл. *llw*) 'клятва' засвидетельствованы в других ранних кельтских языках, ср. др.-брет. *dilu* gl. *detestantur*, совр. брет. *le 'serment, juron'* [Fleuriot 1964: 142, 247]; др.-ирл. *lugae, lu(i)g(h)e* из и.-е. **leugh-, lugh-* 'Eid, Schwur' [IEW: 687; GPC: 2233]. Согласно одной из гипотез, выдвинутой Г. Вагнером и разрабатываемой Э. Хэмпом и Дж.Т. Куком, рефлекс этого индоевропейского корня (общекельтск. **lugiom*) наблюдается и в теониме *Луг*, который, таким образом, рассматривается как кельтский бог клятвы, что, между прочим, позволяет по-новому проинтерпретировать соответствующий фрагмент галльской таблички из Шамальер. Из других индоевропейских языков рефлекс этого корня зафиксированы только в германском, ср. готск. *liugan* и другие формы, приведен-

ные Ю. Покорным. Вероятно, это сходжение можно рассматривать как сепаратную кельто-германскую изоглоссу, что, между прочим, ставит вопрос об индоевропейской древности этого корня. Исходя из положения о том, что "все правовые термины [являющиеся сепаратными кельто-германскими изоглоссами] созданы путем переосмысления общиндоевропейских слов" [Порциг 1964: 181], и принимая во внимание разнообразие мотивировок в номинации акта клятвы в различных и.-е. языках [Бенвенист 1995: 309], вероятно, стоит поставить вопрос о производности этого термина в кельтском и германском. Одним из возможных решений этой проблемы могло бы быть привлечение части материала, собранного Ю. Покорным в статье, посвященной и.-е. **teugh-* (1) 'lügen' [IEW: 686], с уточнением семантического аспекта этого сопоставления.

Возвращаясь к рассматриваемой формуле *halawc lw* 'ложная клятва', стоит отметить, что уже сам порядок следования элементов весьма примечателен. Вместо ожидаемого и традиционного "определяемое" – "определяющее", как, например, в синонимичном *llv cam* (Ior. 59. 7), где *cam* – 'искривленный, неправильный' из и.-е. *(*s*)*kamb-* 'krummen, biegen' [IEW: 918; GPC: 396], составляющие в этой формуле следуют в обратном порядке. Возможность препозиции прилагательного определяемому существительному в (средне)валлийском языке ограничена двумя случаями. С одной стороны, несколько прилагательных (напр. *prif* 'главный', *hen* 'старый') преимущественно предшествуют определяемому существительному, и этот порядок слов не является маркированным. С другой стороны, любое прилагательное может предшествовать существительному, составляя с ним сложное слово, "close" или "loose" compound в терминологии валлийской грамматики [Evans 1970: 37]. Именно это объяснение приложимо к рассматриваемому случаю. Как и *cam* (ср. в этой связи аналогичный порядок слов в ср.-валл. *tyngthu cam lywein* 'клясться ложными клятвами' в тексте, датированном 1346 годом; см. другие примеры в [GPC: 403]), так и *halawc* в подобных случаях целесообразно рассматривать именно как часть соответствующих сложных слов, при этом отсутствие основного определителя подобного статуса этой лексемы (обязательное ленирование начальной согласной второго элемента, равно как и дистантное написание составляющих) можно проигнорировать, принимая в расчет неустоявшуюся орфографическую норму. Как и *cam*, валл. *halawc* иногда используется в качестве составляющего элемента сложных слов (и особенно в языке юридических документов, ср. интереснейшее ср.-валл. *halaucty* (напр., Ior. 112.14) 'дом человека, пойманного на воровстве', букв. "грязный дом"). Однако в отличие от случаев с *cam*, *halawc* в ранней валлийской юридической терминологии встречается преимущественно в препозиции, что, с учетом (впрочем, достаточно тривиального) семантического сдвига ('грязный' > 'ложный, незаконный'), предполагает явную терминологическую переориентацию соответствующих фрагментов.

Конечно, вряд ли приходится говорить об общекельтской, не говоря уже об индоевропейской, древности (на вербальном уровне) средневековой валлийской юридической формулы *telhitor gwedy halawc lw* 'оплачивается после ложной клятвы'. При этом, впрочем, не надо упускать из вида, что "лексические замены и изменения в культуре на протяжении тысячелетий могут оставить лишь семантическую структуру первоначальной конструкции" [Watkins 1979: 182]. Однако в любом случае этот и подобные фрагменты явно выходят за рамки средневаллийского языка, что, между прочим, позволяет сделать и некоторые выводы экстралингвистического характера.

Уже было неоднократно замечено, что "при всей специфичности жанра юридических текстов в ряде важных отношений они очень сходны с текстами народной устной поэтической традиции (наличие параллельных конструкций, постоянных повторов, обилие формул, отчасти сходных с фольклорными, рифмообразные элементы, анафоры и т.п.). Уже это сходство свидетельствует о единстве истоков юридических и фольклорных текстов, принадлежавших некогда к единой устно-поэтической сфере" [Иванов, Толоров 1981:10]. Особенно это очевидно в рамках другой кельтской

традиции – ирландской. Действительно, в программу обучения ирландских филидов входило и получение юридических знаний [Калыгин 1986: 22], а отказ от поэтической речи при судопроизводстве, по некоторым источникам, произошёл достаточно поздно, ср., в связи с этим гипотезу Д. Бинчи о так называемой "поэтико-юридической школе" ("Nemed school"), которой принадлежит целый ряд юридических трактатов. В силу своей сравнительно меньшей архаичности, вследствие большей модернизации, средневековая валлийская традиция, на первый взгляд, не указывает на какое-либо сходство между должностями судьи и поэта при дворе принца; наоборот, обязанности и статус каждого строго регламентированы и разнесены в текстах законов. В исторической же перспективе и судья и поэт были, прежде всего, "людьми знания", ср. в этой связи возможность возведения валл. термина *ynad* 'судья' к корню **gna-* 'знать' [Jenkins, Owen 1980: 220–221]. Любопытно, что в рукописях, записанных в южном Уэльсе, где практически не было профессиональных судей, и в судах правосудие вершили землевладельцы, гораздо чаще фигурирует другой термин – *brawdwr*, производный от *brawd* 'суждение'; они "были судьями (ибо у них было суждение), но их не обучали закону" [Jenkins 1980: 393]. С другой стороны, сам лингвистический материал текстов средневаллийских юридических трактатов, равно как и его синтаксическая организация, несмотря на изобилие более поздних наслоений и правку средневекового редактора, указывает на тесные исторические связи между этими двумя видами словесного творчества. Об этом, в частности, свидетельствует и такой важнейший стилистический аспект языка средневаллийских законов, как его формульность.

Как отмечалось, «задача сохранения текста и его неизменного воспроизведения в эпоху "предправа" служила особому рода организации устного текста на семантико-композиционном уровне» [Иванов, Топоров 1978: 223]. С другой стороны, было установлено, что "основным принципом построения (ирландских) архаических генеалогий был принцип повторяемости, который охватывал все языковые уровни от фонетики до синтаксиса" [Калыгин 1986: 123]; это определение можно применить и к языку поэтических произведений эпохи валлийских "ранних поэтов" – Анейрина и Талиесина, равно как и для последующего периода развития средневековой валлийской поэзии. В применении к языку валлийских средневековых законов повторяемость именно на синтаксическом уровне кажется наиболее показательной, что, в свою очередь, находит разительные параллели в других ранних юридических традициях, ведь «основные и наиболее жесткие приемы мнемотехнического характера сосредоточены на синтаксическом уровне. Речь идет прежде всего о принципиальной установке на использовании одной (в крайнем случае – однородных) конструкции, которая "прошивает" весь текст, подчиняя себе все темы данного свода» [Иванов, Топоров 1978: 224].

Действительно, синтаксис текстов закона Хауэла достаточно монотонен и преимущественно ограничен несколькими моделями типа "если случится с X событие Y, то закон говорит.../ должно....", "не должно X делать Y (если)" или "если кто-либо (не) делает действие X, то должно". Безусловно больший интерес в плане мнемотехники и, вероятно, функционирования валлийского "предправа", представляет собой наличие в текстах законов так называемых триад. Сгруппированные тройками списки героев и мест, в средневековом Уэльсе (также, как и в Ирландии) эти триады были одним из основных способов каталогизации, сохранения и передачи ученой традиции. Рассеянные по многим рукописям, – а триады явно дидактического характера находятся не только в бардических трактатах, (псевдо)исторических сочинениях или ранней художественной литературе, но и в средневековых валлийских медицинских трактатах (см. издание средневековых валлийских триад [Bromwich 1978], – они весьма часто встречаются и в текстах законов. При этом нужно учитывать, что триады средневаллийских юридических трактатов представляют собой синтактико-стилистическую организацию вербализованного юридического знания и, по преимуществу, не выходят за его пределы.

Действительно, в изданиях различных редакций законов Хауэла встречаются целые страницы текста, организованные по триадному принципу (напр., Ior. pp. 22–23; 28–29;

Bleg. pp. 102–127). В основном, триады средневаллийских юридических текстов развернуты, что предполагает комментарий к одному, двум или каждому из трех составляющих ее компонентов. Однако нередко встречаются и отдельные некомментированные триады типа *log. 42.9–10 try peth ny dele y brenhyn e kyuran a nep: e svllt a'e hehauc a'e leydyr* 'три вещи, которые король не может ни с кем делить: свое богатство, и своего сокола, и своего вора'. Подавляющее большинство триад записаны на средневаллийском и в лингвистическом плане, собственно говоря, не выходят за рамки этого периода истории валлийского языка. Значительно больший интерес с точки зрения формирования корпуса средневековых валлийских законов представляют своеобразные "скрытые" сноски на триады, известные по другим источникам. Так, в сложном *log. 113 17–21*, определяющем наказание за похищение мяса, используется выражение *keheryn canastyr*, которое вызывает значительные сложности для интерпретации. Ср.-валл. *keheren (kyhyryn) canast(y)r* (в соответствующих латиноязычных фрагментах этому соответствует *frustum carnis centum eventorum*) традиционно интерпретируется как 'кусочек украденного мяса', букв. "кусочек мяса / мускул согни рук" [GPC: 746], ср., однако, скептицизм Д. Дженкинза [Jenkins 1980: 282]; при этом имеется в виду, что вплоть до сотого человека, через руки которого прошло украденное мясо, каждый из них несет юридическую ответственность.

Уже этимологизация составляющих это выражение слов, несмотря на то, что они могут иметь достаточно точные параллели в других кельтских языках, вызывает немалые сложности. Так, валл. *cyhyr(yn)* 'мускул, сухожилие, кусочек мяса' [др.-корнск. *cheher* (gl. pulpa), ср.-брет. *kaher* 'мясо'] может и не восходить к *contra* [GPC: 746], и.-е. **kom-ser-*, ср. [Campanile 1974: 25]. Валл. *canastr* вызывает еще большие сложности. Университетский словарь валлийского языка предлагает две возможности интерпретации этого слова [GPC: 408]. С одной стороны, в нем можно видеть сочетание числительного 'сто' и гапакса *astyr* 'рука'. С другой стороны, вслед за Лотом, второй элемент можно было бы сопоставить с др.-ирл. *astar* 'работа, путешествие', причем само это ирландское слово не имеет надежной этимологии, см. [LEIA: A–97]. Так или иначе, любая интерпретация составляющих это выражение элементов основывается, прежде всего, на анализе семантики всего словосочетания, что уже подразумевает его терминологический статус и достаточную древность. Немаловажно, что в так называемой "Книге Блегиурида" содержится триада (Bleg. 114. 23–27 *tri chehyryn canhastyr*), которая хотя и не объясняет рассматриваемый фрагмент из "Книги Иоруерта", но указывает на явно восходящий к до-средневаллийскому периоду возраст этого правового термина, уже сложившегося ко времени записи средневековых юридических трактатов.

Другой аспект использования валлийских юридических триад можно проиллюстрировать анализом следующего фрагмента из "Книги Иоруерта" (*log. 54.18–21*): "если случится так, что женщину увидят выходящей с одной стороны роши, а мужчину – с другой, или выходящими из пустого дома, либо покрытыми одной мантией, если они отрицают это, [необходима] присяга пятидесяти женщин для женщины и стольких же мужчин для мужчины". Перечисление трех этих условий указывает на возможность наличия собственно триады, и она действительно зафиксирована в "Книге Блегиурида" (*tri chadarn enllh gwreic* 'три серьезных обвинения женщины'). Любопытно, что эта триада (Bleg. 111. 24–28) имеет некоторое расхождение с текстом, предложенным в редакции "Книги Иоруерта": "три серьезных обвинения женщины суть: одно, когда увидят мужчину и женщину выходящими из одной роши, с разных сторон ее; второе, когда застанут их двоих под одной мантией; третье, когда увидят мужчину между бедер женщины", ср. также *Sufn. 127. 7–11*. Это и подобные расхождения в текстах триад, представленных в различных редакциях средневековых валлийских законов, еще раз указывает на возможность их существования в устной форме в период, предшествующий записи отдельных редакций.

Можно предположить, что в эпоху валлийского "предправа" юридические максимы

существовали, в той или иной степени, именно в форме триад; тем самым идея о связи между вербальной (и мнемотехнической) организацией ранневаллийского художественного текста и текстов средневековых валлийских законов находит дополнительное подтверждение

О связях поэтического языка и языка средневаллийских юридических трактатов говорит и наличие в них собственно формул (в терминах Р. Шмитта) К сожалению, этот аспект еще недостаточно изучен, на что, впрочем, существует резонное объяснение Так, для раннего ирландского стихосложения было установлено, что "трудность, с которой неизбежно сталкивается всякий, кто пытается отыскать формулы в ирландской поэзии, – это очень сложная и малоизученная метрика Поэтическая формула существует в (и для) определенной позиции в стихе, взаимодействуя с ней Доклассическая древнеирландская метрика, вероятно, была неустойчивой и допускала значительные отклонения" [Калыгин 1986 12], см. также [Калыгин 1991. 48–55] Попытки комплексного анализа формульности ранней валлийской поэзии появляются только в последнее время, и говорить, таким образом, об установлении инвентаря кельтских поэтических формул пока не приходится С другой стороны, эта сторона языка валлийских законов также недостаточно изучена, существует лишь несколько успешных попыток на основании изучения средневековых валлийских юридических формул выйти за рамки собственно валлийского языка, ср анализ валл *hai ni brawd*, предложенный Э Хэмпом [Hamp 1976 68–75]

Таким образом, язык средневекового валлийского права, несмотря на его позднюю кодификацию, остается важнейшим источником для общекельтской реконструкции В сочетании с соответствующими данными ирландских юридических трактатов, сведения, почерпнутые из так называемых "Законов Хауэла", могут и должны быть использованы как для филологических, так и для исторических построений При этом необходимо отметить важность кельтских данных не только для установления ареальных изоглосс (в частности, кельто-германских), но и в связи с маргинальностью этой группы языков, и индоевропейской реконструкции в целом

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бенвенист Э 1995 – Словарь индоевропейских социальных терминов М, 1995
Гамкрелидзе Т В, Иванов Вяч Вс 1984 – Индоевропейский язык и индоевропейцы Реконструкция и историко-типологический анализ языка и протокультуры Тбилиси, 1984
Гроссе Р 1963 – Об изучении языка немецких правовых памятников эпохи позднего средневековья // Проблемы морфологического строя германских языков М 1963
Десницкая А В 1982 – О синтаксических особенностях кодекса обычного права североалбанских горцев // Синтаксические особенности литературных языков на ранних этапах их формирования Л, 1982
Иванов Вяч Вс, Топоров В Н 1978 – О языке древнего славянского права (к анализу нескольких ключевых терминов) // Славянское языкознание VIII Международный съезд славистов Доклады советской делегации М, 1978
Иванов Вяч Вс, Топоров В Н 1981 – Древнее славянское право архаичные мифопоэтические основы и источники в свете языка // Формирование раннефеодальных славянских народностей М, 1981
Калыгин В П 1986 – Язык древнейшей ирландской поэзии М, 1986
Калыгин В П 1991 – Проблемы реконструкции индоевропейского поэтического языка // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей Лексическая реконструкция исчезнувших языков М, 1991
Калыгин В П, Королев А А 1989 – Введение в кельтскую филологию М, 1989
Порциг В 1964 – Членение индоевропейской языковой области М, 1964
Фалилеев А И 1998 – Кельтский комментарий к одному латинскому архаизму // Индоевропейское языкознание и классическая филология СПб, 1998
ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков Праславянский лексический фонд / Под ред О Н Трубачева Вып 5 М, 1978

- Binchy D* 1956 – Some Celtic legal terms // *Celtica* 1956 V 3
- Binchy D* 1959 – Linguistic and legal archaisms in the Celtic law books // *Transactions of the Philological Society* 1959
- Binchy D* 1973 – Distrant in Irish law // *Celtica* 1973 V 10
- Bleg** = cm Williams, Powell 1961
- Bronwich R* 1978 – *Trioedd Ynys Prydem* Cardiff, 1978
- Campanile E* 1974 – Profilo etimologico del cornico antico Pacini, Risa, 1974
- Chantraine P* 1977 – *Dictionnaire etymologique de la langue grecque* Paris, 1977
- Edwards J G* 1963 – Studies in the Welsh law since 1928 // *The Welsh history review* Special Number 1963
- Evans D S* 1970 – *A Grammar of Middle Welsh* Dublin, 1970
- Fahleves A* 1998 – Father of muse and son of inspiration // *Studia Celtica* 1998 V 32
- Fahleves A Isaac G* 1998 – Welsh *cabl* ‘calumny, blame, blasphemy’ // *Indogermanische Forschungen* 1998 V 103
- Fleuriot L* 1964 – *Dictionnaire des gloses en vieux breton* Paris, 1964
- GPC – *Geiriadur Prifysgol Cymru* Caerdydd, 1950–
- Hamp E* 1974 – *Varia* // *Eriu* 1974 V 25
- Hamp E* 1976 – *Barnu brawd* // *Celtica* 1976 V 11
- IEW** – *Pokorný J* *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch* Bern 1959
- lor** = cm *William* 1960
- Jenkins D Owen M (eds)* 1980 – *The Welsh law of women* Cardiff, 1980
- Jenkins D* 1981 – The Medieval Welsh idea of law // *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 1981 V 49
- Jenkins D* 1990 – *The Law of Hywel Dda* Llandysul, 1990
- Jenkins D* 1997 – A hundred years of Cyfraith Hywel // *Zeitschrift für celtische Philologie* 1997 V 49/50
- Kelly F* 1988 – *A guide to Early Irish law* Dublin, 1988
- LEIA** – *Vendryes J* (Bachelery E, Lambert P Y) *Lexique étymologique de l'irlandais ancien* Dublin, Paris, 1959–
- Owen A* 1841 – *Ancient laws and institutes of wales* London, 1841
- Parry-Williams T H* 1928 – The language of the laws of Hywel Dda // *Aberystwyth Studies* 1928 V 10
- Schuyter P* 1996 – *Olr gor* ‘pious, dutiful’ meaning and etymology // *Eriu* 1996 V 48
- Wade-Evans A W* 1909 – *Welsh Medieval law* Oxford, 1909
- Watkins C* 1979 – *Is trefu flathemon* Marginalia to Audacht Morainn // *Eriu* 1979 V 30
- William A R* 1960 – *Llyfr Iorwerth* Cardiff, 1960
- Williams St J Powell J E* 1961 – *Cyfreithiau Hywel Dda yn ol Llyfr Blegywryd* Caerdydd, 1961

© 2001 г. Т.А. МИХАЙЛОВА

СУДЬБА И ДОЛЯ:

**К ПРОБЛЕМЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ДЕТЕРМИНИСТСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
В РАННЕИРЛАНДСКОЙ ТРАДИЦИИ***

В свое время нами был проведен анализ лексики, обозначающей "смерть" и "умирание" в гойдельских языках. Распределение семантических мотивировок этих обозначений оказалось таково, что они с легкостью поддавались классификации, и нам удалось внутри данной семантической группы выделить несколько базовых концептов, которые, с одной стороны, нашли свои параллели в других индоевропейских языках, а с другой – помогли выявить специфические особенности именно кельтского осмысления смерти и Иного мира (см. [Михайлова, Николаева 1998]). Однако попытка применить аналогичную методику к такой, не менее важной лексико-семантической группе, как "судьба" (также кодируемой определенным набором лексем в древнеирландском и других кельтских языках), вызвала у нас серьезные затруднения. Если, обращаясь к "лексике умирания", мы располагали не только словарными данными, но и огромным числом разнообразных контекстов, как из саг, так и из фольклора, то в случае "судьбы" и того, и другого оказалось значительно меньше, несмотря на то, что словари свидетельствуют о наличии этого понятия в языке, а следовательно, можно с известной долей уверенности утверждать, что оно было представлено и в сознании носителей традиционной ирландской культуры. В пользу этого говорят и достаточно многочисленные описания ситуаций предречения судьбы, провидения будущего, предречения грядущих несчастий или, напротив, побед, которые мы встречаем и в саговом, и в фольклорном материале.

Чем же обусловлено такое противоречие? Наиболее простым объяснением в данном случае может быть апелляция к тому, что называется "речевым узусом". Действительно, для современной русской культуры сам факт постоянного употребления слов "судьба, суждено" и проч. столь естествен, что их отсутствие в текстах иной культуры предстает как маркированное. Как отмечала А. Вежбицка, "Судьба является ключевым концептом русской культуры. У него вообще нет эквивалента в английском языке" [Wierzbicka 1990: 23]. Ссылаясь на проделанный несколькими исследователями контент-анализ, она указывает, что на миллион английских слов приходится 33 употребления слова *fate*, и 22 – *destiny*, тогда как русское *судьба* встречается 181 раз, см. [Там же: 24]. Но проблема состоит не только в частотности традиционных употреблений соответствующих лексем. Даже поверхностное сопоставление глубинной семантики слов, составляющих лексико-семантическую группу "судьба" в таких развитых современных языках, как, например, английский и французский, показывает, что "категория судьбы" осмысляется в них по-разному, по крайней мере в плане выражения. Так, английскому *fate* нет как будто бы аналогов ни во французском, ни в русском языках, французское *fortune* по своей семантике не так "благоприятно" по сравнению с аналогичным английским (хотя оба в качестве вторичных значений имеют 'богатство, состояние'), и оба, естественно, не являются эквивалентами русского

* Исследование финансируется Российским гуманитарным научным фондом (грант № 00-04-00059а).

фортуна; английскому *luck* во французском соответствует несколько обозначений, причем все они не передают сложной семантики русского *удача* и проч. Сказанное очевидно, однако мы не можем не вспоминать каждый раз об этих банальных несоответствиях, поскольку приходится интерпретировать значения ирландских (и валлийских) лексем в первую очередь именно посредством обращения к существующим английским и французским словарям (добавим сюда также словарь Покорного, в котором праиндоевропейский материал преподносится сквозь призму семантически не менее сложного современного немецкого языка). Именно поэтому нам представляется необходимым при анализе "концептов" судьбы в древнеирландском опираться скорее на контексты употребления соответствующих лексем, чем на их словарные "эквиваленты". Возможно, более пристальный анализ случаев употребления слов, которые в словарях имеют условный эквивалент *fate* или *destiny* (но, отметим, обычно не в качестве основного!), позволит нам увидеть в равной степени как отсутствие нашего понимания "концепта судьбы", так и возможность принципиально иного осмысления причинно-следственных связей, управляющих последовательной совокупностью важнейших событий в жизни личности и коллектива. Ведь, если в ситуации описания "умирания" (как бы ни осмыслялось само понимание смерти и дальнейшего посмертного существования в той или иной исследуемой культуре) сам факт прекращения земного бытия все же остается в достаточной степени реальным и объективным, то при описании "судьбы" мы сталкиваемся, вполне вероятно, с совершенно иным типом осмысления причинно-следственных связей.

Обратившись к работам по мифологии Древней Ирландии, мы с удивлением обнаружили, что, в отличие от древнегреческой, римской и германской традиций, имеющих обильную историю изучения самого понятия *судьба*, "литература по вопросу" в нашем случае сводится всего к двум (!) небольшим статьям, Э. Гвинна [Gwynn 1910] и А.Г. Ван Хамеля [Hamel 1936], причем первая написана 91 год, в вторая – 65 лет назад. Обе работы подробно анализируются в недавно вышедшей книге нидерландской исследовательницы Ж. Борч о водяных монстрах в древнеирландской литературе, однако делается это там вскользь, и Борч сама отмечает, что «анализ слов, обозначающих "судьбу", равно как и проблема самого данного концепта, требует более глубокого изучения, однако это выходит пока за рамки нашей работы» [Borsje 1996: 68]. В своей работе Э. Гвинн приходит, возможно, к чересчур резкому выводу, что "не имеет смысла искать ясную общую концепцию Судьбы в саговой традиции. Мы можем предположить, что к периоду ее становления галы еще просто не дошли до стадии размышления о жизненных проблемах" [Gwynn 1910: 163]. "Фатализм кельтов строится на цели магических действий", – пишет 26 лет спустя Ван Хамель [Hamel 1936: 210], отчасти ему возражая, но отчасти и соглашаясь с идеей, что "концепт судьбы" у древних кельтов в привычном для нас понимании сформирован еще не был. Мы не беремся судить сейчас об этой глобальной проблеме, но сами тезисы, и тот факт, что в ранней кельтской традиции почти полностью отсутствуют описания реализации идеи Судьбы на уровне мифопоэтическом, – все это заставляет нас предположить, что многочисленные случаи того, что мы сейчас с легкостью привычно называем "предречениями, прорицаниями" и проч., самими создателями данной традиции осмыслялись как-то иначе.

Но что вообще мы понимаем под Судьбой? Говоря о разного рода архаических и традиционных культурах, судьбу принято понимать скорее как *п р е д о п р е д е л е н и е* (или, пользуясь формулировкой С.М. Толстой, как "**предначертанный** человеку свыше жизненный путь, определяющий главные моменты жизни, включая время и обстоятельства смерти" [Толстая 1995: 370]), ср. также "Судьба – понятие-мифологема, выражающее идею детерминации как несвободы" [Аверинцев 1970: 158].

В современном русском языке (как, кстати, и во многих других) слово *судьба* имеет два основных значения – "воображаемая сила, управляющая событиями жизни личности или коллектива; акт данного управления" (*судьба-1*) и "совокупность событий

жизни конкретной личности или коллектива" (*судьба-2*). Оба значения связаны между собой и, более того, если рассматривать "судьбу" как некий жизненный сценарий, вытянутый на временной оси, то можно отметить, что в том случае, если говорящий мысленно располагает себя в конце отрезка этой оси и говорит о прошедшем, то он употребит слово *судьба* скорее в значении 'история, совокупность важных событий', однако располагаясь мысленно в начале данного отрезка, он автоматически будет говорить о судьбе как о predeterminedенной заранее совокупности тех же событий. Оппозиция в данном случае безусловно касается области "известного" и "неизвестного", "верифицированного" и "предполагаемого", при этом сама идея реальности "жизненного сценария" остается неизменной в обоих случаях. Именно поэтому нам в дальнейшем представляется целесообразным в отдельных случаях прибегать к лексемам, относящимся скорее к области того, что в отечественном языкознании принято называть *судьба-2*. См. например, толкование понятия "судьба" в Толково-комбинаторном словаре А. Жолковского и И. Мельчука: "1. воображаемый деятель, назначение которого – судить Y-у важные для существования Y-а Z-ы и который обычно судит вопреки намерениям и ожиданиям Y-а; 2. Z-вая судьба Y-а – важное для существования Y-а Z, которое произошло/произойдет или должно произойти с Y-ом и которое определяется X-ом независимо от воли Y-а. [...] Слово *судьба* может обозначать как события Z, так и определяющего эти события деятеля X" (цит. по [Шмелев 1994: 228]).

Более того, как было убедительно показано в работе А.Д. Шмелева [Шмелев 1994], именно значение, которое обычно считается вторичным, *судьба-2*, на самом деле предшествует ясному осознанию наличия того или иного "воображаемого деятеля", от которого зависит последовательность жизненно важных событий. Действительно, для того, чтобы возникла идея о существовании некоей силы, которая управляет "жизненно важными событиями", нужна была в начале с а м а идея, что события могут градуироваться по степени "важности", с одной стороны, и варьировать – с другой. Мы можем даже предположить, например, что такие явления, как смена времен года и даже ежедневный восход солнца, также осмыслились в "категориях судьбы", т.е. могли и не наступить. Современный человек обычно считает иначе...

Обращение к традиции древнеирландской показывает относительную размытость границ между понятиями *судьба-1* и *судьба-2*, и, в то же время, как мы постараемся показать, "метафоризация" обозначений судьбы в ней еще настолько не кристаллизована, что может быть названа своего рода "слепком" становления как самого концепта, так и всей лексико-семантической группы.

Подробный анализ семантических мотивировок обозначений судьбы в германских языках был дан в небольшой статье Т.В. Топоровой "Древнегерманские представления о судьбе" (см. [Топорова 1994]). Мы не уверены в том, что в данной работе действительно описываются "представления" о судьбе и о предопределении древних германцев, однако в целом подобный семантико-этимологический подход к материалу, предполагающий анализ не столько конкретного употребления лексем, сколько их происхождения из пра-основ, представляется возможным и даже довольно продуктивным, по крайней мере, в качестве некоего предварительного, схематического очерка.

Итак, пользуясь терминологией Т.В. Топоровой и следуя ее методике, мы можем сказать, что для древнеирландской культуры применительно к словам, обозначающим "судьбу", выделяется всего три семантических мотивировки: (1) "(внезапный) приход". (2) "соединение, связывание, установление" и (3) "отделение, отрезание":

(1) "Приход, движение"

1. К и.-е. *ei- (*i-) с расширителем -dh- 'идти, двигаться' – ирл. *aided*;

2. к глагольной основе -icc 'достигать' – ирл. *tecman*g;

3. предпол. к и.-е. *(s)lei- 'следовать, скользить, двигаться (с кем/чем-л.)' – ирл. *lith*, а также поздние *solad* 'удача' (*so-* 'хороший' + *lith*) и *dolad* 'несчастье' (*du-* 'плохой' + *lith*).

(2) "Соединение, установление, связывание"

1. К и.-е. **tenk-* 'плести, связывать, соединять' – ирл. *tocad* (валл. *tynged*);
2. к и.-е. **audh-* 'плести, ткать, соединять, связывать' – ирл. *ádh*;
3. к др.-ирл. глаголу *cinnid* 'связывает, определяет, обязывает' (этимология не ясна, см. ниже) – *cinnemain*;
4. глагольное имя, супплетивное образование при основе *cuir-* 'ставить, располагать' – ирл. *dál*;
5. та же основа – ирл. *turchur, tochur* (*to-air-cuir*);
6. к и.-е. **dhē-* (**dheH_e-/dhH_e-*) 'устанавливать, помещать, соединять' – ирл. *dál*

(3) "Отделение, отрезание"

1. К и.-е. **dāl-* 'делить, отрезать' – ирл. *dál* (ср. русск. *доля*);
2. к и.-е. *(*s*)*k-* *ei-d* 'резать, отрезать, отделять' – ирл. *cuít* (ср. русск. *у-часть*, а также *с-часть* как "хорошая часть");
3. к и.-е. **prsnā-* ? 'часть, кусок' (ср. лат. *pars, partis*) – ирл. *rann*;
4. к и.-е. **k^wre-* 'отламывать (с хрустом)' > 'сучок, сухая ветка' > 'дерево' – ирл. *crann* (валл. *prenn* 'дерево', значение 'судьба' не имеет).

И, наконец, слово *dán* (исходное значение – 'дар'), в котором значение "судьба" проявляется относительно поздно, не входит ни в одну из названных групп-концептов, однако его семантическая мотивированность достаточно прозрачна (ср. русск. *у-дача*).

Приведенный нами перечень ирландских лексем и их предположительных этимологий позволяет охватить исследуемый материал, но не исчерпывает в полной мере того, что может быть названо "концептами судьбы" в древнеирландской культуре и мало проясняет особенности присущих именно ей провиденциалистских взглядов. Целесообразно поэтому обратиться к конкретным контекстам, демонстрирующим специфику их употребления, и попытаться выделить что-то вроде "метафор" судьбы, возникающих, естественно, постепенно и проявляющихся уже на уровне диахроническом.

Подобный подход был в свое время предложен С.Л. Сахно, который, претендуя на универсальность своих выводов, выделил три подобных концепта-метафоры судьбы, или, по его определению, «три основных "архетипических" контекста»: "1. судьба как связь; 2. судьба как речь и 3. судьба как текст" [Сахно 1994: 239]. Мы далеко не уверены в том, что этим набор "концептов судьбы" ограничивается. Более того, в помещенной в том же сборнике и уже упомянутой нами статье Т.В. Топоровой, посвященной только германскому материалу (!), выделяются такие семантические мотивировки обозначений судьбы как, "мера", "поворот" и, имеющая особенно много параллелей в других культурах, "судьба как часть" (ср. русск. *доля, удел, участь, счастье*). Ср. также соотнесение понятий "судьба" и "время" в Сравнительном словаре М.М. Маковского [Маковский 1996: 312]. Правда, следует отметить, что, выделяя "концепты судьбы", С.Л. Сахно намеренно оговаривается: «Слова типа *доля, участь* особо не рассматривались, поскольку мы ограничиваемся первым словарным значением лексемы *судьба* ("складывающийся независимо от воли человека ход событий, стечение обстоятельств; по суеверным представлениям – сила, которая предопределяет все, что происходит в жизни, рок")» [Сахно 1994: 239]. К сожалению, цитируя определение *судьбы*, он не указывает источник цитирования, само же сочетание "словарное значение" представляется вообще не имеющим смысла, поскольку именно выявление данного значения (или значений) для разных языков и является объектом изучения многих исследователей, причем результат до сих пор остается дискуссионным, что, по-видимому, объяснимо, ввиду сложности самого стоящего за ним понятия. Обращаясь же к культуре русской и, соответственно, к русскому языку, отметим, что, например, в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой в качестве о п р е д е л е н и я слова "судьба" дается "доля, участь" [Ожегов, Шведова 1998: 779]. Чем же в таком случае "ограничивается" С.Л. Сахно?

Однако рассматривая его "архетипы" более детально, следует отметить, что, с нашей точки зрения, само базовое русское слово "судьба", включенное им в раздел "судьба как связь", а не "судьба как речь", действительно этимологически "возводится к индоевропейским корням *som- 'вместе с' и *dhē-" [Сахно 1994: 240], однако на уровне семантической мотивировки осознается скорее как "приговор, суждение, суд", т.е. как некий вербальный акт, определяющий не зависящий от воли человека ход событий.

Однако мы должны признаться, что наша критика работы Сахно вызвана именно тем, что его подход к проблеме мы считаем наиболее продуктивным. Наверное, более глубокий анализ материала и привлечение большего числа языков и культур позволил бы выделить еще несколько "универсальных концептов", но, очевидно, набор их действительно оказался бы ограниченным.

Наше исследование не претендует на универсальность. Напротив, мы пытались выявить именно присущие древнеирландской культуре осмысления того коллективного ментального феномена, который в традициях иных и более поздних трактуется как "представления о судьбе", однако мысль о том, что их формирование подчиняется законам универсальных ментальных стереотипов, составляла постоянный фон нашей работы.

Итак, конкретный анализ употребления "слов судьбы" в древнеирландских текстах заставил нас сделать достаточно осторожный вывод: в древнеирландской культуре существовало два базовых "концепта" или "комплекса", определяющих важнейшие этапы жизни и обстоятельства смерти человека, причем они далеко не всегда соотносятся с уже выделенными нами их же архаическими семантическими мотивировками (или этимологиями). Первый "концепт" представляет собой совокупность обстоятельств, находящихся в н е самой личности – объекта судьбы и, как правило, находящихся в зависимости от предопределяющих его лиц, которые можно назвать условно "субъектами судьбы", само же "содержание" предопределения и оказывается тем, что на уровне чисто языковом закрепляется как "обозначение п о н я т и я с у д ь б а" (ср. в этой связи определение В.П. Горана, данное им применительно к культуре древнегреческой, – "представления о судьбе как о предопределении предполагают следующие понятия: субъект предопределения (судьбы), объект предопределения (судьбы) и предопределение как таковое, его содержание, то, что субъект судьбы предопределяет объекту судьбы". [Горан 1990: 188]). Это то, что ждет человека, что как бы находится (уже находится или может быть установлено) на его "жизненном пути", то, что может прогнозироваться и к чему человек может быть готов (или не готов!). Подобный комплекс представлений мы называем "судьба как с у д ь б а", исходя из этимологии и дальнейшей семантической мотивированности самого понятия в русском языке.

Второй "концепт судьбы", выявленный нами при анализе древнеирландских текстов, – представление о судьбе как о некоей субстанции, находящейся в н у т р и личности. Это своего рода энергетическая субстанция, определяющая способность человека противостоять жизненным испытаниям, это дается при рождении, но также может быть получено (и утрачено) им. Такой комплекс представлений мы называем "судьба как д о л я".

При помощи каких же лексем реализуются названные комплексы в самом языке? И какие внутри них могут быть намечены субконцепты?

В первую очередь, отметим семантически необычайно сложное слово *aided*, в котором значение 'судьба' (*fate*) традиционно отмечается как вторичное.

Очень распространенное в древнеирландских текстах существительное *aided* (совр. ирл. *oidhe* 'насильственная смерть, убийство') восходит к глагольной основе *eth-* 'идти, находить, брать, захватывать' с префиксом *ad-* с общим значением приступа, нападения, внезапного действия, направленного к объекту [Льюис, Педерсен: 421]. Традиционно переводимое как "насильственная смерть" (*mort violente, violent death*), это

слово входит в качестве "опорного" в обозначение одного из нарративных жанров (ср. "Aided Muirchertaig Meic Erca", "Aided Conchulaind", "Aided Lóegairi Búadaig" и проч.), однако более детальное обращение к самим текстам и их сюжетам показывает, что для носителя средневекового сознания понятие *aided* включало в себя не столько идею смерти насильственной, сколько представление о смерти внезапной, неожиданной и, всегда, неестественной. Действительно, с одной стороны, понятие *aided* часто оказывается синонимичным понятию "насильственная смерть", "убийство", с другой, – в ряде текстов, в название которых тоже входит *aided*, могут быть включены и рассказы о смерти в результате несчастного случая, внезапного потрясения и др. (например – смерть короля Конхобара наступила, когда он узнал о гибели Христа, Лойгайре погиб, ударившись головой о притолоку, а воин Кельтхайр сын Утахайра умер, когда ему на голову капнула ядовитая кровь пса). Общей для всех повестей жанра *aided* является идея внезапности смерти и ее отчасти противоестественный и случайный характер. Идея внезапности, как мы уже писали в нашей работе об обозначениях смерти и умирания в гойдельских языках, поддерживается и семантической мотивированностью лексемы: *ad-eth-*, т.е. то, что происходит, нападает, случается внезапно (ср. лат. *advenio* 'случаться, выпасть на долю'). *Aided*, таким образом, может быть отчасти уподоблено русскому понятию *грядущее*, но скорее уже в современном его понимании, т.е. как то, что должно неизбежно свершиться, что "подступает, подходит, приближается" (подробнее об оппозиции *грядущее* ~ *будущее* см. в [Яковлева 1998]).

Но будучи названием "жанра", т.е. объектом наррации, понятие *aided* включает в себя и идею рассказа о произошедших событиях (т.е. то, что мы обозначаем как *судьба-2*). Смерть воина или короля должна наступить при определенных запоминающихся обстоятельствах, и только тогда о ней может быть рассказано. С другой стороны, нам известно много случаев предсказания обстоятельств смерти того или иного лица, как правило противоестественной, причем в этих случаях само понятие "смерть" также, естественно, обозначается как *aided*, что заставляет предположить о наличии у данной лексемы дополнительного значения '(злая) судьба, участь, рок' (*судьба-1*).

Действительно, в ряде контекстов понятия противоестественной смерти и злой судьбы оказываются настолько слитыми, что точный перевод фразы в целом может вызвать затруднение. Например:

Is fír trá, a ingen, – ol sé, – is focus bás damsá, uair do bhí tairtngiri dam comad chosmail m'aidid 7¹ aidid Loairnd mo chean-athar, uair ní a comlann itir dorochair acht a loscad chena do-rónad [АММЕ 1980: 25] – "Это правда, девушка, – сказал он, – что смерть близка ко мне, ибо было мне предсказано, что будут похожи моя гибель (судьба?) и гибель (судьба?) Лоарна моего деда, ибо не в бою он пал, но был сожжен".

Или (пример из Словаря ирландского языка, дана отсылка к рукописи "Лейнстерская книга", сер. XII в.): ... *cen mna d'écaib de banaidid* – "... [так что] женщины не умирали при родах" (букв. – без женщин к мертвым от женской смерти/судьбы). Ср. аналогичную фразу, и имеющую тот же смысл в саге "Сватовство к Эмер": ... *cen mnaí do écaib di bandáil* – букв. "без женщин к мертвым от женской части (доли, участи?)" [ТЭ 1933: 33].

Еще больше слитность темы противоестественной смерти с идеей предречения судьбы просматривается в следующем примере (сага "Безумие Суибне", текст XII в.): *Innis damh-sa cia haidhedh notbéra fadhéin?* [BS 1931: 55] – "Расскажи мне, какая смерть (судьба?) унесет тебя самого". Этот вопрос обращен к существу, называемому *geilt*, безумцу, обладающему пророческим даром; поэтому его собеседнику кажется естественным спросить об обстоятельствах (и времени) его смерти. Характерно, однако, что в английском переводе этого фрагмента *aided* переведено как *fate*.

¹ Здесь и далее знак 7 передает союз *ocus* 'и'.

Как верно отмечает Н.А. Николаева, "при употреблении существительного *aided* в формах множественного числа происходит дальнейший смысловой сдвиг, при котором это слово выступает в значении 'судьба (судьбы)' без видимого оттенка мрачной фатальности" [Николаева 2000: 59]. Действительно, ср.:

Is do amseraib 7 do aidedaib na rígh-sain ro chan in senchaid... [RR 1956: 350] – "И о временах и судьбах этого короля спел сказитель..." (для данного текста, повествующего о последовательном правлении ирландских королей, формула *do amseraib 7 do aidedaib* представляет собой своего рода клише, вводящее поэтический фрагмент).

Aided, таким образом, это то, что наступает внезапно, что отличается от некоей стандартной нормы (видимо – смерть от старости и болезней) и что иногда предсказывается (поскольку практически все предсказания смерти относятся всегда к смерти в той или иной степени противоестественной), но также может явиться результатом проклятия языческого жреца или даже христианского святого. Однако мы все же не можем с уверенностью говорить, что во всех приведенных нами примерах слово *aided* действительно может быть переведено как "судьба", по крайней мере, в нашем понимании этого слова. Будучи в первую очередь элементом наррации, *aided* скорее кодирует не саму идею противоестественной смерти, а определенную совокупность обстоятельств, которые к подобной смерти приводят. Ср. в приведенном нами выше примере из саги "Смерть Муйрхертаха, сына Эрк" – "Близка ко мне *смерть* (*bás*)", но – "будут похожи моя *гибель* (*aided*) и *гибель* моего деда...". Именно они, а не сообщение "о безвременном уходе из жизни", являются предметом описания в сагах и в хрониках. Как правило, такие обстоятельства складываются для субъекта неожиданно, но в отдельных случаях могут быть ориентированы "на прецедент" (ср. *han-aided* – "смерть женщин от родов", букв.: "жено-гибель", клише) или предсказаны, п р и в н е с е н ы в жизненную фабулу субъекта неким лицом, прорицателем и/или заклинателем, который обладает даром и/или умением прогнозировать и/или моделировать будущее. Но в любом случае, *aided* оказывается важным элементом нарративной ткани, что по сути, приводит к слиянию понятий *судьба-1* и *судьба-2*: рассказ об особых обстоятельствах, приводящих к смерти субъекта, может быть составлен как после их реализации, так и до.

Антонимической парой к понятию насильственной смерти-судьбы, кодируемой как *aided*, может быть названа лексема *tecmang*, встречающаяся, надо отметить, гораздо реже. Слово *tecmang* (поздн. *tecmáil*) является глагольным именем от глагола *do-ecmaing* (из глаг. основы *-icc* с общей идеей "достижения чего-л.": *to-in-com-icc*) 'случается, приходит, происходит, неожиданно достигает'. Эта лексема, таким образом, тоже восходит к основе, кодирующей движение, но обозначает скорее нечто, что произошло так же "внезапно", но имеет скорее положительный результат. Слово *tecmang* встречается уже в глоссах VIII–IX в., где обычно с его помощью объясняется достаточно сложное латинское понятие *fors* 'случай, происшествие, то, что происходит неожиданно' (предположительно, как и *Fortuna*, соотносится с глаголом *fero* 'несу, даю', однако непосредственное возведение к этой глагольной основе, как отмечает Мейе, составляет известную сложность; семантически может быть сопоставлено с греч. *τύχη* [Emout, Meillet 1959: 249]). Так, например, в Миланских глоссах, выступая в качестве пояснения к латинской глоссе к 14 псалму Давида, данная лексема оформлена как синонимичная слову *tocad* 'удача? счастливая судьба?' (о ней – см. ниже), что в целом одновременно может прояснить счастливую *tocad* и сделать ее более сложной. Видимо, отчасти в результате влияния другой культуры:

...*Qui loquitur ueritatem in corde suo. .i. non prout fors .i. tocad .i. tecmang* | *ni-radi ní trí thalmaidchi* [Thurneysen 1949: 16] – "...*Тот, кто говорит истину в сердце своем, т.е. не по причине случая, т.е. случай, т.е. происшествие или не говорит он чего-то из-за случайности*".

Наш перевод ирландских лексем, естественно, был условен. В других случаях слово

tecmang, как и исходный глагол, может глоссировать латинское *eventus* 'случай, происшествие', а в текстах нарративных и юридических получает значение "неожиданный приход, внезапное прибытие (короля или иного значительного лица), совпадение событий и проч.". Например – ...*ma tecmai lith laithe*... – "...если же случится день праздника...".

Лексема *tecmang*, которую мы включаем в поле нашего анализа, поскольку она глоссирует одно из базовых "слов судьбы" – *tocad* – входит в обильную лексико-семантическую группу "случай, происшествие" (как положительный, так и отрицательный), однако здесь с еще большей прозрачностью, чем в ситуациях употребления слова *aided*. мы встречаем реализацию скорее значения *судьба-2*, то есть имеется в виду одно или несколько событий, имевших место в прошлом и достаточно важных, чтобы стать предметом рассказа. Более того, в отличие от *aided*, *tecmang* никогда не предсказывается заранее. Мы сталкиваемся здесь как раз с тем принципиальным отличием, которое существовало на определенном этапе развития представлений о заданности череды будущих событий, между культурой кельтской и культурой античной. Если для древнего грека его будущее могло быть не известно ему самому, но в принципе кем-то заведомо управлялось, причем даже в том, что касалось, якобы, "внезапности поворота", где в роли управляющего лица выступал "Тюхе", "Случай", то для древнего ирландца оно было не только также не всегда известно ему самому, но в отдельных случаях и мыслилось как несуществующее, зависящее иногда от внезапного стечения обстоятельств и даже – от воли самого объекта судьбы! Интересную параллель мы находим в славянской мифологии – "Украинской Доле по ряду признаков соответствует сербская *Сређа*. Серб. наименование доли (*счастье*, а также *встреча*) связано с осмыслением счастья как вовремя произошедшей встречи, счастливого случая" [Левкиевская 1999: 116]. В более поздний период, т.е. уже в среднеирландском лексема *tecmang* вытесняется производной от нее же формой *tecmáil*, в которой значение 'встреча' оказывается преобладающим, ср. *tegmhail ar mhnaoi phosda fhig oile* [CDIL 106] – "Встреча замужней женщины с другим мужчиной" (видимо, запланированная заранее).

Примерно то же можно сказать и о лексеме *lith*, первым значением которой является – "праздник, радостный день". Употребленное по отношению к неурочному моменту, это слово означает "радость, удача"; ср. *Ba hé mo líthsa bid é do-chorad and* – "Было это мне удачей, что он оказался здесь" [TBDD 1963: 15].

Слово *lith* также фигурирует в устойчивом сочетании *lith-laithe*, букв. "радость дня", обозначающем день, по ряду определенных признаков, удачный для какого-либо занятия.

Итак, мы можем предположительно реконструировать внутри общего концепта, осмысляющего "судьбу" как некий внешний объект, находящийся на пути у человека (и, возможно, также двигающийся по направлению к нему), субконцепт "судьба как встреча", кодируемый лексемами, восходящими к основам, обозначающим движение.

Но если лексемы *aided*, *tecmang* и *lith* этимологически соотносились с основами, кодирующими идею движения, то отчасти близкое семантически к *tecmang* слово *tochur* (*tochor*, ср. дублет *turchur*), напротив, восходит к основе *cuir*- 'ставить, располагать'. Таким образом, *tochur* – это то, что оказывается "пассивно" стоящим (расположенным) на пути у человека и что мы можем квалифицировать как другой субконцепт внутри общего осмысления "судьбы" как "внешнего" – "судьба как вещь". Это слово встречается в древнеирландском нечасто и, как правило, контекстами его употребления изначально являются описания рыбной ловли и охоты, то есть лексема кодирует то, что посылается человеку в качестве добычи и затем вторично является отчасти индикатором его "удачливости", что для древнего правителя являлось одним из важнейших "харизматических" составляющих (см. об этом, например в [Гуревич 1994]; ср. также рассказ о "неудачливом", *dyrasaf*, сыне валлийского короля, чья мар-

кированная неудачливость проявлялась в том, что он никогда не мог найти ничего на берегу моря, и который из-за этого не мог наследовать трон отца, см. [Ford 1975]). Связь данного понятия с морской стихией, предположительно, оказывается рефлексом неких общекельтских представлений о водных божествах, отчасти влияющих на "судьбу" человека. Так, древнеирландский "Заговор на долгую жизнь" (*Cémad n-Aíse*) начинается с обращения к "семи дочерям моря" (*secht n-ingena trethan*), однако назвать их в прямом смысле слова "субъектами судьбы", подобными мойрам или паркам, мы бы все-таки не решились (см. об этом тексте подробнее [Михайлова 2000]). В то же время отметим употребление лексемы *tochur*, ясно демонстрирующее указанную нами общую семантику названного субконцепта, т.е. осмысления судьбы как "предмета", расположенного вне непосредственного поля объекта судьбы, "на его пути": ... *in iurchur tuccassa roingona de mína tegba samlaid* [Aided Diarmada 1892: 74] – "... это судьба (?), которую я дал, если она тебя не убьет, погибну я сам от подобного". В качестве субъекта судьбы в данном случае выступает клирик, предсказавший королю Диармайду тройную смерть (от удара копьем, утопления и сожжения), однако контекст со всей очевидностью демонстрирует, что осмысляемое нами как "предречение", совершенное им вербальное действие является не только способом моделирования будущего, но и креацией некоего невидимого, но явно осмысляемого как реально существующий смертоносного объекта, который непременно должен найти свою жертву. Характерно, что в английском переводе этого фрагмента употреблено слово *missile* 'снаряд' [Death of King Dermot 1892: 78].

Близкую семантику демонстрирует и слово *díl*, для которого значение 'судьба' отмечается в Словаре ирландского языка как 5-е (II.e, см. [CDIL-D]) и которое в качестве основного значения имеет – "плата, компенсация и т.д.". Восходя к супплетивной основе *la-* того же глагола 'ставить, располагать', эта лексема, как правило, обозначает некое неизбежное дурное событие, которое должно наступить в результате нарушения персонажем договора, совершения им преступления и проч. (ср. русск. *рас-плата*). С идеей "судьбы" данное понятие, видимо, связывает присущая обоим тема неизбежности, однако мы не уверены в том, что здесь можно говорить о "судьбе" в строгом смысле слова. Ср., например, ... *ná ráid m'ainm tria bithu sír / ní sunntabairt duit droch-díl* [AMME: 23] – "...если бы не сказал ты мое имя трижды / не угрожала бы тебе злая-судьба" ("плохая расплата"?). Возможно, в этом случае мы встречаем реализацию значения, названного нами *судьба-2* (т.е. 'важное событие, последовательность событий').

Итак, судя по уже проанализированным лексемам, к вербализованному осмыслению "судьбы" как некоего внешнего обстоятельства (или совокупности обстоятельств), определяющего исход того или иного предприятия, или обстоятельства гибели объекта судьбы, тяготейт слова, этимологически связанные с идеей "движения" и "соединения. связывания, установления" и проч. (см. выше). В их числе мы можем назвать также *ád* и безусловно, *cinnetan*, ставшую в среднеирландский период основным эквивалентом того, что понимается нами как *судьба-1*.

Слово *ád(h)ág*, имеет регулярные соответствия во многих германских языках, которые, по мнению Ж. Вандриеса, заимствовали эту основу из древнеирландского [LEIA 1959: 14] и которые демонстрируют близость семантики: *ád* – это, в первую очередь, "удача, успех, доброе предзнаменование". Отчасти совокупность значений слова *ád* может пересекаться с другими лексемами, передающими идею удачи, везения, выгоды и проч., однако специфика употребления *ád* в контекстах свидетельствует скорее о понимании "удачи" как чего-то, что ожидает человека на его жизненном пути, но находится при этом вне его психофизической сферы, хотя отчасти может быть уже к ней приближено (см. ниже – о слове *tocad*). Ср., например, – *Dá mbeath d'ádh ar Oileach* [CDIL, A] – "Если удача будет с Олехом" (букв. "на Олехе"). Это слово также часто сочетается с глаголами движения, а на современном этапе входит в ряд устойчивых "пожеланий счастья", связанных с календарными праздниками (пожелания к Новому

году, дню рождения и проч.). Таким образом, понятие *ád* занимает в нашей классификации отчасти промежуточное положение – это нечто благое, что может встретиться на пути человека, оно маркирует также своим присутствием (или отсутствием) поворотную точку времени, в которую оно может быть **п р и в н е с е н о**.

Последнее подводит нас вплотную к очень важной лексеме *cinneman*, которая, собственно говоря, из всех названных нами выше в современном ирландском языке является единственной, которая обозначает судьбу уже в нашем понимании данного слова, то есть судьбу как принципиальную несвободу, как проявление высшего детерминизма или, пользуясь иными словами, как намеченный заранее (кем?) "жизненный сценарий". Именно эта лексема, пожалуй, оказывается единственной, которая в Словаре ирландского языка имеет английский эквивалент – *fate, destiny, chance* в качестве первого и единственного значения.

Однако сама лексема является, как отмечает тот же Словарь, поздней (*late*), а значение 'судьба' – вторичным. Слово *cinnema(i)n* является вторичным глагольным именем от глагола *cinnid* 'устанавливает, определяет, фиксирует'. По предположению составителей Этимологического словаря ирландского языка глагол восходит к слову *sein* 'голова', семантическое развитие при этом прослеживается следующим образом: "голова" > "край, конец" > "заканчивать" > "определять, фиксировать" > "решать" [LEIA 1987: 104]. В древнеирландский период *cinnid* в качестве глагольного имени изначально имел лексему *cinniud* – 'установление, уверенность, ограничение; кур. приговор, договор, решение суда; установление (платы и проч.); предназначение, судьба (в Словаре – знач. II.c)'. В среднеирландский период от него же образовалось вторичное глагольное имя, получившее затем позднее значение "судьба" (*tardif*). Отметим, что в шотландском подобный семантический переход не фиксируется вообще, и рефлексы др.-ирл. глагола *cinnid* в нем ограничиваются лишь наречием *cinnite* 'конечно, точно' (отмечено также в ирландском) и прилагательным *cinniteach* 'точный, бесспорный, безусловный и пр.' (см. [Macleannan 1979: 83]). Ирландское *cinneman*, таким образом, это, подобно русск. *судьба*, – "установление, определение" и, более того, это тоже "приговор", который, видимо, также мыслится как решение некоего незримого и всемогущего "субъекта судьбы". Но аналогично тому, что первое употребление русского слова *судьба* в значении "предопределение" фиксируется, по данным И. Срезневского, для 1073 г. (в сочет. "суд божий"), (см. [Черных 1994: 216]), ирландское *cinneman* является безусловно поздним образованием и, скорее всего, отражает уже какую-то принципиально новую стадию развития детерминистских представлений, автохтонной традиции чуждых.

Более того, анализ ряда примеров употребления лексем *cinneman* и *cinniud* в контекстах показывает, что собственно значение 'судьба' в них еще не явно и может быть результатом поздней интерпретации. Так, в поэтическом тексте, предположительно датированном концом XII в., говорится, что вождь фениев, Финн, велел одному из своих воинов пойти в дом девушки по имени Креде и стать ее мужем, на что тот говорит – *Atá i cinniud dam dul ann* [Murphy 1977: 142], что было переведено составителем как "It has been fated for me to go there", тогда как широкий контекст предполагает скорее перевод – "мне было велено, назначено" (букв.: "есть в назначении мне идти туда"). Близкое значение слова *cinneman* мы встречаем в поэтическом тексте XIV в., автор которого, пересказывая один из сюжетов "Римских деяний", приписывает ребенку, родившемуся в темнице, слова: *mé i dtigh dhorcha 'na dheaghaidh / a fhir chomtha, is cinneamhain* [Knot 1966: 44] – "Мне в темном доме позади / о, друг, (быть) назначено". Впрочем, в последнем примере начинает очерчиваться значение 'судьба' уже скорее в нашем понимании.

Отметим, наконец, употребление понятия *cinneamhan* в фольклорной традиции: как пишет в Ирландско-английском словаре П. Диннин, "если остов павшей коровы или лошади зарыть на поле соседа, *cinneamhan* перейдет на его стадо" [Dinpen 1979: 191], что, видимо, предполагает интерпретацию лексемы как "порча, проклятие", то есть

вновь нечто внешнее, что воздействует на объект судьбы и даже, как видно в последнем примере, может быть реифицировано (то есть представлено в виде "предмета").

Также поздним и еще более "рецированным" является обозначение судьбы словом *crann* 'дерево', семантика которого восходит к практике гаданий при помощи палочек. Данное значение (ср. "жребий") является бесспорно вторичным и, наверно, вообще не должно было бы входить в поле нашего исследования, однако мы полагаем, что сам факт наличия мантических ритуалов у кельтов (столь детально описанных еще античными авторами), все же не должен быть оставлен без внимания. Впрочем, Галлия времен Империи по уровню (и типу) развития духовной культуры, как мы полагаем, была далеко не равнозначна до-христианской Ирландии.

Осмыслению "судьбы" как чего-то, что и з в н е управляет жизнью человека, противостоит понимание детерминации, обусловленной в н у т р е н н е й субстанцией, также определяющей последовательность и характер важнейших событий жизни. Однако говорить о "противостоянии" мы можем лишь с известной долей условности, поскольку в ряде случаев представления о внешнем и внутреннем могут оказаться объединенными в единый комплекс "человек", границы которого по отношению к внешней среде могут представлять и как проницаемые. Говоря иначе, мы не всегда можем с уверенностью сказать, где именно кончается то, что воспринимается и закрепляется на уровне вербальном как понятие "поле человека" – его физическим телом, одеждой, домом и проч. Поэтому при анализе конкретных словоупотреблений лексем, предположительно обозначающих "судьбу", необходимо обращать внимание на семантику сопровождающих их глаголов, предлогов, на фокус эмпатии. Если он просматривается в контексте, а также – на метафорическое осмысление того, что может быть названо "наделением судьбой", самими носителями традиции.

Предположительно к концепту "судьба как вещь" может быть отнесено и ирландское *dál*, представляющее для анализа известную сложность, т.к. по данным словарей это слово имеет не только несколько значений, но и по-разному оформляется грамматически: *dál-1* т. о-основа с основным значением "часть, порция, доля" и *dál-2* ф. ā-основа с основным значением "встреча, событие", а также – "приговор, условие". Различна, как принято считать, и их этимология – если *dál-1* традиционно возводится к и.-е. **da(i)*- 'делить', то *dál-2* – к общекельтскому **da-tlā-*, образованному при помощи инструментального суффикса *-tlo-* и основы **dhē-* (**dheH₂-/dhH₂-*) 'устанавливать, помещать, соединять' [LEIA 1996: 15–17]. Интересно, что оба исходных значения как раз укладываются в выделенные нами в начале работы семантические мотивировки обозначений судьбы в древнеирландском языке. Но конкретное обращение к текстам показывает, что довольно часто мы не можем с определенностью сказать, с каким именно *dál* мы имеем дело, что, как это ни странно, обычно не мешает верному переводу контекста. Более того, в Словаре ирландского языка, как и в Этимологическом словаре, неоднократно отмечается факт смешения семантики и морфологии обеих лексем в конкретных текстах, что проявляется особенно ярко в метафорических употреблениях. Так, например, распространенное словосочетание *dál báis*, кодирующее идею близкой неизбежной смерти, в принципе может быть понято и как "смертная доля" и как "смертный приговор" или "встреча со смертью". Ср., например, в эпизоде из саги "Убийство Ронаном родича":

Dar th'ordan ocus darsin dáil i tiag-sa .i. dál báis... [FR 1993: 7] – "Клянусь твоей властью и встречей (?), к которой я иду, встречей со смертью..."

Как может показаться, семантика глагола ('иду') предполагает скорее осмысление *dál báis* как "встречи" со смертью, однако в ряде контекстов используются и другие глаголы. Ср. встречающиеся часто клише типа *tucsat dál báis forsin rí* [DIL 1913: 46] – "этому королю была суждена смерть" (букв. "был дан приговор смерти против этого короля"). Составитель соответствующего выпуска Словаря ирландского языка

К. Марстрандер [DIL 1913] высказывает предположение, что в данном случае опорным значением может быть и "приговор, суждение" (ср. этимологически тождественное ср.-валл. *dadyl anghew* 'смертный приговор').

Отметим, однако, употребление слова *dál* в саге "Сватовство к Эмер" на месте слова *aided*, "смерть/судьба" в клише, описывающем смерть от родов – ...*seil pnaí do ésaib di bandáil* – букв.: "без женщин к мертвым от женской судьбы", в котором последнее понятие может в принципе быть переведено и как "женская доля" и как "женский приговор", впрочем форма генитива – *dáil*, а не *dála* – скорее предполагает первое. Таким образом, осмысление *dál* как "судьбы" предполагает одновременно три возможных и, более того, не исключающих друг друга интерпретации: "встреча" – "установление" – "доля", последовательно располагающихся на оси "внешнее – внутреннее".

В современном шотландском слово *dàil f.* имеет два значения (в словаре Мак Леннана даны две разных словарных статьи) – 1. часть: племя, 2. встреча, собрание, контакт, договор. При этом непалатализованная форма *dàl f.* выделена отдельно, и именно за ней закреплено значение 'судьба' (*lot, fate*), причем составитель отмечает ее связь с *dàil-l*, т.е. предполагает, что значение 'судьба' развивается у нее на базе значения 'часть, доля', что, естественно, имеет множество параллелей в других языковых культурах. Кроме очевидных русских *доля, у-часть, у-дел, с-часть*, отметим, например, также, что в греческой традиции семантическая мотивировка "часть, доля" имеет не только актуальное и для современной культуры понятие *μοῖρα*, но более архаическое *ἀισα*, "с исконным значением 'часть, порция'" [Giannakis 1998: 7]. Или, как отмечает В.П. Горан, «в Гомеровском эпосе слова "мойра" и "айса" иногда употребляются в значении "доля" как часть чего-либо в контексте, прямо указывающем на дележ добычи» [Горан 1990: 124].

В новоирландском развитии понятия "доля – судьба" отмечается также у лексем *suil* 'часть' (ср. *tá do chuid ar Dia* – "твоя судьба (зависит) от Бога") и *gann* 'часть, порция' (преимущественно в сочетании *drochrann* 'плохая доля'; ср. также значение 'судьба', фиксируемое на уровне нормативных словарей и у валлийского *ghan*, букв. 'часть, доля').

С другой стороны, мы можем отметить появление значения 'судьба' также относительно поздно, у лексемы *dán*. Обладающее исходным значением "дар, даяние; профессия, совокупность определенных занятий", это слово изначально не обладало никакими провиденциалистскими коннотациями, однако при переходе к среднеирландскому периоду, особенно в сочетании *i ndán* ("в том, что дано"), в нем может быть "вычитано" значение 'предназначено', несмотря на то, что автор соответствующего выпуска Словаря ирландского языка, К. Марстрандер, отмечал, что такое употребление слова «является поздним, причем значение "судьба" оно получает только в устойчивом сочетании *i ndán*. Само же *dán* значения "судьба" не имеет, несмотря на мнение отдельных лексикографов. Данное значение у лексемы фиксируется, однако, в разговорном шотландском – *Is duilich cuir an aghaidh dhan* "Трудно противостоять судьбе"» [DIL 1913: 76]. Действительно, в словаре М.Мак Леннана слову *dán* даются английские эквиваленты – "what is given, destiny, fate". Однако идея "судьбы" у понятия "дар, даяние", насколько мы понимаем, появляется уже в древнеирландском в сочетании "в д а н н о м", т.е. осмысливается как некая дополнительная, обычно отрицательная, субстанция, привнесенная в поле человека сакральным лицом, выступающим в роли субъекта судьбы. Ср. *go bai ndán domh [...] aided úd* – "Мне была предназначена (предречена?) эта гибель" (букв. "была в даянном мне...", пример из Словаря). В современном ирландском, однако, идея предречения как вербального привнесения чего-л. в поле объекта судьбы уже не ощущается, и подобное словосочетание приобретает значение "будущий", ср. *an baile atá i ndán dom* – "мое будущее жильё" (может быть "намеченное"?).

Говоря о собственно древнеирландском языке, следует отметить, что практически

единственной лексемой, которую можно назвать "базовой", т.е. в словарях древнеирландского языка она имеет эквивалентное английское *destiny/fate* в качестве первого, а не четвертого или пятого значения, является *tocad* (арх. *toceth*). Образованное от нее имя собственное TOGITACC (видимо, 'удачливый') фиксируется в огамической надписи, датируемой первой половиной VI в. [Королев 1984: 80, 191], и в дальнейшем в форме *Toicthesch* функционирует как имя, причем в ряде случаев в более поздний период в латинизированной форме *Fortunatus*. Кроме того, именно она имеет полную бриттскую параллель – *tyngedtyged* (ср. также бриттск. имя TUNCETACE, в форме ж.р.) и, более того, предположительно реконструируется и для галльского. Ср. в надписи на табличке из Шамальера: "... etic secoui toncpaman / toncsifontio" – "... и тех, этих которые проклятие (? предречение) / прокляли (? предрекли)", что в целом позволяет реконструировать некий общий концепт судьбы на пракельтском уровне. Перевод и этимологизация этой основы в галльском является предметом дискуссий (см. [Fleuriot 1977; Koch 1985; Lambert 1997: 156]), причем, насколько мы понимаем, колебания возникают по поводу того, соотносить ее с и.-е. **tenk-* 'связывать, соединять, устанавливать' [Fleuriot 1977], либо – с **tong-* 'касаться' > 'клясться, заклинать' или **tong-* 'думать, полагать' > 'клясться, обещать' [Koch 1985; Lambert 1997], откуда также валл. *tyngu* 'клянусь', см. [Pokorny 1959: 1054, 1088]).

Аналогичная проблема возникает и при анализе устойчивого средневаллийского оборота *dy(n)gaf dy(n)ghet* – "сужу судьбу / заклинаю заклятьем", который самими носителями традиции, скорее всего рассматривался уже как *fugura etymologica*. Детальный фономорфологический анализ бриттских данных приводит С. Шумахера к выводу, что «существительное *tynget* и его др.-ирл. параллель *toceth/tocad* не могут иметь в качестве источника реконструируемый пракельтский глагол "клясться"» [Schumacher 1995: 56], но восходят скорее к общекельтскому причастию **tonk-e-to* при исходной и.-е. основе **tenk-* 'становиться твердым, прочным, верным; соединять, связывать' [Schumacher 1995: 52]. Такой вывод в целом не вызывает возражений (ср. также примечание при *tocad* в Этимологическом словаре древнеирландского языка – "не путать с *tong-* 'клясться'" [LEIA 1978: T-84]), однако на каком-то уровне идеи "расположения", "связывания", "клятвы" и "судьбы" как предназначения, несомненно, предстают как связанные между собой, что на вербальном уровне проявляется во фразеологизмах типа приведенного выше средневаллийского (ср. также галльский пример *toncpaman / toncsifontio*, и лит. *tenki tékti* "удаваться"). Являясь иногда этимологическими "фигурами" типа русск. *судьба судила*, а иногда – лишь паронимическими сближениями, подобные фразеологизмы встречаются довольно часто, ср. описанные в статье Н. Михайлова сочетания – *laimė leme* (литов.) и *sojenice sodilo* (словен.), которые, как верно отмечает автор "свидетельствуют не столько о близости различных традиций или об их общем происхождении, сколько о наличии целого ряда архетипических ритуальных сакральных текстов, содержащих определенные формулы" [Михайлов 2000: 196]. В нашу задачу, однако, входит спецификация значения и употребления *tocad* уже в системе собственно древнеирландских номинаций "судьбы".

Tocad является глагольным именем к глаголу *toicaid*, который употребляется только в пассивных конструкциях и, предположительно, имеет значение 'быть предназначенным'. Ср., например, – "Ni dam rothocad a rád frit" – ol in drui. – «"Не мне предназначено говорить с тобой", – сказал друид». Или – *ma gom toicethi eсс...* – "если предназначена мне смерть..." (примеры из Словаря ирландского языка). Как мы уже отмечали, эта основа этимологически восходит предположительно к и.-е. **tenk-* 'плетти, связывать, соединять', что действительно может привести нас к идее заданности некоего действия в силу его изначальной "связанности" и, тем самым, – неизбежности. Однако обращение к конкретным случаям употребления лексемы показывает, что это не совсем так, что ретроспективно заставляет иначе рассматривать и исходную семантику самого глагола.

Действительно, как видно из контекстов, понятие *tocad* ("судьба, удача") кодирует

не столько идею заданности, предреченности действия, сколько обладания потенциальной возможностью для его совершения. Придерживаясь той же и.-е. этимологии, мы можем сказать, что *tocad* предстает скорее как некий "сплетенный" инструмент, которым обладает или может быть наделен объект судьбы, либо – некие "нити", которые помогают ему достичь желаемого благополучия в поворотные моменты жизни.

В качестве пожелания удачи либо констатации осуществления удачного стечения обстоятельств часто употребляется своего рода клише – *tocad 7 orddan duit* – "Удача (судьба?) и порядок тебе". С другой стороны, предлагая свою кандидатуру в качестве воспитателя Кухулина, поэт Аморген, перечисляя свои достоинства, отмечает, что все "восхваляют его за его *tocad*" – видимо, за его "удачливость", а точнее за обладание некоей субстанцией, которую он сможет передать своему воспитаннику; ср. также – *coitaoi a tossad* – "их удача (судьба?) сможет их защитить" и *ol is tressan tocad Aedan* – "ибо сильнее удача Аэда" (примеры из Словаря). В "Заговоре на долгую жизнь", датированном IX или X в., анонимный автор просит магических "дочерей моря" – *secht tonna tocid dom doradálter* – "пусть семь волн удачи на меня прольются", что предполагает метаморфическое осмысление *tocad* как некой жидкости, которая может распределяться среди людей субъектами судьбы. В среднеирландском в форме *toichthiu* (вторичное глагольное имя) лексема устойчиво обретает значение 'благополучие, здоровье, благосостояние', которое сохраняется и в современных гойдельских языках (*toice*). Однако надо отметить, что в среднеирландский период также фиксируются ее значения, необычайно близкие привычным нам упоминаниям "неизбежной судьбы" и проч. Ср. *Ní fetann tiachtain rí toicti* – "Не ведомо пойти против судьбы" и т.д. Однако приведенный нами пример из Словаря ирландского языка, как и все без исключения аналогичные ему, взяты из поздних переводных латинских текстов или пересказов греческих, что ясно показывает семантическую вторичность этих употреблений. Интересно все же, что для передачи соответствующих греческих и латинских слов составитель текста все же счел возможным использовать ирл. *toichthiu*².

Таким образом, мы можем сделать вывод, что *tocad* скорее обозначает не "предначертанный жизненный путь", не механизм данного предначертания или предопределения и даже не "удачу как событие", а нечто, что необходимо для благополучного движения по жизни, что в принципе тоже может быть как-то метафорически реифицировано, т.е. "овеществлено". В этой связи, естественно, сама собой возникает параллель со знаменитой сцены керостасии в XXII песни "Илиады" – судьба (т.е. кера, а в указанном контексте – необходимая для победы в поединке субстанция) Ахилла и Гектора взвешивается на золотых весах. Отметим, однако, что по данным археологии метафора "взвешивания судьбы", находящая свое воплощение в надгробной пластике, восходит еще к микенскому периоду [Горан 1990: 14] и, следовательно, предшествует Гомеровским развитым представлениям о предопределении и универсальным образам прях и так далее. Не с такой же первичной стадией реифицированной судьбы мы сталкиваемся и в ранних ирландских памятниках?

Предположение о возможной реификации идеи "удачи" как жидкой субстанции позволяет по-новому осмыслить и древнеирландское слово *nú* 'несчастный, обреченный на смерть', на которое обращал в свое время внимание еще Гвинн. Его предположительное возведение к и.-е. основе **ter- s/*tre-s* 'сухой' предполагает и понимание обозначения лица как "иссохшего" не в результате длительной болезни (поскольку упо-

² Осмысление и конкретный анализ языкового влияния, которое оказывает "прививка" Библейской и Евангельской традиции на автохтонную языковую культуру, для славистики является "общим местом". К сожалению, аналогичные работы в кельтологии не выходят за пределы сюжетно-мотивного анализа, с одной стороны, и описания заимствований и калек, с другой, глубоинной семантики, как правило, не затрагивая (ср., например, [De Bernardo Stempel 1990]; там же обширная библиография). Работа со "словами судьбы", в частности, демонстрирует необходимость осмысления материала именно в обозначенном аспекте, в чем мы отчасти видим перспективу наших дальнейших исследований.

треляется обычно в контексте битвы), а вследствие утраты им "жизненной влаги". Но, что интересно, в саге "Битва при Маг Мукрине", например, рассказывается о том, как король Лугайд, квалифицированный своим шутом перед сражением как *lomnútrú*, т.е. "несомненно обреченный на смерть" (букв. "голо-иссохший"), тем не менее меняется с ним же одеждой и тем самым спасает свою жизнь. Этот небольшой эпизод позволяет сделать два вывода. Во-первых, "поле человека" не ограничивается в древнеирландской нарративной традиции его физическим телом и включает в себя также, например, одежду, в которой, в частности, может содержаться потенциальная удача (или неудача). Во-вторых, судьба не осмысляется как собственно "неизбежность", но предстает скорее как некая субстанция, "вещь", которую можно получить или от которой можно при определенных обстоятельствах и избавиться.

Последнее, возможно, относится к пониманию "судьбы" в древнеирландской традиции в целом. Она осмысляется не как "высшая воля", но уподобляется скорее цепи "реификаций", располагаемых по оси "внешнее-внутреннее" по отношению к комплексу, называемому условно "человек и его жизненный путь" (от "встречи" до "субстанции-жидкости"). Граница между полями "внешнего" и "внутреннего" предстает принципиально проницаемой, что особенно ясно видно на примере лексем, условно объединенных нами в концепт "судьба как вещь", включающий в себя представления и о внешнем препятствии, и о "доле", и о "даре", которым может быть наделен человек. Размытость границ между семантическими полями, особенно в диахроническом аспекте, не дает нам возможности составить список "концептов судьбы" в древнеирландском, и мы скорее выделили лишь смысловые "ядра", к которым тяготеют конкретные словоупотребления.

Обращает на себя внимание и еще один момент. Как пишет С.С. Аверинцев, "судьба для человека первобытной эпохи тождественна другим формам детерминации, не отличаясь от естественной каузальности и воли духов" [Аверинцев 1970: 158]. Но для традиции ирландской собственно "духи" предстают не как существа, принципиально находящиеся в Ином мире, а как вполне реальные человеческие особи, лишь иногда (но не всегда) являющиеся воплощением высшей воли. Именно поэтому акт предречения судьбы часто является тождественным акту вербальной креации будущего. И именно здесь коренится, по нашему мнению, наиболее существенное отличие в понимании идеи детерминации поздней, развитой культурой (включая сюда античную и германскую) и культурой архаической, мумифицированной в кельтских преданиях: неназванное не существует, вербализация будущего есть не акция его "узнавания", но может быть уподоблена креативному акту: будущее постоянно создается сакрализованной личностью в особо отмеченные моменты времени. И, таким образом, жизненный путь человека не начертан заранее, хотя и не он сам является в полной мере "хозяйном" собственной судьбы. "Субъекты" судьбы, таким образом, оказываются поразительным образом приближенными к "объектам", а "предопределение" как таковое еще не мыслится как самостоятельная категория.

В свете сказанного, особый интерес представляют гойдельские обозначения самого понятия "будущее". Так, в шотландском это понятие практически так и не сформировалось и для передачи идеи "будущего" используются перифрастические конструкции "время, которое идет", "период перед нами" и проч. В древнеирландском фиксируется лексема *todochaide*, относится редкая, возникшая, предположительно, для передачи соответствующего латинского понятия: ср. первый контекст ее употребления в Вюрцбургских глоссах – *buith dunni issin todochaide .i. vita futura* – "бытие этих людей в будущем, т.е. в будущей жизни". Она гипотетически является пассивным причастием от малоупотребительного глагола **do-doichbí*, который образован при помощи префикса *to-* и одной из основ глагола бытия *-bí* от лексемы *doig/doich* (в среднеирландском – с долгим гласным) с основным значением "предположение, возможность, вероятность". Таким образом, будущее осмысляется как то, что лишь "предположительно возможно". С другой стороны, обозначение грамматического "будущего времени" в современном ирландском – *aimsir fháistineach* – восходит к древнеир-

ландское *fháith* 'пророк, заклинитель' (*vates*), то есть будущее – это то, что должно быть предсказано или, пользуясь нашей терминологией, вербально креализовано.

Означает ли все сказанное, что понятия "неизбежной судьбы" у древних ирландцев вообще не существовало? Мы полагаем, что все же нет, однако лексема, кодирующая это понятие, странным образом в список номинаций "судьбы" не входит. Мы имеем в виду древнеирландское *éicēn* (к и.-е. **Henk^h*-/**Hnek^h*- 'смерть, мор, судьба, принуждение', ср. валл. *angen* 'необходимость', тохар. А *nāk* 'исчезать, погибать', тохар. В *nek* 'погибать', авест. *nasyēiti* 'исчезает, погибает', *nas-* 'нужда, несчастье', *nasu-* 'труп', греч. *νέκυς* 'труп', лат. *nex* 'убийство' [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 822]). К этой же основе восходит и ирландское *éc* 'смерть' (валл. *angau*, корн. *ancow*, брет. *ankou* 'смерть' при *Ankou* – вестник смерти в бретонском фольклоре, совр. ирл. *éag* 'то же', при гэльск. *eug* 'смерть' и *aog* 'призрак, скелет'). Традиционно трактуемое как обозначение "нужды, необходимости" с неперенными отрицательными коннотациями (см. об этом [Николаева 2000]), это слово в ряде контекстов получает семантику неизбежности как таковой. Ср. *Is dó écin*, – *ol Amaigen Glúngel* – "Это неизбежно, – сказал Аморген Белоколенный" (букв. "есть этому неизбежность", из "Книги захватов Ирландии") и *Is sed écin*, – *bar Sencha* – "Это неизбежно, – сказал Сенха" (из саги "Ольяненис уладов"). Если в первом примере речь идет о неизбежности завоевания Ирландии сыновьями Миля, то во втором имеется в виду всего лишь необходимость устроить пир. Однако унаследованное от архаической индоевропейской традиции понятие *écin* как абсолютной неизбежности не могло войти в систему детерминистских представлений древних ирландцев, принципиально не разделяющих собственно профетическую практику от магической. Именно поэтому лексема *écin* не вошла в "поле судьбы" и получила в дальнейшем значение "горе, страдание, нужда, несчастье". Ср. в стихах современного ирландского поэта М. О'Диройна "Наше жалкое время": *Gur thit ogaínn / Crann an éigin* – "Так что выпал нам / горький жребий".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аверинцев С.С. 1970 – Судьба // Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970.
- Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. В.с. 1984 – Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984.
- Горан В.П. 1990 – Древнегреческая мифологема судьбы. Новосибирск, 1990.
- Гуревич А.Я. 1994 – Диалектика судьбы у германцев и древних скандинавов // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994.
- Королев А.А. 1984 – Древнейшие памятники ирландского языка. М., 1984.
- Левкиевская Е.Е. 1999 – Доля // Славянские древности. Словарь. Т. 2. М., 1999.
- Льюис Г., Педерсен Х. 1954 – Краткая сравнительная грамматика кельтских языков. М., 1954.
- Маковский М.М. 1996 – Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. М., 1996.
- Михайлова Н.А. 2000 – К одной балто-южнославянской фольклорно-ритуальной формуле // Славянский и балканский фольклор. М., 2000.
- Михайлова Т.А. 2000 – "Заговор на долгую жизнь" – попытка интерпретации (к образу "дочерей моря") // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2000. № 2.
- Михайлова Т.А., Николаева Н.А. 1998 – Номинация смерти в гойдельских языках: к проблеме реконструкции кельтской эсхатологии // ВЯ. 1998. № 1.
- Николаева Н.А. 2000 – Смерть как судьба в древнеирландском языке: семантика и этимология // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2000. № 2.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 1998 – Толковый словарь русского языка. М., 1998.
- Сахно С.Л. 1994 – Уроки рока: опыт реконструкции "языка судьбы" // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994.
- Толстая С.М. 1995 – Судьба // Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995.

- Топорова Т В* 1994 – Древнегерманские представления о судьбе // Понятие судьбы в контексте разных культур М 1994
- Черных П Я* 1994 – Историко-этимологический словарь современного русского языка Т 2 М, 1994
- Шмелев А Д* 1994 – Метафора судьбы: предопределение или несвобода? // Понятие судьбы в контексте разных культур М, 1994
- Яковлева Е С* 1998 – О понятии культурная память в применении к семантике слова // ВЯ 1998 № 3
- Aided Dharmada* 1992 – *Aided Dharmada meic Fergusa // Silva Gadelica Irish texts / Ed St OGrady Edinburgh 1892*
- AMME* 1980 – *Aided Muirchertaig Meic Erca / Ed L Nic Dhonnchada // Modern and Medieval Irish series V XIX Dublin 1980*
- Boisje I* 1996 – From chaos to enemy encounters with monsters in Early Irish texts Turnout 1996
- BS* 1931 – *Buile Shuibhne / Ed J G O'Keefe // Modern and Medieval Irish series V I Dublin 1931 (1975)*
- CDIL* (no date) – Contributions to a dictionary of the Irish language Dublin (no date)
- Death of King Dermot* 1892 – *Death of King Dermot // Silva Gadelica Translation and notes / Ed St OGrady Edinburgh 1892*
- De Beinaido Stempel P* 1990 – *Calques linguistiques im altern Irischen // Deutsche, Kelten und Iren 150 Jahre deutsche Keltologie G Mac Eoin zum 60 Geburtstag gewidmet Hamburg 1990*
- DIL* 1913 – *Dictionary of the Irish language / Ed K Marstrander Fas 1 Dublin, 1913*
- Dinneen P* 1979 – *Irish – English Dictionary Dublin, 1979 (1927)*
- Einout A Meillet A* 1959 – *Dictionnaire étymologique de la langue latine histoire des mots 4 ed Paris, 1959*
- Fleuriot L* 1977 – *Le vocabulaire de l'inscription gauloise de Chamalières // Etudes celtiques V XV 1977*
- Foid P K* 1975 – *A fragment of Hanes Taliesin // Etudes celtiques V XIV Fas 2 1975*
- FR* 1993 – *Fingal Rónáin and other stories / Ed D Green // Modern and Medieval Irish series V XVI Dublin 1993*
- Giannakis G* 1998 – *The Fate-as-Spinner motif: a Study on the poetic and metaphorical language of Ancient Greek and Indo European // Indogermanische Forschungen Bd 103 1998*
- Gwynn E* 1910 – *On the idea of fate in Irish literature // Journal of the Iverman society V 2 1910*
- Hamel A G Van* 1936 – *The conception of fate in Early Teutonic and Celtic religion // Saga book of the Viking society for Northern research V 10 1936*
- Knott E* 1966 – *Irish syllabic poetry Dublin, 1966*
- Koch J* 1985 – *Movement and emphasis in the Gaulish sentence // The Bulletin of the board of Celtic studies V XXXII 1985*
- Lambert P Y* 1997 – *La langue Gauloise Paris 1997*
- LEIA* 1959 – *Lexique étymologique de l'irlandais ancien A Paris 1959*
- LEIA* 1978 – *Lexique étymologique de l'irlandais ancien T–U Paris 1996*
- LEIA* 1987 – *Lexique étymologique de l'irlandais ancien C Paris, 1987*
- LEIA* 1996 – *Lexique étymologique de l'irlandais ancien D Paris 1996*
- Macleanan M* 1979 – *A pronouncing and etymological dictionary of the Gaelic language Aberdeen 1979 (1925)*
- Murphy G ed* 1977 – *Early Irish Lyrics Oxford, 1977 (1956)*
- Pokorny J* 1959 – *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch B I–II, Bern München, 1959*
- RR* 1956 – *Reim Ríghraide, the roll of the kings // Lebor Gabala Erenn, the book of taking of Ireland / Ed R A S Macalister Pt V Dublin, 1956*
- Schumacher S* 1995 – *Old Irish *tucaid tocad and Middle Welsh tynghaf tynghet re examined // Eriu V XLVI, 1995*
- TE* 1933 – *Tochmarc Emire // Comper Con Culainn and other stories / Ed A G Van Hamel // Modern and Medieval Irish series V III Dublin, 1933*
- TBDD* 1963 – *Togail Bruidne Da Derga / Ed E Knott // Modern and Medieval Irish series V VIII Dublin 1963*
- Thunneisen R* 1949 – *Old Irish Reader Dublin 1949 (1981)*
- Wierzbicka A* 1990 – *Duza (~ soul) toska (~ yearning), sud ba (~ late) three key concepts in Russian language and Russian culture // Metody formalne w opisie jezykow slowianskich Warszawa 1990*

© 2001 г. М ПАЛАДЯН

МЫШЛЕНИЕ И СИНТАКСИС

(Исследование позиции прошедшего партиципа)

Статья посвящается проблеме, которая, в отличие от других в грамматике почти не исследована. Речь пойдет о семантике прошедшего партиципа связанной с его синтаксической позицией. Исходя из методики Г Гийома попробуем доказать, что эта позиция имеет решающее значение в каждом языке и что она отражает то своеобразие которое присуще каждой из наций. Обсуждение данного вопроса призвано также внести важные коррективы в ошибочные истолкования категорий вида и времени.

1 СОБЫТИЕ И ЯЗЫКОВОЕ ВРЕМЯ

Каждый язык имеет свои особенности. Они обнаруживают себя только тогда, когда исследование сосредотачивается не на происхождении, а на последней стадии осуществления всех явлений. Именно по этой причине, в большинстве случаев подходы лингвиста-типолога ограничиваются диахроническим перечислением аналогий и различий без каких-либо разъяснений. Однако как уже отмечал Гумбольдт "Различие языков это не только различие звуков и знаков, а различие мировосприятий (Ihre Verschiedenheit ist nicht eine von Schallen um Zeichen. Sondern eine Weltansicht Selbst)" [Humboldt 1995: 56]. Многие лингвисты интерпретируют язык в основном как знак, между тем, признавая коммуникативную функцию языка необходимо считать язык работой мысли (Werke des Gedankens – Гумбольдт). Конечно речь не идет о поисках некоей универсальной, заранее предопределенной нормы – грамматического универсала – что само по себе явилось бы возвратом к наивному вавилонству (babélisme). Целью является исследование той или иной морфологической или синтаксической структуры в каком-либо языке: объяснение глубинных причин выбора, до прагматических функций, невзирая на то, что эти последние даны изначально.

У отклонений и различий есть свои предпосылки (источки). Они не возникают просто так в связи с историческими явлениями (социологическая мотивировка). Эти различия обуславливаются мыслительными возможностями и относятся к Я з ы к у. Образы зафиксированные конвенцией – пишет Р В Лангакер, – воплощенные (одновременно лексически и грамматически) в единицы языка, являются решающими для этих единиц [Langacker 1991: 107].

Необходимо отметить что наш метод не предполагает, как можно было бы подумать, толкования мысли как таковой. Его цель – анализировать те пути которыми выражается мысль.

Попробуем рассмотреть прошедший партицип именно с этой точки зрения. Каждой его позиции (но не месту¹) в мышлении соответствует конкретное значение. Особый интерес тут представляет партицип в немецком языке, который неизменно помещается в конце предложения, после дополнений и обстоятельство.

На первый взгляд это является нарушением общепринятой в европейских языках структуры: в частности, в английском и во французском языках партицип ставится сразу после вспомогательного глагола¹.

¹ В некоторых случаях в английском языке также вспомогательный глагол отделен от партиципа что и приближает его к немецкому: 1) *I have my car parked outside* 2) *She had her driving licence taken away*.

Если говорить об армянском языке (которому отводится особое место в нашем исследовании), имеющем три формы прошедшего совершенного (Perfektum):

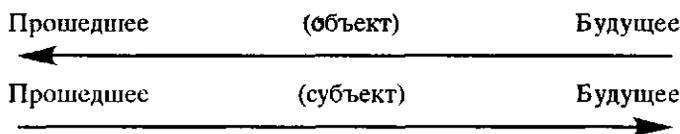
1. *Kartaci* ("Я прочитал") – действие завершается в настоящем;
2. *Kartacel em* ("Я прочитал") – о прошедшем действии говорится в настоящем;
3. *Kartacac em* ("Я читавший") – у партиципа атрибутивная функция,

то в нем уделяется особое внимание разным позициям партиципа на пути пространства/время. Следует отметить, что в первом случае (в восточноармянском) проблема нейтрализуется, поскольку форма *kartaci* имеет ту же морфологию, что и оторванное от настоящего прошедшее совершенное (в немецком – Preterit). Какое именно прошедшее имеется в виду, определяется контекстом.

Все эти явления, как увидим далее, связаны с разными представлениями о л и н и и в р е м е н и. И в каждом отдельном случае они отражают аналитическое восприятие времени, мизансцену времени и пространства (соответственно, действующих лиц и обстоятельств).

И лингвисты, и философы неоднократно утверждали, что время не может само представлять себя, что его можно воспринять лишь благодаря возможностям пространства. Это бинарное представление времени. С одной стороны – объективное время, которое, начинаясь в будущем, уходит и исчезает² в прошлом (согласно Гийому, "опускающееся время"), оно определяется событием. С другой стороны – субъективное время, которое начинается с человека, открывает перед ним перспективу, благодаря которой становится возможной организация человеческой деятельности ("поднимающееся время", по Гийому). Оно определяется моментом речи³. Из этого вытекает то обстоятельство, что мы воспринимаем события снаружи. Будь то настоящее или прошедшее несовершенное, оба они суть симуляции. С событием совпадает лишь перформативное настоящее.

Итак, субъективное время есть перевернутое представление объективного времени. Если сравнить это явление с фотографией, то можно сказать, что мы имеем дело с позитивным изображением по отношению к негативному. Под негативным изображением мы подразумеваем не само объективное время, а его изначальное топологическое изображение; говоря философским языком – "кантовскую схему". Две эти линии будут выглядеть следующим образом:



² Исчезает ли поток времени на самом деле? Вот еще одна тема для философского обсуждения. Известно, что некоторые цивилизации обладают макроскопическими концепциями циклического времени: "(...) such that the events that are happening at the present moment are reflections of events that occurred in a previous cycle, and will in turn be reflected by the events in each subsequent cycle" [Comrie 1985: 4–5]. Это уже не так далеко от ницшеанского "вечного возвращения". Дело в том, что вопреки языковому времени (моменту речи) объективное время не имеет точки отсчета. В сравнении с чем передать событие? Если считать *время* и *пространство* законченными явлениями, то само собой разумеется, мы должны принять также возможность циклического времени.

³ Один из трех пунктов момента речи – "сейчас" – также нужно считать относительным. Так в некоторых языках понятие *утро*, например, не начинается с рассвета, – прошедшая ночь также относится к *сегодня*: "Where a tense opposition exists correlating with the change of days, it seems that is simply taken to correspond with the individual's or the culture's conception of the dividing line between the day, and there seems to be evidence for saying more on this topic with regard to the linguistic reflection of this cut – off point" [Comrie 1985: 89].

Для того, чтобы проиллюстрировать эти две траектории (объективное и субъективное время) приведем два примера, которые мы заимствовали у Л. Госселена [Gosselin 1996]:

(1) *Конец века приближается* (объективное время).

(2) *Мы приближаемся к концу века* (субъективное время).

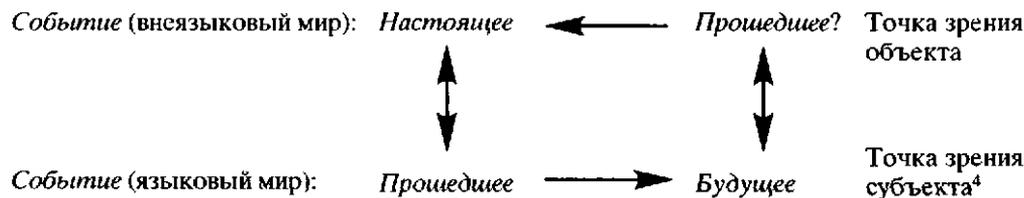
Здесь необходимо отметить, что представление объективного времени сманктико-знаковое, поскольку линейность языка заставляет нас перевернуть события. Впечатление объективного времени создает позиция подлежащего. Эти две траектории идут в противоположном друг другу направлении. Когда, к примеру, мы говорим: *Вильгельм приблизил день своего свидания* – мы даем оба направления времени одновременно. Одно – предположительное (на линии объективного времени, "Вильгельм приближается к прошлому" – к реальному месту встречи), другое – указанное (на линии субъективного времени "Вильгельм подходит к будущему").

Бинарность времени отражается в языке. Писать (говорить) означает мысленно линейно выстраивать перед собой внеязыковое событие, с которым мы всегда во временном несоответствии – слово всегда запаздывает. Мы реорганизуем прошлое: "Обозначающее, – писал Ф. де Соссюр, – которое является слуховым явлением, возникает во времени: а) оно представляет пространство; б) это пространство можно изменить лишь в одном направлении – по линии" [Saussure 1995: 103].

Речь, как таковая, есть некое мыслительное действие, которое можно представить в виде кинетической линии. Оно завершается предложением. В представлении говорящего лица это поднимающаяся, кинетическая линия. Говорить (писать) – то же, что и, исходя из одной точки отсчета (то есть момента речи), возвращаться к событию, к началу, переворачивая направление движения объективного времени. Однако вернуться еще раз к внеязыковому событию.

Чувство времени возникает в связи с какими-либо происшествиями, изменениями состояний. И это возможно в связи с тем, что мы чувствительны ко времени – неоспоримый постулат. Но мы видим только настоящее события, настоящее, которое мы делим на фазы. Если взять в качестве аналогии театр, то можно сказать, что нам дано видеть лишь то, что происходит на сцене. Однако для нас смотрящих событие имеет свое прошлое. Что же собой представляет это *до* события? Благодаря происшествию, мы различаем *до* и *после* события. Но это *до* может одновременно быть *после* другого события. В любом случае, это *до* должно быть для нас прошлым событием. Нам трудно игнорировать понятие начала, как и в теории "Big Bang" в астрофизике. Парадокс заключается в том, что прошлое событие соответствует будущему субъективного времени. Мы переживаем в будущем то, что принадлежит прошлому. Что было до события, нам предстоит узнать. (Вспомним фильм Антониони "L'Avventura".)

Таким образом, переход к субъективному времени сам по себе приводит к изменению точки зрения.



⁴ Именно это странное соотношение отражает язык *Wiri*, к которому обращается Б. Комри. В этом языке употребляется одна и та же морфема, как для только что прошедшего, так и для будущего времени: 1) *Nkoti* ("Я увидел его утром"); 2) *Toi nkoti* ("Я его увижу").

Напомним, кстати, этимологию слова *настоящее* (Present). Оно происходит от латинского *praesens*, что означало: "быть впереди, на сцене".

Момент речи, с которого начинается организация поднимающегося времени, сам по себе также является происшествием, которое имеет свое собственное прошлое. Момент речи, или время *De dicto*, как его называет Земб [Zemb 1984: 59], не возникает из ничего. Он также предполагает оперативную длительность: фиксирует языковое событие, умалчивая о своем прошлом. Имеет ли это прошлое какую-либо связь с прошлым внеязыкового события, сказать трудно. Как бы то ни было, сама речь есть также событие.

Рождение слова (речи) автоматически создает перспективу времени, воспоминание, то есть, с одной стороны, прошлое, с другой – будущее. Языковое время существует благодаря моменту речи, однако время, как уже отмечалось, имеет аналитическую сущность, и оно, еще до того, как войти в речь, уже в мышлении. "Можно подумать, – писал Бенвенист, – что время создается в рамках мышления. Однако оно, в действительности, создается речью" [Benveniste 1974: 83–84]. Это безусловно верно, но ведь речь есть уже результат. Прибегнем к достаточно неожиданной аналогии: телевидение существует не благодаря изображению на экране, а благодаря улавливающей волне и находящейся за аппаратом трубке. Значит, нужно признать, что время все-таки возникает сначала в рамках мышления. Впрочем, если учесть тот факт, что момент речи одновременно есть то пространство, где находится *Я* говорящего, то нужно признать, что вероятность *Я* говорящего виртуально также уже существует в мышлении. Возможно, Декарт был прав...

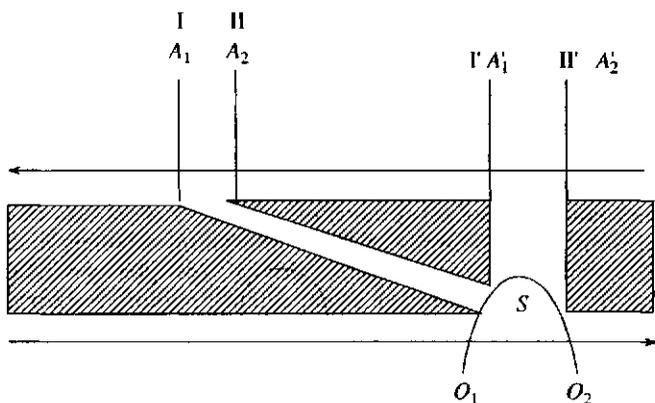
Рассмотрим теперь проблемы, связанные с так называемой "линией времени".

Как указывал Г. Гийом [Guillaume 1987: 48, 133], перемещение точек зрения – один из постулатов повествования. Рассказывать о чем-то с самого начала, включая самые первые мгновения события, означает повествовать в прошедшем времени: логическое начало события в прошлом. Как отмечает М. Тэрнер [Turner 1996], каждое предложение есть повествование и предполагает оперативное время. Проблема партиципа связана именно с этим явлением. Поскольку партицип приставлен к вспомогательному глаголу, который дан в настоящем времени, он теряет, в какой-то степени, свой статус начала и попадает в зависимость от момента речи. Но прежде рассмотрим, как формально организовано прошедшее совершенное (Perfektum).

2. ПОЗИЦИИ ПАРТИЦИПА

Видовременные представления, вообще, реализуются в интервалах трех типов (по линии субъективного времени). Каждый интервал, как показывают современные исследования, имеет свои границы, каждая из которых обладает познавательным (cognitive) значением:

- A_1/A_2 – Границы процесса слева и справа, открытие и закрытие. Эти границы могут принадлежать процессу или могут быть отмечены с помощью обстоятельств (внутренние и внешние границы), например *он прочитал и он читал два часа*.
- O_1/O_2 – Длительность момента речи. Своей познавательной значимостью этот интервал определяет точку отсчета. Его нужно учитывать даже тогда, когда он не фигурирует в предложении.
- I/P – Все то, что говорящее лицо выделяет из всего процесса, подобно композиционному кадру в живописи. Внимание сосредотачивается на той или иной части процесса. Говоря словами Л. Госселена, это – *временное окно*. Оно может совпадать или не совпадать с границами процесса.



Прошедшее современное (Perfektum, Passé composé, Present perfect) совмещает две разные языковые формы: вспомогательный глагол и партицип. И каждый из них имеет свои границы (см. схему).

Вильгельм съел яблоко:

A_1/A_2 : процесс, выраженный партиципом

A'_1/A'_2 : процесс, выраженный вспомогательным глаголом

I/II: "окно" партиципа

I'/II': "окно" вспомогательного глагола

O_1/O_2 : временной промежуток момента речи.

Можно сказать, что прошедший партицип (кроме пассивного спряжения) передает весь процесс в целом, как аорист. Нам известны начало и конец, к чему прибавляется сведение, определяющее время (в прошлом). Что касается *окна*, то оно открывается и на прошлое и на настоящее (результат действия в настоящем).

Perfektum в немецком языке стремится сохранить логику объективного времени, хотя его структура линейна, как и во всех других языках. Немецкий дает сначала вспомогательный глагол, который логически совпадает с выраженной в партиципе замыкающей границей, или точнее, здесь встречаются замыкающая граница процесса партиципа и открывающая – процесса вспомогательного глагола.

Такая синтагма начинается настоящим – моментом речи; говорящее лицо постепенно раскрывает так называемый *ковёр времени*, направляясь к событию (второй рельефный момент). Немецкий язык завершает предложение логическим началом, подчеркивая первичную функцию вида. Немецкий партицип наполовину уже подвержен лексикализации (глагол здесь не имеет своего временного динамизма, это уже не вполне глагольная форма):

(3) *Karl hat 20 Stunden gearbeitet.*

Тот факт, что партицип в немецком может употребляться также для выражения будущего, показывает, что мы имеем дело с лексикализированной формой глагола. Ведь будущее время в немецком не имеет специфической морфемы.

(4) *Morgen bin ich schon abgefahren.*

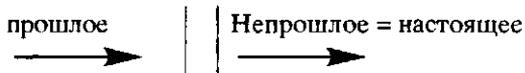
В германских языках линия времени – подвижная и разделительная. Германские языки отказываются показать то, что невозможно, – время, которого уже не существует. Настоящее для них – последняя точка прошлого, объективное время с обратной стороны. Утратив динамизм, время превращается в пространство.

Прошедшее совершенное (Perfektum) в романских языках характеризуется тем, что оно стремится сохранить целостность процесса и момента речи, тогда как германские языки соглашаются с разделением настоящего и прошедшего. Прошедшее событие присваивается подлежащему в качестве атрибута.

Перемещение партиципа в конец предложения создает путаницу в синтаксических позициях. Употребление немецкого партиципа после дополнений и обстоятельств атоматически как бы придает ему статус дополнения. По этой причине Ф. Шанен [Schanen 1981] приходит к выводу о том, что Perfektum – это результат какого-то процесса, который в какой-то момент присваивается подлежащему⁵. Однако, прежде чем обратиться к этой новой проблематике, задержимся еще немного на особенностях различных восприятий линии времени.

Анализируя настоящее время в германских языках, Гийом уже отмечал, что оно результат обрыва, точка разделения, которая, "еще до проявления наклонений разделяет время на два этапа: с одной стороны, прошлое, которое проходишь в обратном направлении, а с другой – настоящее как прекращение прошлого (когда кончается то, что было прошлым)" [Guillaume 1985: 63].

Немецкий язык отказывается соединять прошедший партицип, который является мертвой формой временного напряжения (потеря события как такового), с настоящим, которое логически является будущим события.



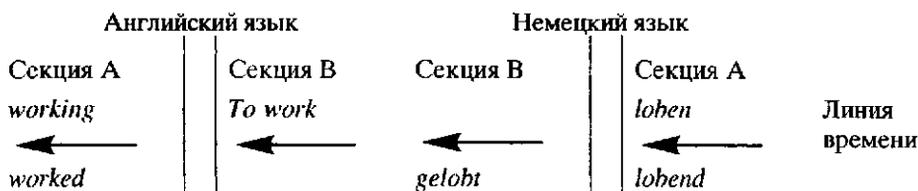
Д. Бикертон [Bickerton 1982] справедливо отмечает, что уже испытанное (предшествующее) время выражается вообще в том, что лексикализация преобладает над грамматическим временем. Согласно Бикертону, эволюция детской речи показывает, что ребенок сначала фиксирует ± пунктуальные, ± действительные отношения. Только после этого он переходит к предшествующим и последующим отношениям. Одним словом, можно сказать, что *вид* приходит до *времени*. Различные черты события в человеческом мышлении не имеют одинаковой степени важности и одинакового познавательного результата. Познавательная психология (*psychologie cognitive*) выделяет наиболее важное из них и дает им название – *рельеф*, а иногда – *выпуклость*, что происходит от английского *salience*. Эти черты способствуют фиксации идущей от мира информации, процессу восприятия. Это – фигуральные черты. Цвет, форма, позиция и вообще, все то, что относится к пространству, входит в эту категорию. По причине того, что прошедший партицип имеет на линии времени замкнутое пространство, он, по-видимому, входит в эту категорию. Черты события фиксируются сначала в *виде*. Такой язык, как русский, например, особо чувствителен к этому явлению. *Вид* в качестве фигуральной черты быстрее входит в поле перцепции, нежели временное предшествование. *Вид* ближе к *пространству*, чем ко *времени*⁶. Когда мы говорим: *Он разбил стакан* в поле наших чувств входит сначала сломанность стакана, определение времени приходит потом. Мы фиксируем наше внимание на рельефе⁷.

Тут возникает новый вопрос, почему английский язык строит свой Present perfect как французский. Согласно Гийому [Guillaume 1985: 63], это результат разделения совершенного (секция А) и несовершенного (секция В) видов. Но все равно, линия времени в английском разделительная.

⁵ Не случайно он в немецком отвечает на вопрос *что?*

⁶ Мы имеем дело именно с этим явлением, когда по-русски говорят: "Ну, я пошел!", в то время, когда говорящий еще стоит. Он видит себя уже ушедшим, и прошедшее совершенное здесь в основном вид, в семантизме глагола отсутствует черта движение/время. *Я пошел* можно перевести как "Я ушедший".

⁷ Лингвистам знаком бирманский язык (Burmese), в котором нет временных различий, он отмечает лишь действительные или недействительные семы. Временная референция второстепенна. Время – не грамматическая категория. Конечно, было бы ошибочно предложить, что этот язык не знаком с временными различиями, время тут связано с контекстом, не подвергнуто фокализации.



Вне зависимости от этих замечаний, внеязыковая логика требует, чтобы, как и в случаях повествования, говорящее лицо отметило сначала прошлое (начало). Именно этим и определяется французская синтагма. Она дает предпочтение датированию. Француз воспринимает *Passé composé* сначала как *время*. Во французском мы имеем дело с грамматическим подходом.

(5) *Karl a travaillé 20 heures.*

Германские языки отказываются от совмещения точек зрения прошедшего и настоящего, дают преимущество или первому, или второму. Разделение таково (как например, в английском), что достаточно минутного перемещения во времени и другой точки зрения, чтобы предложение перешло к прошедшему современному, оторванному от настоящего прошлому:

(6) *She has just gone out (for a few minutes)*

(7) *She just went out a few minutes ago.*

В этих двух предложениях то же событие представлено по-разному. В предложении (6) – событие произошло только что, и вспомогательный глагол *has* "держит" подлежащее в пространстве момента речи. В предложении (7), несмотря на близость события, временная информация, которая дана в синтагме наречия (*a few minutes ago*), не допускает формы *Present perfect*. Когда точка зрения вне момента речи (фокализация на событии), английский переходит к оторванному от настоящего прошедшему совершенному (*Past simple*; ср. фр. *passé simple*).

Той же логике подчиняется настоящее время в английском. По-французски можно сказать: *Jean travaille ici depuis 2 ans.* "Жан работает здесь уже два года". Но это невозможно в английском: **John works here for two years; *John is working here for two years.*

Настоящее время в английском не в состоянии вобрать в себя хотя бы частичку прошлого. Оно только настоящее⁸. Вышеупомянутое предложение допустимо, если ему дать значение будущего времени (*two years* в будущем времени). Настоящее время в английском не принимает ретроспекции, оно только перспективно. Настоящее время в английском и немецком языках, как отмечалось, есть точка деления между прошлым и последующим промежутком времени. Разделение таково, что достаточно, чтобы одна из ситуаций воспринималась как прошлое, чтобы все предложение перешло в *Past simple*:

(8) *C'est la première fois que je mange du caviar.*

(9) *This is the first time I ever ate caviar.*

(10) *This is the first time I have ever eaten caviar.*

"Примечательно, – пишет Гийом о французском *Passé composé*, -- что этот двучастный глагол спрягается как простое глагольное время. Формы спряжения реализуются с помощью вспомогательного глагола. Интересно, также то, что как бы *Passé composé* не был составным, он имеет ту же цельность, что и простое глагольное время.

Используя психомеханический анализ, мы убедимся в том, что вспомогательный глагол – это результат перерыва и процесса идеогенеза, и процесса морфогенеза. (...)

⁸ Настоящее в английском относится к совершенному виду (*Aorist*). Процесс дан в целостности. Для того, чтобы дать действие в развитии, необходимо использовать морфему *-ing*.

Вспомогательный глагол – не завершённый. Полнота смысла приобретает за счет употребления другого слова – *participe*" [Guillaume 1988: 55].

Французская синтагма даёт смысловое дополнение сразу⁹, в то время, как в немецкой, которая более аналитична, оно появляется поступательно, по частям. Здесь встречаются синтаксис и семантика. Отметим сначала одно постоянное и значимое явление – позицию актанта, строящего предложение. Подлежащее, вообще, употребляется со вспомогательным глаголом и находится вне события (партиципа). Партицип, как мы отмечали, не имеет напряжения, динамизма простого глагольного времени, и именно поэтому не предполагает лица. Проблематика глагола (времени) как утверждает Гийом, связана с действующим лицом, и здесь уместно перейти к партиципу в армянском языке.

Партицип в армянском (во втором прошедшем современном) образуется посредством темы прошедшего совершенного – *-c* (3-е лицо) (*kartac*), к которому прибавляется инфинитивное окончание *-el* (*kartacel*). Это сложный грамматический процесс. После формирования совершенного вида (*-c*), партицип возвращается к инфинитиву (*-el*), который и прерывает образование лица и особенно времени.

Что касается аналогичного окончания в западноармянском варианте *-er*, то Г. Ачарян [Adjarian 1957: 215] считает, что это коррекция восточноармянского варианта *-el* во избежание путаницы между инфинитивом и партиципом. Но мы хотели бы сосредоточить внимание на другом явлении. Инфинитивы с окончанием *-al* (*kartal*), которые представляют процесс типа "atélique" (то есть без окончательной фазы), переходя в партицип с окончанием *-el* переходят к "télique" (то есть процессу с окончательной фазой). Партицип с окончанием *-el* выступает только в роли глагола. Переход в другую категорию недопустим. В то время, как это возможно с партиципом на *-ac* (3-е прошедшее совершенное). Современный восточноармянский форму *Harakatar nerka* ограничивает семантизмом прилагательного (Perfektum со значением прилагательного). Тогда как западноармянский сохраняет глагольный семантизм: *Hognac em* "я устал" (западноармянский) и *Hognel em* (восточноармянский)¹⁰.

А. Донабедян неверно интерпретирует этот второй партицип (*-ac*). Она считает, что партицип на *-ac* получает значение опыта, потому что процесс его инфинитива (который не переходит к другому актанту) изначально нерезультативен: "Результативность формы *harakatar nerka* в глаголах этого типа может иметь только значение опыта: *Annan kə gitnau. Amerika gasac e* (Анна знает, она ездила в Америку)" [Donabedian 1998: 25].

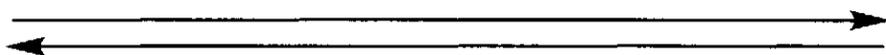
Прошедший партицип *gasac* происходит от указывающего результат глагола типа "télique" – *gnal*. Если он свидетельствует об опыте (тип "atélique"), то это благодаря суффиксу *-ac*. В таких конструкциях партицип на *-ac* просто указывает невозможность глагола покинуть полное подлежащего (начало непереходности). Тип глагола тут не принципиален (*kotorel* – "разрезать" даёт партицип *kotorac*). Проблема в другом: по сравнению с формой *varakar nerka* (*kartacel*) *harakatar nerka* (*kartacac*) представляет собой форму, которая по своему значению на временной оси как бы до партиципа (как глагольной формы), то есть перемещение к атрибутивной позиции или переход в сторону пространства. Одним словом, переход уже в другую категорию (прилагательного). Отсюда и статичность *harakatar nerka*.

⁹ Этим явлением объясняется употребление полной формы вспомогательного глагола в английском, когда он употребляется при ответе. Поскольку смысловое дополнение (*particip*) отсутствует, вспомогательный глагол реализует одновременно две функции: "Have you seen her? – Yes, I have".

Когда глаголы *do*, *be* и *have* имеют свое изначальное полное значение, они более не сокращаются: *She has a car*/**She's a car*.

¹⁰ *Es asxatac em* (западноармянский) – "я работал"; *Ir hayrə tesac es?* (западноармянский) – "Ты видел его отца?"; *Nra horə tesel es?* (восточноармянский) – "Ты видел его отца?"

СУЩЕСТВ./ГЛАГОЛ	ПРИЛАГ./ГЛАГОЛ	ГЛАГОЛ
ПРОСТРАНСТВО/время	Пространство/ВРЕМЯ	ВРЕМЯ/Пространство
<i>Kartal</i>	<i>Kartacas</i>	<i>Kartacel</i>
(Инфинитив)	(Partizip I)	(Partizip II)



Перемещаясь в сторону пространства, то есть лишаясь черт времени, Partizip I получает возможность участвовать в других глагольных временах: *Hognac em* ("я устал"), *Hognac ei* ("я был уставшим"), *Hognac klinem* ("я буду уставшим"). Интересно, что это последнее время не принимает *varakatar* (Partizip II). Это можно объяснить тем, что Partizip II теряет свою сему "действие/время" лишь наполовину, он еще во временном напряжении (Tensiv), что и объясняет его конкуренцию со семантизмом будущего времени. Поскольку тема инфинитива *-el* отмечает виртуальность (то есть возможность времени, лица, модальности), *varakatar* не может употребляться в будущем времени. Партицип с окончанием *-ac*, как сказал бы Гийом, растратил свою временную и динамическую способность, может употребляться в будущем времени.

Отметим здесь, что окончательно переходя ко времени, глагол в армянском языке реализует также лицо, тогда как в случаях *varakatar* и *harakatar nerka*, лицо выражено в вспомогательном глаголе:

Kartacel em – лицо дано во вспомогательном глаголе;

Kartaci – лицо дано в самой глагольной форме.

Это явление еще раз подтверждает правоту теории Гийома, согласно которой семантизм глагола изначально связан с категорией лица. Каким образом с исчезновением глагола исчезает и лицо, можно наблюдать на следующих примерах:

(11) *Враг разрушил город* – время + лицо.

(12) *Город разрушен врагом* – начало превращения в прилагательное (adjectivation), потеря динамизма.

(13) *Разрушение города* – потеря времени и лица.

Само движение/действие в армянском реализуется только в прошедшем совершенном I. Это та же форма, что и оторванное от настоящего прошедшее совершенное (Preterit).



Поскольку форма *hogneci* еще держит свой временной динамизм (действие продолжается до настоящего), она не столь замыкающая, как форма *hognel em*, которая к моменту речи уже потеряла свою оперативность (Perfektiv). Форма *hogneci* имеет поднимающийся кинетизм, тогда как форма *hognel em* содержит наполовину поднимающийся, наполовину спускающийся кинетизм. А форма *hognac em* полностью спускающийся кинетизм (реализованное время). По сравнению с *hognel em* (наполовину динамический) *hognac em* выражает полную статичность, и именно поэтому подвергается лексикализации. Отсюда и семантические нюансы, которые, в большинстве случаев, при переводе ускользают от внимания. Сравним:

(14) *Šat kayleci, hogneci*. "Я много прошагал, устал".

(Наречие + passé composé + passé composé)

(15) *Šat kayleci, hognel em*. "Я много прошагал, устал".

(Наречие + *passé composé I* + *passé composé II*)

(16) **Sat kayleci, hognac em*. Предложение не допустимо с *passé composé III* и непереводимо.

В (14) событие завершается в момент речи. Это прошедшее совершенное I характеризуется тем, что действующее лицо, действие которого считается завершенным, может, как отмечает Ж. Муанье [Moignet 1980: 112] "быть в состоянии снова начать его". Точка зрения здесь настоящего времени, а это означает, что это субъективное суждение. В (15) событие *hognel* упоминается как результат¹¹, и в связи с этим оно получает большую объективность, оторвано от момента речи. Выходит, что результат предполагает остановку оперативности. Можно считать, что в (14) действующее лицо еще будет в состоянии продолжать шагать, но не в (15), где его уже невозможно об этом попросить. Для того, чтобы французский (немецкий, русский) перевод был более точным, мы вынуждены прибавить к предложению несколько слов.

(17) *Я много прошагал, устал (hogneci)*.

(18) *Я много прошагал, валюсь с ног (hognel em). J'ai trop marché, je suis crevé.*

*Предложение с партиципом *hognac* недопустимо.

По причине уже начавшейся лексикализации, форма *hognac* указывает на постоянный атрибут, то есть оказывается впереди *kayleci*. Синтагма *šat kayleci* будет восприниматься как следствие *hognac em* и превратит высказывание в абсурд.

В английском языке смещение партиципа к категории прилагательного выражается в том, что партицип ставится впереди существительного:

(19) *The door is locked – the locked door.*

(20) *The glass was broken – the broken glass.*

Однако английский может пойти еще дальше, стирая полностью семантизм глагола, превращая грамматическую форму в лексическую:

(21) *The door is opened at 7. It is open now.*

А. Жоли и Д. О'Келли [Joly, Kelly 1990: 162] отмечают, что противопоставление этих двух форм "дает в большинстве случаев интересные семантические нюансы: *a cleaned room* не всегда означает, что комната чистая (*a clean room*): *почищенная комната* (*that has been cleaned*) может и не быть чистой (*clean*)". Выходит, что форма *clean* предшествует форме *cleaned* (сема действие/время).

Перемещение в сторону *do* глагола (к прилагательному) существует также в немецком и французском. При этом перемещении партицип в немецком (и во французском) теряет вспомогательный глагол и превращается в прилагательное.

(22) *Die am 10 april ausgezogenen Mieter*. "Квартиранты ушедшие 10-го апреля".

Перемещение в сторону *do* глагола непосредственно воздействует на *д* и *а* т *е* з *и* с (размещение действующих лиц). Результат – сокращение актантов, поскольку объект заменен субъектом, который берет на себя роли *а* г *е* н *с* а и *п* а *ц* и *е* н *с* а. Здесь нет, как считает Донабедян [Donabedian 1998] аннулирования пациенса. Из-за того, что не проводится четкой грани между *с* у б ъ е к т о м и о б ъ е к т о м, с одной стороны и *а* г *е* н *с* о м и *п* а *ц* и *е* н *с* о м – с другой, анализ запутывается. Действующее лицо (*а* г *е* н *с*) и *п* а *ц* и *е* н *с* – внеязыковые роли. *С* у б ъ е к т и *о* б ъ е к т – внутриязыковые представления. Шевалье [Chevalier 1978] предлагает термин "место" (*site*), для обозначения конституирующего событие лица. В форме *tesel em* ("я видевший") субъект выступает одновременно и как причина и как реализация "места". Субъект представляется как место операции "видеть", которой он одновременно управляет. То есть

¹¹ "the perfect (...), – пишет О. Есперсен, – is itself a kind of present tense, and serves to connect the present time with the past. This is done in two ways: first the perfect is a retrospective present, which looks upon the present state as a result of what has happened in the past; and second the perfect is an inclusive present, which speaks of a state is continued from the past into the present" [Jespersen, v. IV: 47]. Выходит, что в армянском, кроме этих двух функций существует еще одна функция.

субъект с одной стороны отмечает, что он видел, с другой стороны, видит себя видевшим. Субъект – агенс одновременно и в процессе и вне его. Форма *hognac em* продвигает анализ еще дальше. Здесь субъект еще больше вне процесса, поскольку форма *hognel em* еще сохраняет глагольное напряжение. Именно по этой причине форма *hognac* легко переходит в прилагательное и употребляется с существительным, которое уже не связано с территорией "Я" (Я + Ты).

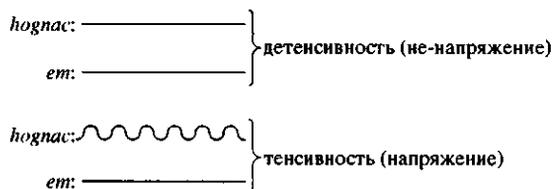
Итак, относительно диатезиса, можно сказать, что лицо в форме *hognac em* является элементом, обуславливающим возникновение "места" (site), а в форме *hognel em*, оно еще и оперативно. По сравнению с глагольными системами немецкого, французского и английского языков, которые не передают этих нюансов (отсутствует соответствующая морфологическая форма), армянская глагольная система удивляет своей сложностью:

+	оперативность	–
<i>hognel</i>		<i>hognac</i>

Вспомогательный глагол *em*, в армянском, предполагает вспомогательный глагол "иметь" (*avoir*). Это его внесобытийная часть. Если армянский выбрал вспомогательный глагол "быть" (*linei*), то это для того, чтобы сохранить атрибутивное значение партиципа. Другие языки выбрали глагол "иметь", вероятно, в связи с *видом*.

Как уже отмечалось, категориальное перемещение партиципа на *-ac* к существительному – частое явление: *Hodvac* (статья), *Xorovac* (шашлык), *Harvac* (удар) и т.д. Переход в существительное происходит естественным образом¹². Потребность во внешнем семантическом дополнении зафиксирована в семантике прилагательного и глагола. Глагол может освободиться от этой потребности, переходя от времени в пространство. А прилагательному достаточно перейти во *время* для превращения в глагол. Сам глагол в настоящем и в прошедшем несовершенном временах включает в себе частицу пространства. Настоящее время в восточноармянском, например, сочетает пространство и время. В синтагме *grum em* ("я пишу") форма *grum* предложный падеж инфинитива *grel* (писать), а падеж, как известно, свойство существительного. Пограничное соседство глагол/прилагательное – распространенное языковое явление. На арабском, например, можно строить настоящее время с помощью активного партиципа *أنا نازل* ("я спускающаяся") – эта форма является партиципом глагола *نزل* ("спускаться").

Перемещения по линии времени приводят к семантическим вариациям. Для М. Абегиана [Abeghian 1965: 560] разница между формами *hognac em* и *hognel em* содержится в восприятии процесса. Первая (*hognac em*) – со-длительна настоящему времени, параллельна ему. Вторая (*hognel em*) упоминает результат в настоящем. К этому определению Абегиана мы можем прибавить, что перемещение в сторону пространства предполагает угасание временного напряжения. Если в *harakatag* угасание полное, то в *varakatag* оно – частичное.



¹² В английском, например, если предикат может подвергаться номинализации, то потому, что предикат в данном случае полностью статичен: *The book sells well – This book is a best seller.*

Отметим здесь одно интересное явление. Согласно Абегиану, партицип на *-ac* может употребляться со вспомогательным глаголом *inenal* (*Na erexan grkac uni* – "он держит ребенка на руках"). Согласно предложенной нами теории, это частичный переход к тенсивному глаголу, то есть ко времени, и *harakatar* можно поменять на *varakatar*: *Na erexan grkel e* – форма партиципа на *-ac* с временным значением употребляется в константинопольском диалекте: *Asank han tesac unis?* ("Ты видел что-нибудь подобное?")

И все-таки, в восточноармянском нет вспомогательного глагола *inenal*, и несмотря на отмеченные нами нюансы, партицип остается в рамках атрибута, то есть отмечает в основном предикативность. Как уже заметил Бенвенист, вспомогательный глагол "быть" – интегрирующий и составляет единое целое с партиципом (подлежащее интегрировано, пассивно). Тогда как глагол "иметь" – разделяющий, он придает подлежащему активную внешнюю позицию¹³. Ситуация в армянском намного сложнее. Необходимо различать вспомогательный глагол *linel* в *harakatar* от того же глагола в *varakatar*. Если в первом случае вспомогательный глагол реализует полный атрибут (полную предикацию), что приводит к сокращению актанта, то во втором, со вспомогательным глаголом начинается атрибутивное движение, которое не завершается, поэтому структура сохраняет объект (дополнение)¹⁴. В первом – выраженная вспомогательным глаголом бытность полная, во втором – частичная. Поскольку *harakatar nerka* находится в тесной связи со статичным процессом, он направлен не к пациенту (объекту) (как считает А. Донабедян), а к агенту, который одновременно является пациентом¹⁵. *Varakatar nerka* имеет дополнительные диатезисные возможности, которых нет у *harakatar nerka*. *Varakatar nerka* можно поместить между *harakatar nerka* и прошедшим совершенным.

Субъект		Объект
∅	<i>kartacac em</i>	∅
∅	<i>kartacel em</i>	Возможный
Обязательный	<i>kartaci</i>	Обязательный

Как видно из схемы, прошедший совершенный требует кроме глагольного лица (окончание *-i*) еще и личного местоимения. Если можно сказать

(23) *Mesropin erek tesel em*. "Вчера я видел Месропа".

Месроп (вин. падеж) + наречие + вспомогательный глагол, то в предложении:

(24) *Es Mesropin erek tesa*. "Я Месропа увидел вчера".

Местоимение + Месроп (вин. падеж) + наречие + глагол необходимо использовать личное местоимение. Использование первого лица в (23) – стилистическое явление, тогда как в (24) – оно обязательно и нормативно. Даже в том

¹³ "Интересно, что достаточно употребить вспомогательный глагол *иметь*, – пишет Гийом [Guillaume 1991: 144], – чтобы выразить прошедшее время без морфологических изменений". Но Гийом считает, что прошедший партицип совершенно безразличен к временным различиям. Возможно, что это не совсем так, потому что при этом, переход *Passé composé* в *Passé simple* был бы невозможен. А этот переход возможен, хотя бы только потому, что партицип имеет сему прошедшего.

¹⁴ Упоминание о каком-либо событии не означает, что оно длится до настоящего. Необходимо различать у п о м и н а н и е и р а с т я ж е н и е процесса до настоящего (*current relevance of a part situation and recent past*). Отсюда и классическое определение *varakatar nerka* – *Isovi* ("то, что известно по слухам").

¹⁵ Когда диатезис тяготеет к пассивной структуре, оперативность исчезает. Это означает, что граница между активной и пассивной структурами не такая, как можно было предположить.

случае, когда *harakatar nerka* получает объект (дополнение), фокализация остается на подлежащем. То же явление существует в английском:

(26) *I've cleaned the room.*

Es sen'akə makreci.

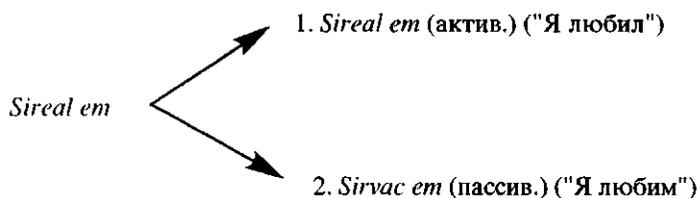
(27) *I've been cleaning the room.*

Es sen'akə makrac em.

Мы видим, что (26)-ой фокусирует событие на *room*, а (27)-ой на *I*.

Своим кинетизмом к пациенсу логически направлено активное прошедшее (Perfect). Это явление отнюдь не связано с типологией текста (как, например, считает Донабедян). Повествовательный ряд возможен в *varakatar nerka* (восточноармянский) и в *harakatar nerka* (западноармянский). Когда границы процесса A_1/A_2 (границы партиципа) логически акцентированы, результатом становится оторванное от настоящего прошедшее совершенное (Preterit). Процесс – в прошлом и взят полностью, пунктуально. Но, что же касается *harakatar nerka* (источник события), то здесь действующее лицо перемещено к страдательному (пассивному) ряду. На самом деле, это проблематика рода. Действующее лицо видит себя одновременно пациенсом.

Ачарян [Adjarian 1957: 216] говорит о *varakatar nerka*, что тема *-eal* инфинитива *грабара* (древнеармянский), откуда идет тема *-el*, может быть и активной и пассивной:



С морфологической точки зрения проблема находится во взаимоотношениях "прилагательное/глагол". Отмеченные Н. Козинцевой [Kozintseva 1996: 191] четыре значения для *varakatar nerka* восточноармянского, как то: функция настоящего; Perfect опыта; длительность; Perfect восхищения – могут быть объяснены вышеупомянутыми взаимоотношениями. Со стилистической точки зрения различия являются следствием этих взаимоотношений.

Эти взаимоотношения, или иначе говоря игра между пространством и временем, в русском языке, например, выдвинуты на передний план. Прилагательное может представляться в полной форме (*здоровый человек*) и в краткой форме (*он здоров*). Краткая форма вводит прилагательное в глагол, то есть отмечает переход от пространства к времени. В обратном направлении глагол (время) может вернуться к прилагательному (пространству): *Он устал* (глагол) – *усталый человек* (прилагательное). «В предложении: *J'ai marché* (я прошагал), – писал Гийом, – связь подлежащего "je" с партиципом "marché", с предикативной точки зрения равна нулю. Именно это отсутствие и создает, если вдуматься, переходность» [Guillaume 1987: 146].

Это верно также для армянского партиципа в *varakatar nerka*, который отмечает начало переходности, но не конец. Диатезис тут начал покидать объект и отступать к полюсу субъекта. По этой причине, современный восточноармянский взял форму Preterit для выражения другого прошедшего совершенного – Perfektum. Полустрада- тельная форма (полупассивная) не в состоянии была более осуществлять продолжение действия в настоящем. Но при этом прошедшее совершенное не может принять какое-либо наречие, выражающее полное прошлое. Предложение *Dprocə hacvēc 1930 tivin* должно быть переведено в Preterit: "Школа была открыта в 1930 году". "In general, – пишет Б. Комри, – the perfect is incompatible with adverbials that have definite

past time reference, i.e. time adverbials that refer to a specific moment or stretch of located wholly in the past" [Comrie 1985: 32].

Перемещение на линии времени и диатезис находятся в тесной зависимости друг от друга. Синтагма *ergel em* ("я пел") может в восточноармянском употребляться без объекта и при этом изменить значение ("я был певцом"). В то время как синтагма *ergeci* ("я спел"), употребленная с объектом или без него, не изменит своего значения. Возьмем два других примера:

(28) "Tšvarnerə" *kartacir?* (Perfektum I) «Прочитал "Отверженных"?»

(29) "Tšvarnerə" *kartacel es?* (Perfektum II) «Тебе знаком роман "Отверженные"?»

Эти два предложения используют разные позиции партиципа, несмотря на то, что в случае (28), восточноармянский использует форму Preterit (со значением Perfektum). Первая позиция (*kartacir*) направлена к полюсу объекта ("книга прочитана или нет?"); вторая направлена к полюсу субъекта ("ты из тех, кто прочел эту книгу?"). Именно такое объяснение дает Гийом для "amatus sum" в латинском.

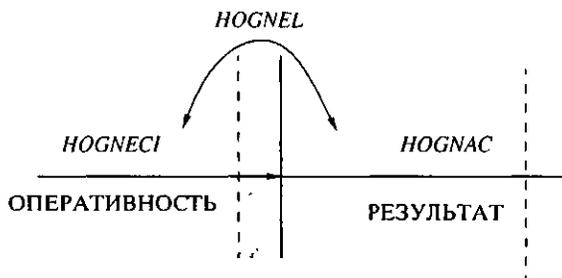
В связи с отмеченными позициями и разными диатезисами ответы на приведенные предложения (28) и (29) будут различны. (28)-ой потребует ответа "Да" или "Нет":

(30) *Ayo (oč) kartaci.* "Да (нет), прочитал (не прочитал)".

В ответе на (29)-ое повторится партицип, подчеркивая важность процесса, а не его результат:

(31) *Kartacel em.*

Фокализация следует вариациям диатезиса. *Harakatar nerka* фокусирует субъекта, прошедшее совершенное фокусирует объект. *Varakatar nerka* находится между этими двумя формами. Он фокусирует с одной стороны субъект, с другой – объект (бифокализация):



Переход *varakatar nerka* наполовину подчеркивается, когда к предложению прибавляется актуализирующее обстоятельство:

(32) *Avtobusə kič arač gnac.* "Автобус ушел только что".

(33) **Avtobusə gnacel e kič arač*¹⁶ (перевод на русский язык невозможен вообще).

В (32)-ом партицип (который в армянском формально не выражается) есть полностью глагол (+ динамизм). А в (33)-м границы партиципа не доходят до момента речи. Это явление еще более подчеркнуто в случае *harakatar nerka*, который имеет статус атрибута:

(34) **Avtobusə kič arač gnacac e* (непереводимо, хотя и возможно в западноармянском: *Avtobusə kič arač gnacac e*).

На этой стадии исследования возникает один существенный вопрос. Возможно, что изначально атрибутивная функция виртуально уже находится в семантизме глагола.

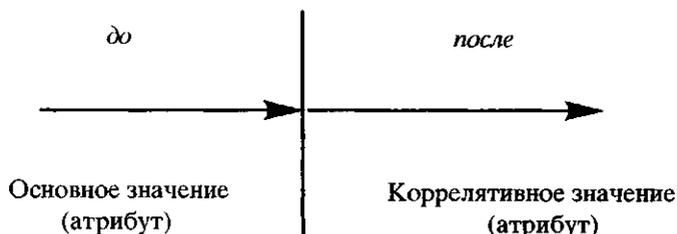
«Когда мы говорим: *Petrus vivit* (Петрус живет), – писал в 1796 г. Дж. Хэррис, – слово *vivit* содержит заявление и плюс к этому выражает атрибут жизни. Итак, сказать – "Петрус живет" – то же, что сказать "Петрус жив". Функция атрибута зарегистри-

¹⁶ Когда точка отсчета берется с партиципа, невозможно к предложению добавить абсолютное указательное обстоятельство: **Hima es cxel em* (Непереводимо).

стрирована в глубинном семантизме глагола. Это уже отмечал Аристотель (De Int., 3): "Глагол есть также описание чего-либо, что содержится в субъекте или относится к субъекту"» [Harris 1995: 120].

Для Дж. Хэрриса каждый глагол выражает изначально какой-нибудь атрибут, то есть то, что можно превратить в предикат (*Wolketh* – свойство шагания; *Writhet* – свойство писания). Классема "время" не исключительная в глагольной форме. Процесс или свойство – решит контекст речи. Время, кстати, можно выразить и другими частями речи. Исходя из этого постулата, Дж. Хэррис разделяет обозначение двух типов: 1) материальное, или понятийное; 2) формальное, то есть грамматические указания (род, вид, модальность, лицо).

"Обратите внимание на то, что слова, передающие время как главное понятие, перестают быть глаголом и превращаются в прилагательное или существительное. В качестве примера таких прилагательных можно предложить следующие слова: временный, годичный, недельный; а в качестве существительных: время, год, день, час и т.д." [Harris 1995: 89]



Как уже отмечалось, ситуация *до* партиципа относится к тому кинетизму, который направлен к имени существительному. И немецкий партицип, например, теряет свой вспомогательный глагол, когда перемещается к существительному. Ж.П. Конфе даже берет под сомнение связь между атрибутивными и настоящими глагольными партиципами: «Эти слова не называют никакого результата, никакого следа процесса, который бы показал, что, например, лоб выступает (*bombé*) или нос искривляется (*tordu*). Однако во французском, также как и в немецком, есть ложные партиципы, которые построены по моделям настоящих партиципов. Кажется, что некоторые из них имеют глагольное происхождение, несмотря на то, что их инфинитива не существует (см. *dépourvu*, *stupéfait*, *einverschtanden*), а другие образуются из корней, в основном имен существительных (см. *tigré*, *getigert*). Эти формы мы называем "реальные-ложные партиципы", поскольку они сохраняют партиципные следы, т.е. какой-то результат, временное предшествование. В выражениях "*front bombé*" и "*chat tigré*" (*gewölbte Stirn*, *getigert Katz*) свойства "*bombé*" и "*tigré*" (*gewölbtesirn*, *getigert*) прибавляются к смыслу и взяты как маркированные формы по отношению к нейтральной точке отсчета (нулевая степень)» [Confais 1995: 58].

Прежде чем обратиться к обсуждению этого высказывания, необходимо отметить, что партицип *dépourvu* имел, видимо, инфинитив *depouvoir* (это указано в "Историческом словаре французского языка" [DNF: 603]), но это вторичное образование.

Предложенный анализ неприемлем, поскольку атрибутивная функция не возникает просто так, из ничего: процесс и атрибут изначально связаны друг с другом, – одно предполагает другое. Выражения *bombé* и *tigré* перемещены в сторону *до* глагола, к атрибуту. Но было бы неверно сказать, что они не связаны с глаголом (каким-нибудь действием). Именно в этом разница между атрибутом и эпитетом. Первый связан с глаголом, второй – нет. Перемещение в случае с *bombé* и *tigré* привело также к образованию страдательного рода, в котором они и подверглись лексикализации. Отметим, что слова *front* и *chat* могут быть подлежащими, но не действующими лицами: *Son front est bombé*, но *Il a bombé le front*.

В любом случае, атрибут отмечает то явление, которое уже виртуально существовало в глаголе. Необходимо только отметить, что *атрибут* и *вид* сходятся. Партицип выражает субъекта в *виде* результата процесса, а маркирование (+ динамичность) фокусируют действие. По этой причине *varakatar nerka* в армянском по сути актуализирует не процесс как таковой, а его результат. Процесс лишь упоминается. Осуществление к моменту речи уже завершено. Прямой связи между процессом и моментом речи нет. Тогда как в варианте прошедшего совершенного эта связь акцентирована (*kartaci*). В *varakatar nerka* создается дистанция между подлежащим предложения (*énoncé*) и подлежащим говорения (*énonciation*). В форме *Kartacel em* есть два субъекта: подлежащее говорения упоминает некий, оторванный от момента речи субъект (*débrayage*), который помещен в прошлом. Отсюда, по-видимому, и подверженные кодификации употребления *varakatar nerka*.

(35) *Es cnvel em 1943 tvin*. "Я родился в 1943 году".

**Es cnveci 1943 tvin* (непереводимо).

Возможно, по этой же причине английский Perfect, который ограничивается настоящим временем, не может использовать разделяющие субъекты наречие: **I have arrived yesterday*.

Смысловая вариация предложения, о которой говорит Донабедян [Donabedian 1998] связана именно с этим временным несоответствием. Действующее лицо остается в поле момента речи, а процесс только упомянут. В *harakatar nerka* (форма с *-ac*), напротив, этого несоответствия нет, поскольку отсутствие семы "действие/время" создает семантизм прилагательного, то есть постоянную атрибуцию. Предложение: *Ekas e, seyan nstink* – должно переводиться не как "Он пришел ..." (сема "время/действие"), а как "Он уже здесь, сядем за стол" (отмечается перманентность). А в случае *varakatar nerka* (*ekel e*), в связи с семой "время/действие", нужно переводить: "Он пришел ...".

В семантизме *harakatar nerka*, как видим, отсутствует сема "время/действие". Поскольку А. Донабедян не учитывает это перемещение (согласно ее представлениям, *harakatar nerka* только глагол), то она пытается объяснить отсутствие семы "действие" в *harakatar nerka* тем, что наделяет обстоятельство семой "действие/время". Однако логически сема "действие/время" может реализоваться только в глагольной форме. Остается только согласиться с тем, что партицип в *harakatar nerka* в большей степени прилагательное и частично глагол. Вот приведенный Донабедян пример, где она наделяет обстоятельство "с лошадьми" семой "действие/время":

(36) *Mankut'iwms ancac e jierun het*. "Мое детство прошло с лошадьми".

Даже обстоятельство времени не в состоянии было бы здесь создать динамизм. «Дни, месяцы, годы, – писал Бенвенист, – неподвижные величины, выведенные из игры космических сил с незапамятных времен. Однако эти величины суть только названия, которые сами по себе никак не участвуют в явлении "время". В них нет времени. По этой причине их можно рассматривать в той же категории, что и числа, которые не имеют никакой связи с перечисленными вещами. Календарь сам – вне времени» [Benveniste 1966: 72].

Настоящее решение проблемы возможно только, если держать в центре внимания перемещение по линии времени, то есть различая разные субъекты: *о п е р а т и в н ы е*, *о п е р а т и в н о - п а с с и в н ы е* и *р е з у л ь т а т и в н ы е*. Вот что писал об этом Ж. Муанье: «Для решения вопроса нужно опираться на противопоставления оперативности и результативности. Существует такой глагольный род, в котором субъект занимает по отношению к семантизму глагола оперативную позицию, т.е. тут причина и реализация начинаются с субъекта. Это "активный" род для лингвиста. Существует глагольный род, в котором субъект находится в результативной позиции (...). Это традиционный страдательный род. Наконец, существует глагольный род, в котором субъект, начиная свою оперативность, сразу переходит к результату, он содержит глагольное напряжение в целом» [Moignet 1980: 105].

Именно этот последний случай выражает сущность *harakatar nerka*. Если здесь дей-

ствие не подчеркнуто, то это не означает, что "событие неопределенно" (Донабедян), просто оно перемещено от времени к пространству. Сема "действие/время" прервана, но не исчезла. Неопределенность не вызывается также неопределенным обстоятельством – наречием (неопределенное наречие не может употребляться с актуализированным глаголом). Неопределенность, просто-напросто, в самом партиципе на -ac:

(37) *Kani angam sksac em cxel ew jgac*. "Сколько раз начинал курить и бросал".

Если *kani angam* заменить дейктическим обстоятельством, например, "*Hingšabti*" (четверг), предложение становится непреемлемым:

(38) *"*Hingšabti*" *sksac em cxel ew jgac*.* "В четверг начинал курить и бросал".

Отметим, что и Aorist (оторванное от настоящего прошлое) не может использовать актуализирующее обстоятельство. В тех же случаях, когда они встречаются в одном предложении, на самом деле они функционируют в фиктивных рамках, без какой-либо связи с моментом речи. Как, например, в предложении:

(39) *Irapes ays angarm keanks sksav veri tē nmanvil*. "Действительно, на этот раз, жизнь моя стала напоминать роман".

В данном контексте выражение *ays angam* ("на этот раз") не есть актуализация, потому что имеем в виду прошлое. К. Гамбургер дает по этому поводу следующий пример: "Завтра был праздник" [Hamburger 1986: 80].

Таковы архитектоника партиципа в армянском языке.

* * *

Теперь можно вернуться к немецкому партиципу (Perfect). В действительности немецкий партицип содержит все те функции, которые были отмечены в армянском: "до глагола" (*harakatar*); "середина" между глаголом и прилагательным (*varakatar*); "после глагола" ("прошедшее совершенное"). То есть можно сказать, что партицип проходит путь от пространства ко времени, делая на этом пути три остановки. При этом мысль может двигаться по этому пути как в прямом, так и в обратном направлении. В варианте немецкого языка функцию (остановку) определяет контекст, формально она себя не выдает. В морфологическом выражении армянская система продвинулась еще дальше ("экзофрастия", по выражению Гийома). Английский для передачи таких нюансов обращается или к вспомогательному глаголу "go" или к "be".

"A useful illustrative example in English, – писал Б. Комри, – is the distinction between *be* and *go* in sentences like *Bill has been to America* and *Bill has gone to America*, since English here makes an overdistinction between the experiential perfect and perfect of result and implies that Bill is now in America, or is on his way there, this being the present result of his past action of going to (setting out) for America. In *Bill has been to America*, however, there is no such implication, this sentence says that on at least one occasion (though possibly on more than one) Bill did in fact go to America. In general however, English does not have a distinct form with experiential perfect meaning" [Comrie 1976: 59].

Можно и не согласиться с этим замечанием, ввиду того, что в английском есть так называемый "прогрессивный" Perfect, который на наш взгляд, соответствует *harakatar nerka* в армянском:

(40) *You've been drinking*. "Ты напившийся".

Du xmac es.

Это составная форма, которая может выглядеть парадоксальной, поскольку, с одной стороны, предполагается внешняя позиция субъекта (*have been*), а с другой – внутренняя позиция (*be + ing*). Вернемся еще раз к немецкому. Как перевести, например, такое предложение, как:

(41) *Er hat die Augen geschlossen*.

На французский это можно перевести в двух вариантах.

(42) *Il a les yeux fermés*.

(43) *Il a fermé les yeux*.

В армянском языке возможны три варианта:

(44) *Na pakel e ačkerə* (varakatar перка с *-el*).

(45) *Nra ačkerə pak en* (восточноармянский); *ačkerə pakac e* (западноармянский).

(46) *Na pakec ačkerə* (прош. сов.).

Ж.П. Конфе [Confais 1995] напоминает, что на севере Германии вместо Perfektum часто употребляется Präterit. Это означает, что Perfektum постепенно укрепился в функции результата, то есть дал субъекту внешнюю позицию. Сема "действие/время" перешла к претериту. А претерит сам (морфологически) взял функции перфектума (собственно, как в армянском). В английском языке то же самое происходит с помощью обстоятельств.

(47) *I was born in Warley. I've leaved here all my life.*

(48) *I was been ill for two months.*

Perfektum в немецком языке тяготеет в лексикализации. Как отмечает Земб, в предложении

(49) *Paul hat gestern einen Brief geschrieben.* "Вчера Пауль написал письмо" мы имеем дело не с цельным глаголом (*schreiben*), измененным во временной форме, где сливается время и вид, а с *видом* и *временем* в отдельности, т.е. настоящим, в котором само значение предложения. Возьмем следующий пример:

(50) *Um 4 Uhr hat er noch geschlafen.*

На армянский это предложение переводится в *harakatar perka*, отмечая переход в пространство (к прилагательному), то есть учитывая отсутствие семы "время/действие". Французский перевод использует *Imparfait* (функция характеристики, которая создает согласно Вайнриху, "задний план"). Другого способа отметить отсутствие оперативности не существует. Отсюда вытекает одно интересное обстоятельство: существует единое пространство, где могут встречаться прилагательное (статичность/динамика = *был спящим*) и *Imparfait*.

(51) *A 4 heures il dortait encore.*

* * *

Что можно сказать в заключение, исходя из всего изложенного в настоящей работе, для которой мы выбрали открытую структуру, сообразно свободному ходу мыслей?

Во-первых, что каждый язык решает свои семантические проблемы, исходя из собственной специфики. Но с другой стороны, глубинная архитектоника едина для всех языков. Ясно, что тут мы имеем дело с разными срезами на линии времени, с соответственным морфогенезом и соответственным синтаксисом. Однако мышление всегда одно и то же, в каждом отдельном случае. Различия начинаешь понимать тогда, когда возвращаешься к организации мысли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Abeghian M.* 1965 – *Hayos lezvi tesut'un*. Erévan, 1965.
Adjarian H. 1957 – *Liakatar kerakanut'un hayoc lezvi*. Erévan, 1957.
Benveniste E. 1966 – *Problèmes de linguistique générale I*. Paris, 1966.
Benveniste E. 1974 – *Problèmes de linguistique générale II*. Paris, 1974.
Bickerton B. 1982 – *What do children do when they mark past sens? // "Texas linguistic forum"*. 1982.
Comrie B. 1976 – *Aspect*. Cambridge, 1976.
Comrie B. 1985 – *Tense*. Cambridge, 1985.
Chevalier J.C. 1978 – *Verbe et phrase*. Paris, 1978.
Confais J.P. 1995 – *Temps, mode, aspect, les approches des morphèmes verbaux et leurs problèmes à l'exemple du français et de l'allemand*. Toulouse, 1995.
DNF – *Dictionnaire historique du Français*. Paris, 1992.

- Donabedian A.* 1998 – Mode d'expression de l'accompli et aspectualité en arménien occidental // Actance. № 9. 1998.
- Guillaume G.* 1985 – Leçons de linguistique 1943/44. Lille, 1985.
- Guillaume G.* 1987 – Leçons de linguistique 1945/46. Lille, 1987.
- Guillaume G.* 1988 – Leçons de linguistique 1948. Lille, 1988.
- Gosselin L.* 1996 – Sémantique de la temporalité en Français. Bruxelles, 1996.
- Hamburger H.* 1968 – Die Logik der Dichtung. Stuttgart, 1968.
- Harris J.* 1995 – Hermes ou recherches philisophiques sur la grammaire. Genève, 1995.
- Humboldt W.* 1995 – La pensée dans la langue / Humboldt et après. Paris, 1995.
- Jespersen O.* 1909–1949 – A modern English grammar. V. 1–7. Copenhagen, 1909–1949.
- Joly A., O'Kelly D.* 1990 – Grammaire systématique de l'anglais. Paris, 1990.
- Kozintseva N.* 1996 – Types of Perfect meaning in modern eastern Armenian compared with English // Proceeding of fifth International Conference on armenian linguistics. New York, 1996.
- Langacker W.* 1991 – "Noms et verbes" // Communication. № 53. 1991.
- Moignet G.* 1980 – Systématique de la langue Française. Paris, 1980.
- Saussure F. de* 1955 – Cours de linguistique générale. Paris, 1955.
- Schane F.* 1981 – Temps, modes, aspects // Cahiers du CISL. № 3. 1981.
- Turner M.* 1996 – The literary mind. Oxford, 1996.
- Zemb J.M.* 1984 – L'aspect, le mode et le temps. Paris, 1984.

© 2001 г. Р.К. ПОТАПОВА, В.В. ПОТАПОВ

ПРОБЛЕМЫ РИТМА НЕМЕЦКОЙ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ

Различные подходы к изучению и интерпретации ритма немецкой речи на сегодняшний день можно разбить на две основные группы: исследования, исходной концепцией которых является акцентосчитающая изохрония, и исследования, опирающиеся на словосчитающую изохронию. В обоих случаях краеугольным камнем всех научных построений является понятие *изохронии*, переносимое с метрических особенностей стиховой речи на нестиховую речь [Pike 1945; Abercrombie 1967]. Опорным речевым квантом при этом (о понятии "квант" см. [Потапова 1986]) является такт (стопа). Дифференциация же подходов связана в одном случае с временной компрессией слоговых сегментов в рамках такта, зависящей от увеличения числа слогов в данном такте, т.е. с *обратной зависимостью* между числом слогов и их длительностью, в другом случае – с *прямой зависимостью* между числом слогов в рамках такта и их суммарной длительностью. В том и другом случае имеют дело с *изохронным* толкованием опорного ритмического кванта. Только сама по себе изохрония как бы сориентирована на различную актуализацию речевого ритма с помощью: а) числа слогов; б) суммарной длительности.

В современной германистике и мировой ритмологии достаточно широко представлены оба подхода. Однако прослеживается тенденция к поиску иного пути, сторонники которого интерпретируют речевой ритм нестиховой речи не столь формально, учитывая морфо-фонологический фонетический аспект данного феномена, строй языка и др. [Потапов 1993; 1996; 1998; 1999; Stock 2000]. Критика Э. Штока [Шток 2000] обеих вышеуказанных концепций изохронии применительно к акцентосчитающему и слогосчитающему подходам относительно немецкой слитной нестиховой речи аргументирована и обоснована. Традиционным заблуждением при исследовании и интерпретации речевого ритма различных языков представляется перенос выводов, полученных в результате изучения ритма английской речи, на анализируемые языки. При этом не учитываются, как правило, такие факторы, как процесс редукции гласных, специфика слоговых структур и слоговые границы, соотношение между слоговой структурой и позицией ударения, позиция главноударного слога в синтагме (фразе), грамматические, коммуникативные, эмотивные и другие функции ударения. При этом общая интегративная картина описания речевого ритма усложняется в зависимости от того, сколь полно исследователь анализирует данный феномен: с позиции слуховой перцепции, акустической фонетики, морфофонологии, лексической частотности фонотактики и т.д.

Наша точка зрения совпадает с мнением Э. Штока в отношении критики подхода, согласно которому немецкий речевой ритм трактуется как акцентосчитающий [Pheby, Eras 1969; Pheby 1981]. Указанные авторы опираются на экспериментальное исследование, в ходе которого стояла задача сегментации прочитанного тремя дикторами текста на такты (от ударения до ударения) и на группы, маркированные выделенным с помощью основного тона главноударным слогом. Иерархия выделенных слогов включала градацию от 0 до 4. Группа могла состоять из различного числа тактов (как правило, от 1 до n). Анализировалась длительность тактов в зависимости от числа слогов.

Перцептивный аспект во внимание не принимался. Более того, совершенно не учитывался стилистический фактор. Несколько категоричными относительно изохронии представляются и выводы Колера [Kohler 1982]. Учет многих составляющих приближает понимание речевого ритма в германистике к более органичному, комплексному и вероятностно соригинированному феномену [Essen 1979; Meinhold 1971; Neuber 1998; Völtz 1994; Stock 1996; 2000].

Таким образом, феномен речевого ритма представляет собой одно из наименее исследованных явлений не только в общей ритмологии, но и в германистике. Традиционно филологи придавали большое значение ритмическому оформлению поэтических произведений, и в этой области практически не осталось белых пятен. Первоначально даже превалировала точка зрения, согласно которой понятие ритма не могло быть применено к прозаической речи, поскольку ритм трактовался как повторение каких-либо языковых структур через равные промежутки времени.

Последние десятилетия характеризуются особым вниманием лингвистов, и в первую очередь, фонетистов к проблеме речевого ритма нестиховой речи. В основе лежит несколько иная дефиниция этого понятия и безусловное признание того, что можно и нужно изучать ритмическое оформление прозаической речи. И хотя по-прежнему существуют различия в понимании функций и структуры ритмического оформления звучащей речи, расхождения в терминологии, главное больше не подвергается сомнению – ритм является неотъемлемой частью также и прозаической звучащей речи [Черемисина 1982; 1999]. При исследовании речевого ритма с позиций общей ритмологии можно выделить ряд различных подходов. С одной стороны, исследователи стремятся выделить те универсальные черты, которые присущи речевому ритму как таковому вне зависимости от его непосредственной реализации в определенном языке, с другой стороны, изучаются индивидуальные особенности ритмического оформления отдельных языков и языковых групп. Кроме того, ритм, как и другие языковые явления, можно рассматривать как под углом зрения синхронии, описывая его состояние в настоящий момент, так и диахронии, прослеживая его изменение и развитие на протяжении истории развития языка [Потапов 1996]. В настоящее время сделаны лишь первые шаги на пути к полному описанию этого речевого феномена. Необходимым представляется проведение многочисленных лингвистических экспериментов для формирования обширного корпуса и выявления артикуляторных, акустических и перцептивных характеристик речевого ритма. Внимание исследователей привлекает уникальность ритма прозаической речи. Имея сложную структуру, реализовываясь на всех языковых уровнях, он придает языку индивидуальность и неповторимость.

Для германистики особую значимость представляет проблема речевого ритма применительно к сложным словам, перераспределению ударений в потоке речи, их восприятию и т.д. Реализация в речи различного типа ударений связана не только с морфемной структурой, но и со своеобразными немецкими ритмическими тенденциями, которые следует иметь в виду при изучении ритма немецкой речи: морфемы, которые в самостоятельном слове несут полное ударение, теряют его, как только они оказываются в рамках сложного слова. В известном примере О. фон Эссена (Landbriefträger) друг за другом следуют три части, которые сами по себе являются носителями полного ударения: *Land*, *Brief*, *Träger*. Сложение двух последних дает *Briefträger*, т.е. вторая часть полностью теряет ударение. А при сложении всех трех частей картина опять меняется: *Landbriefträger*, т.е. *Brief* в свою очередь становится второй частью и теряет свое ударение, а в компоненте *Träger* появляется второстепенное ударение. Но все это происходит в рамках одной ритмической единицы. Ритмическая структура не разбивается на более мелкие блоки. Носитель языка статистического всегда чувствует ее целостность. Поэтому включение в ритмическую структуру не только ударных и безударных слогов, но и слогов с второстепенным ударением для немецкого языка имеет особое значение. Как замечает О. фон Эссен, в некоторых случаях нельзя не проследить наличие определенной тенденции к ритмической периодизации в немецкой нестиховой речи. Иногда она настолько сильна, что под ее влиянием сме-

щаются акценты, жестко закрепленные в языковой системе; например, *einmal – einmál*.

В немецкой речи обычно проявляется стремление избежать двух тяжелых (выделенных ударением) слогов, следующих непосредственно друг за другом, благодаря чему становится возможным своего рода периодическое чередование, и это также может служить причиной смещения акцентов: *Abteilung* вместо *Ábteilung*, *únaufrichtig* вместо *únaüfrichtig* и т.д. Этот процесс тем реальнее, чем ближе друг к другу выделенные слоги.

В нашем исследовании предпринята попытка выявления вариантов изменения привычной схемы соотношения слогов в сложных словах в потоке немецкой речи.

В качестве экспериментального материала были отобраны сложные слова германского происхождения (исторические заимствования на данном этапе не исследовались). Все отобранные слова помещались в контексты, где они занимали различные позиции как в предложении (начальную, срединную, конечную), так и в тексте [Потапова 1986]. Материал (тексты, предложения и изолированные слова) были записаны на звуковой носитель в реализации четырех дикторов-носителей языка. Материал анализировался для двух видов речевой деятельности: чтения и говорения. В данном случае имеется в виду свободный пересказ текстов с использованием ключевых для нашего исследования слов. В результате получен массив из 480 вариантов произнесения слов-стимулов.

Закономерности в распределении ударения в немецком слове все еще недостаточно ясны. Это явление принято рассматривать, с одной стороны, как чисто фонетическое, с другой стороны, как морфологическое. Однако полного единства во взглядах при том и другом подходах не наблюдается. В одних случаях [Зиндер, Строева 1957] подчеркивается фонетическая свобода немецкого слова относительно места ударения, поскольку ударение, будучи связанным с корневой морфемой, может стоять на разных слогах в слове. Н.С. Трубецкой [Трубецкой 1960] называет его "относительно свободным", так как оно этимологически ограничено. О.Х. Цахер [Zacher 1969] говорит о немецком ударении как о "морфемносвязанном".

Необходимо различать акцентные структуры парадигматического и синтагматического плана. Акцентные структуры, дающиеся в словарях, носят парадигматический характер. Они выступают только в определенных позиционных условиях в неэмоциональной речи. Под влиянием смысловых оттенков фразы, эмоций, фоностили и т.д. образуются синтагматические варианты парадигматических моделей. Вместе с тем изучение парадигматических акцентных моделей языка необходимо на предварительном этапе для получения исходных данных, на основе которых можно строить дальнейшие исследования их синтагматических вариантов, представленных в речи.

Изучению парадигматических ритмических моделей немецкой языка посвящен ряд исследований. Анализ словарных структур немецкого языка, проведен, например, П. Менцератом на материале 20 453 слов [Menzerath 1954]. Им получено следующее распределение ритмических структур в зависимости от числа слогов (см. табл. 1).

Опираясь на эти данные, можно сделать вывод, что наибольшую часть слов немецкого языка составляют двусложные и трехсложные слова. Меньшее поле охвата

Таблица 1

Парадигматическая частотность ритмических структур
(на материале немецкого языка по данным П. Менцерата)

Частотность	Количество слогов в структуре								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Абсолютная	2245	6396	6979	3640	920	214	42	11	6
Относительная (в %)	10,98	31,27	34,12	17,80	4,50	1,05	0,21	0,05	0,03

имеют четырехсложные и односложные структуры, остальные встречаются относительно редко. Слова, состоящие из двух, трех или четырех слогов, составляют 83,19%, о чем свидетельствуют результаты работы П. Менцера.

Для определения наиболее характерных черт в распределении ударения в немецком слове проанализированы частотность немецких парадигматических акцентных моделей слов современного немецкого языка на базе Лейпцигского словаря немецкого произношения (1971 г.). Исследование проводилось на выборке, включающей 45 268 слов [Гуревич 1975; 2000]. Рассматривались как простые, производные, так и сложные слова. Главным признаком модели считалось распределение главного и побочного ударений. Кроме того, прослежена морфемная обусловленность немецкого словесного ударения в соответствии с акцентными моделями.

С учетом акцентных моделей удалось выявить следующее распределение ритмических структур слов немецкого языка:

$$1. (\underline{\quad}): 2695 = 1688 (\text{н}) + 240 (\text{фоз}) + 767 (\text{и}) + 0 (\text{с})$$

(Используя сокращения: "н" – немецкие слова, "фоз" – фонетически онемеченные заимствования, "и" – иноязычные слова, "с" – слова смешанного типа.)

К этой акцентной модели относятся все односложные слова, например, *Ruhm, leicht, dritt, für; Kult*.

$$2. (\underline{\quad}): 5359 = 4361 + 343 + 655 + 0 (\text{tragen, Dichter; testen}).$$

К акцентной модели № 2 относятся двусложные слова, преимущественно глаголы и существительные с редуцированным [ə] во втором слогe,

$$3. (\underline{\quad}): 4312 = 1586 + 682 + 2044 + 0 (\text{Ärztin, ehrlich; Optik}).$$

Данную модель представляют двусложные слова, суффиксы которых образуют безударный сильный слог.

$$4. (\underline{\quad} \underline{\quad}): 12003 = 4483 + 2191 + 4805 + 524 (\text{Nordsee, Aufstand, wirksam}).$$

Прежде всего, в эту группу входят сложные и производные слова. Для сложных существительных характерен определитель, стоящий на первом месте. Для сложных существительных и наречий характерно также, что в качестве определителя, стоящего на первом месте, выступают наречия и предлоги (*Vorwort, mithin, kurzum*). Для производных существительных характерна отделяемая приставка в начале слова или суффикс с побочным ударением в конце слова. Для простых слов характерно наличие полновзвучного гласного в последнем слогe (*Delta, Kino*).

$$5. (\underline{\quad}): 750 = 551 + 15 + 184 + 0 (\text{Gesicht, Begriff, getrennt}).$$

К данной акцентной модели относятся двусложные немецкие слова с приставками *be-, ge-*, образующими безударный слабый слог, а также некоторые иноязычные слова.

$$6. (\underline{\quad} \underline{\quad}): 19002 = 1627 + 13429 + 2977 + 969 (\text{Vertrag, Erfolg; Metall}).$$

В данную группу входят преимущественно существительные с неотделяемыми приставками, образующими безударный сильный слог, сложносокращенные слова, немецкие слова с заимствованными суффиксами, сложные наречия, фонетически онемеченные заимствования, иноязычные слова.

$$7. (\underline{\quad} \underline{\quad}): 792 = 205 + 194 + 352 + 41 (\text{blutarm, Neu-Ulm, Nordwest}).$$

К этой группе относятся сложные усилительные прилагательные, копулятивные сложные существительные.

$$8. (\underline{\quad} \underline{\quad} \underline{\quad}): 355 = 43 + 56 + 238 + 18 (\text{Nordirland, stromabwärts}).$$

Указанную акцентную модель представляют многочисленные существительные, некоторые сложные наречия, включающие существительное и наречие.

Эти данные затем были обобщены, благодаря чему удалось определить наиболее и наименее частотные модели. Выявление преобладающей и периферийной типов моделей зависело от того, учитывались ли все слова словаря или только слова гер-

**Парадигматическая частотность ритмических структур
(на материале немецкого языка)**

Частотность	Номер модели							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Абсолютная	2695	5359	4312	12 003	750	19 002	792	355
Относительная (в %)	5,95	11,83	9,52	26,51	1,65	41,97	1,74	0,78

Таблица 3

**Парадигматическая частотность ритмических структур
в соотношении с акцентными моделями
(за исключением иностранных слов)**

Частотность	Номер модели							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Абсолютная	1928	4704	2268	7198	566	16025	440	117
Относительная (в %)	5,79	14,14	68,82	21,65	1,70	48,20	1,32	0,35

Таблица 4

**Парадигматическая частотность ритмических структур
в соотношении с акцентными моделями
(за исключением фонетически "отмеченных" слов)**

Частотность	Номер модели							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Абсолютная	1688	4361	1586	5007	551	2596	246	61
Относительная (в %)	10,48	27,09	9,85	31,10	3,42	16,12	1,52	0,37

манского происхождения. Оказалось, что модель № 6 представлена наибольшим числом слов, модели №№ 5, 7, 8, – наименьшим, что отражено в таблице 2. Материалы нижеприведенных таблиц содержат данные, полученные Э. Гуревич [Гуревич 2000].

При исключении иностранных слов модель № 6 является наиболее частотной, менее частотными модели №№ 5, 7, 8 (см. табл. 3).

Без фонетически "ономеченных" слов чаще всего встречается модель № 4, наименее частотными моделями являются №№ 5, 7, 8 (см. табл. 4).

Для получения данных исключительно для слов германского происхождения были изъяты из выборки слова смешанного типа. Оказалось, что чаще всего встречается модель № 4, наименее частотными являются модели №№ 5, 7, 8 (см. табл. 5).

В пределах исследуемого материала предпринята попытка выявить также характер немецкого словесного ударения по дистрибуции главноударного слога (первые четыре модели имеют начальное ударение, остальные – в конце и середине слова). При учете всех слов превалирует нена начальное ударение. Нена начальное ударение преобладает также при условии исключения иноязычной лексики. Если исключить также фонетически "ономеченные" заимствования, рассматривая только слова германского происхождения и слова смешанного типа, то превалирующим будет начальное ударение.

**Парадигматическая частотность ритмических структур
в соотношении с акцентными моделями
(применительно к словам только германского происхождения)**

Частотность	Номер модели							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Абсолютная	1688	4361	1586	4483	551	1627	205	43
Относительная (в %)	11,60	29,98	10,90	30,82	3,78	11,18	1,40	0,29

При исключении слов смешанного типа начальное ударение получает еще больший вес. Таким образом, морфемная связанность немецкого словесного ударения подтверждается на материале простых, производных и сложных слов германского происхождения, а также в фонетически "онемеченных" заимствованиях.

Очевидно, что для немецкого языка при определении характера словесного ударения целесообразным будет дифференцированный подход: а) для простых слов; б) для сложных и производных слов. Противопоставление главного и второстепенного ударений с учетом фонологизации значения встречается только в сложных и производных словах. Для простых слов, если это противопоставление и имеет место, то оно фонологически незначимо.

Имеются также данные о частоте встречаемости слов немецкого языка определенных ритмических структур в речи. Так, например, Л.А. Прокоповой получены следующие данные в результате анализа выборки в 6048 слов [Проколова 1973].

В первой тысяче слов наиболее частотным оказалось двусложное слово – 48%, в то время как в следующих по частотности 5000 слов двусложное слово наравне с трехсложным выступали как наиболее частотные в 38%. Односложное слово в первой тысяче слов (малой выборке) занимает второе место – 27%, вытесняя трехсложное слово на третье место – 23%, а в большой выборке перемещается на четвертое место, то есть его частотность падает. Такое распределение обусловлено тем, что наиболее частотный лексический пласт представляет ядерную лексику: самые употребительные одно- и двухсложные слова преимущественно германского происхождения, в то время как менее частотные лексические пласты состоят из слов со сложной структурой иного происхождения.

В качестве экспериментальной базы для нашего исследования использованы результаты анализа слов немецкого языка на материале словаря Duden, Die deutsche Rechtschreibung (1996 г.) общим объемом более 115 000 слов. Для исследования были отобраны все простые слова германского происхождения. Этот выбор объясняется тем, что слова с германской этимологией представляют наибольший интерес для исследования, позволяя установить некоторые тенденции в распределении акцентных структур слов немецкого языка. Цель исследования заключалась в выявлении акцентных моделей исследуемых слов и определении их частотности на базе указанного словаря. Акцентные модели рассматриваются как парадигматические, так и синтагматические, так как представляют собой структуры, дающиеся в словаре и модифицирующиеся в слитной речи.

Полученные данные представляются необходимыми для дальнейших экспериментальных исследований ритмической структуры немецкой звучащей речи, а именно синтагматических вариантов данных моделей.

В общей сложности выявлено 11 079 слов, соответствующих установленным требованиям. В результате анализа получены результаты [Потапов 1996], изложенные в табл. 6.

Среди простых слов германского происхождения наибольшую группу образуют в немецком языке двусложные слова, составившие около 65% от всего массива слов.

Слоговая структура простых немецких слов
(по данным словаря)

Частотность	Количество слогов					
	1	2	3	4	5	6
Абсолютная	1502	7155	2097	240	83	2
Относительная (в %)	13,56	64,58	18,93	2,17	0,75	0,02

Таблица 7

Частотность акцентных моделей (по данным словаря)

Частотность	Акцентная структура					
	1/1	2/1	2/2	3/1	3/2	3/3
Абсолютная	1502	7051	104	1522	171	404
Относительно слов данной слоговой модели	100	98,55	1,45	72,58	8,15	19,27
Относительно общего количества слов	13,56	63,64	0,94	13,74	1,54	3,65

Частотность	Акцентная структура				
	4/1	4/2	4/3	4/4	5/1
Абсолютная	160	47	23	10	69
Относительно слов данной слоговой модели	66,67	19,58	9,58	4,17	83,13
Относительно общего количества слов	1,44	0,42	0,21	0,09	0,62

Второе место занимают трехсложные структуры, за ними следуют односложные слова. Структуры, состоящие из четырех, пяти или шести слогов встречаются в словаре значительно реже. Также получены данные по различным видам и распределению акцентных структур немецкой лексики. Выявлены 17 типов акцентных структур немецких слов. Наиболее распространенные из них имеют следующую частотность (акцентная модель условно записывается в виде дроби, в которой число слогов представлено в виде числителя, а номер ударного слога – в виде знаменателя [Потапов 1996]).

Наиболее широко представлены акцентные структуры 2/1, 3/1, 4/1 и 5/1, то есть все те, где главное ударение падает на первый слог. Действительно, если суммировать эти данные, окажется, что 91,9% слов (то есть 8802 слова) имеют начальное ударение (при условии исключения из рассмотрения односложных слов).

Нужно отметить, что эти данные в большинстве случаев совпадают с результатами исследований, проведенных ранее [Menzerath 1954; Потапова 1986; Потапов 1996; Гуревич 1975; 2000].

Как указывалось выше, основой экспериментального исследования послужили слова германского происхождения, одну часть из которых образуют производные слова, другую – сложные слова. Из рассмотрения были исключены слова негерманского происхождения ввиду того, что для них нет единых правил постановки ударения¹, которые

¹ Так, например, в словах негерманского происхождения позиция ударного слога изменялась: первонач-

определяются в каждом конкретном случае тем, из какого языка данное слово заимствовано, когда это произошло, каков его морфемный состав и т.д. Постановка ударения в словах германского происхождения подчиняется следующему общему правилу: ударение всегда стоит либо на корневой морфеме, либо на первом слоге корня [Stock 1996]. Исключения составляют некоторые слова с префиксами и аффиксами, несущими главное ударение. Сложные слова образуют значительную часть лексики немецкого языка: чаще всего встречаются двусоставные, несколько реже – трехсоставные слова. Существуют также слова, включающие четыре, пять и даже шесть корневых морфем. Постановка главного ударения в них зависит от того, являются ли эти образования детерминативными (одна из частей является определением или уточнением другой) или копулятивными (состоят из равноправных частей). В первом случае главное ударение стоит на определяющем элементе, во втором – на последнем.

Для исследования были выбраны слова, отражающие различные варианты парадигматической акцентуации: например, *Nachbarschaft*, *Unterricht*, *Buchstaben*, *angenehm*, *Zwecklosigkeit*, *leidenschaftlich*, *Abenteuer*, *Notwendigkeit*, *Arbeitslosigkeit*, *Altertümer*, *Mittelmeerländer*, *Feiertagsstimmung*, *Schreibtischlampe*, *Bienenwachskerzen*, *Vogelschutzgebiet*, *Butterbrotpapier*, *Weltklassesportler*, *Mundartenforschung*, *Werbefachmann*, *Landeshauptstadt*. В качестве примеров следует привести следующий экспериментальный материал:

1. Die ganze **Nachbarschaft** hörte das Kind schreien.

Um Mitternacht erweckte das Kind die ganze Nachbarschaft durch sein Schreien.

Das Schreien des Kindes erweckte die ganze Nachbarschaft.

2. Der **Unterricht** hat gestern genau um 9 Uhr begonnen.

Gestern hat mein Unterricht genau um 9 Uhr begonnen.

Ab 9 Uhr hatte ich gestern Unterricht.

3. Sie sollen diese Zahl in **Buchstaben** schreiben.

Deine Buchstaben sind leider nicht zu entziffern.

Dieser Richter halt sich sehr an den Buchstaben.

4. Nicht sehr **angenehm** fand ich seine Aussagen über unsere gemeinsamen Bekannten.

Nach dem Gewitter wurde es angenehm frisch und still draußen.

Ihr Besuch ist uns jederzeit sehr angenehm!

5. Die **Zwecklosigkeit** unserer Bemühungen betrückte uns sehr.

Wir sahen die Zwecklosigkeit unserer Bemühungen ein.

Der einzige Nachteil unserer Bemühungen war ihre absolute

Zwecklosigkeit.

Те предложения, в которых интересующие нас слова занимали срединную позицию, были помещены в тексты, состоящие из нескольких предложений. Например:

An jenem Abend ging alles schief. Heike wurde gebeten, am Nachmittag auf den Jungen aufzupassen, aber seine Eltern schafften dann nicht mehr, rechtzeitig zurückzukehren, sie sollte ihn bei sich unterbringen. Um Mitternacht weckte das Kind die ganze **Nachbarschaft** durch sein Schreien, er fühlte sich unwohl, er wollte nach Hause. Heike war ganz ratlos.

Таким образом был получен экспериментальный материал, где на каждое слово имелось пять различных вариантов произносительной реализации. Дикторам-носителям немецкого языка ($N_1 = 6$) было предложено прочитать отдельные предложения, изолированные слова и тексты, а затем пересказать эти тексты, употребляя исследуемые слова.

На следующем этапе исследование² включало слуховой анализ с участием носителей языка ($N_2 = 6$), не являющихся специалистами в области фонетики. Для этих целей был составлен специальный материал на базе компьютерной программы исследования и редактирования звукового сигнала (MSLU версия 1.02). Задача анализа

чально *Holunder*, *Wacholder*, *Fogelle*, а затем *Holzunder*, *Wacholder*, *Fogelle* [Stötzer 1989].

² В данном исследовании принимала участие Е. Редькина.

заклучалась в слуховой сегментации исследуемых слов, которые ранее были переписаны на звуковой носитель в произвольном порядке. Слова-стимулы ($t_{\Sigma} = 30 \text{ min}$) предъявлялись аудиторам для последующего слухового анализа. Аудиторы должны были прослушать слово-стимул желаемое число раз; разделить предъявляемое слово-стимул на слоги; определить темп произнесения (очень быстрый, быстрый, средний, медленный, очень медленный); выделить слог, на который падает главное ударение; описать просодические признаки выделенности данного слога (мелодика, громкость, длительность); определить слог, на который падает второстепенное ударение; описать признаки выделенности данного слога (мелодика, громкость, длительность); определить слог, несущий ударение третьей степени; определить признаки выделенности вышеуказанного слога (мелодика, громкость, длительность); определить слог (слоги); имеющий нулевую степень ударения. Полученные результаты были обработаны и занесены в базу данных "Microsoft Access-97", что позволило их обобщить и получить на этой основе первичные представления о перцептивном восприятии ритмического оформления немецкой звучащей речи, как подготовленной, так и квазиспонтанной.

Попытаемся сравнить данные, полученные в ходе эксперимента, с правилами постановки ударения в многосложных словах, описанными в ряде источников по фонетике немецкого языка [Норк, Адамова 1974; Хицко, Богомазова 1994; Stock 1996].

Главное ударение в большинстве случаев определено на слуховом уровне в соответствии с имеющимися правилами и зафиксировано аудиторам на первом слоге исследуемых слов. Исключение составили следующие слова:

Notwendigkeit: аудиторам определено, что один из дикторов в 100% случаев выделил в качестве ударенного второй слог. То же самое сделали двое других дикторов в тексте и квазиспонтанной речи, четвертый диктор употребил этот вариант только в квазиспонтанной речи. Наблюдались случаи, когда главное ударение стояло на втором слоге даже при изолированном произнесении данного слова.

Schreibtischlampe: при восприятии фиксировались случаи, когда в конце изолированно прочитанного предложения и в квазиспонтанной речи главное ударение в данном слове стояло на третьем слоге.

Bienenwachskerzen: в середине и конце предложения наиболее акцентированным в некоторых реализациях оказался четвертый слог.

Weltklassesportler: имелись случаи, когда в тексте, состоящем из ряда предложений, главное ударение в данном слове стояло на втором слоге.

Следует отметить, что в соответствии с нормой немецкого произношения, зафиксированной в словаре "Duden. Aussprachewörterbuch", оба варианта произнесения слова *Notwendigkeit* с главным ударением на первом или на втором слоге являются правильными. Характерно, что вариант со вторым главноударным слогом, представляющийся более редким, встречается прежде всего в квазиспонтанной речи или при чтении текста. То же самое наблюдается для слов *Schreibtischlampe* и *Weltklassesportler*.

Таким образом, носителями немецкого языка допускается варьирование ритмического оформления сложных слов прежде всего в условиях изменения вида речевой деятельности.

Обратимся к просодическим признакам, которые характеризуют главное ударение. Аудиторам было предложено определить, выделен ли слог с помощью какой-то одной просодической характеристики (мелодики, длительности, громкости) или комбинации всех трех характеристик.

При изолированном произнесении сложных немецких слов главноударный слог выделялся на слуховом уровне в большинстве случаев с помощью сочетания мелодики и длительности, в полтора раза реже с помощью одной мелодики, очень редко – с помощью длительности. Во всех остальных случаях мелодика играет главную роль, причем в наибольшей степени она релевантна для слов, локализованных в середине предложений, тексте и употребляемых при его пересказе. Значительно реже мелодика как самостоятельный признак выделенности определяется для начала предложения. Для этой позиции характерна выделенность слога с помощью сочетания мелодики

с длительностью. Во всех других случаях такое сочетание используется намного реже.

Результаты восприятия двух ведущих характеристик главного ударения (мелодики и сочетания мелодики с длительностью) с учетом позиции, в которой находится произносимое слово, распределены следующим образом (по степени убывания частоты встречаемости):

мелодика: середина предложения, конец предложения, текст, квазиспонтанная речь, начало предложения, изолированное слово;

сочетание мелодики и длительности: изолированное слово, текст, начало предложения, конец предложения, середина предложения, квазиспонтанная речь.

Тот факт, что квазиспонтанная речь в обоих случаях не занимает начальных ранговых мест, объясняется, по-видимому, тем, что здесь значительную роль играет еще один способ оформления главного ударения: сочетание мелодики, длительности и громкости (5,8% случаев).

Анализ данных по восприятию типа мелодического контура в рамках главноударного слога сложных слов (является ли он восходящим или нисходящим в зависимости от позиционного варьирования слова-стимула) позволило сделать следующие выводы.

Изолированные слова в три раза чаще воспринимались с восходящим мелодическим контуром на главноударном слоге, чем с нисходящим, что, вероятно, обусловлено наличием элемента перечисления. В начале предложения в большинстве случаев воспринимался восходящий контур, в середине предложения разница между частотой появления обоих типов контура уменьшается. В конечной позиции в два раза чаще отмечена нисходящая направленность мелодики. Для текста результаты практически идентичны данным, характеризующим середину предложения, и это понятно, так как позиция слова внутри самого предложения не изменилась. Что же касается квазиспонтанной речи, то полученные данные схожи с мелодическим контуром для середины предложения и прочитанного текста. Однако в этом случае данное наблюдение нельзя объяснить только позицией анализируемого слова, потому что при пересказе она может быть любой. По данным анализа восходящий контур встречается в квазиспонтанной речи в 67,9% случаев.

Таким образом, в ходе проведения слухового анализа было установлено следующее:

1. Наблюдаются единичные случаи смещения главного ударения на слог, потенциально несущий ударение второй или третьей степени. Это происходит в ситуациях, наиболее приближенных к естественному непринужденному общению.

2. Наиболее важными перцептивными признаками выделенности главноударного слога немецких сложных слов являются мелодический контур и длительность, а также их сочетание. Длительность играет ведущую роль в оформлении изолированно прочитанных слов, в остальных случаях доминирует мелодика.

3. Как и предполагалось, восходящий мелодический контур в главноударных слогах характерен в наибольшей степени для начальной позиции, а также для чтения изолированных слов и тех же слов в срединной позиции.

Применительно к описанию второстепенного ударения в общей сложности большей частью аудиторов второстепенное ударение выделено в 62,3% случаев, остальными — лишь в 30% случаев.

Фиксировалось несколько типов смещения второстепенного ударения по сравнению с правилами произносительного стандарта:

1. *Arbeitslosigkeit, Mittelmegrländer, Feiertagsstimmung, Bienenwachskerzen, Vogel schutzgebiet, Butterbrotpapier.*

Во всех этих словах наряду с требуемой согласно канонам стандарта постановкой второстепенного ударения в некоторых случаях аудиторами отмечен слог, который должен был бы нести ударение третьей степени. Такой вариант вполне объясним с точки зрения общих свойств немецкого речевого ритма. В квазиспонтанной речи замечена тенденция к подчеркиванию каждого второго слога, то есть ударение обычно распределяется как бы "через один" слог. Поэтому логично, что второстепенное ударение

в данных примерах попало именно на слог, расположенный через один от главноударного.

2. *Nachbarschaft, Zwecklosigkeit, Weltklassetportler, Mundartenforschung.*

С одной стороны, этот случай похож на предыдущий, так как второстепенное ударение стоит на слоге, выделяющемся согласно правилам ударением третьей степени. Отличие же состоит в том, что здесь второстепенное ударение получает второй слог, что не вполне соответствует принципу ритмического оформления немецкой речи. Возможно, это связано с тем, что оба выделенных слога составляют вместе слово, выполняющее роль определяющего компонента в сложносоставном слове (соответственно *Nachbar, zwecklos, Weltklasse, Mundarten*).

3. *Leidenschaftlich, Werbefachmann, Landeshauptstadt.*

В этих словах второстепенное ударение в ряде случаев воспринималось на последнем слоге слова. С точки зрения ритмического оформления это возможно, так как второй слог в каждом из этих слов очень краток и может редуцироваться. Таким образом, выделяется слог, находящийся на расстоянии двух слогов от предыдущего ударного. Следует напомнить, что суффикс *-lich* является тяжелым суффиксом, а слоги, несущие рассматриваемое ударение в двух других словах, самостоятельными словами, что также могло повлиять на их выделенность. Кроме того, существует тенденция к удлинению конечного слога [Потанова 1986], что также может восприниматься как выделенность.

4. *Notwendigkeit, Schreibtischlampe, Bienenwachskerzen.*

Второстепенное ударение переместилось на тот слог, который несет главное ударение.

Из перечисленных видов отклонений от зафиксированного в правилах произношения в 30% всех случаев имеет место первый тип постановки второстепенного ударения. Если же суммировать все случаи, когда второстепенное ударение падает на слог, несущий по правилам ударение третьей степени, то они составят 81,5% всех случаев. Если мы соотнесем случаи постановки второстепенного ударения не по правилам стандарта с позицией, в которой находятся данные слова, то получим следующие результаты: изолированное слово – 20,3%; квазиспонтанная речь – 37,3%; начало предложения – 8,5%; середина предложения – 11,9%; конец предложения – 11,9%; текст – 10,2%. Таким образом, наибольшее число случаев смещения второстепенного ударения приходится на квазиспонтанную речь.

Все отклонения от парадигматических правил можно разделить на две группы:

1. *Nachbarschaft, Zwecklosigkeit, Arbeitslosigkeit, Feiertagsstimmung, Schreibtischlampe, Bienenwachskerzen, Vogelschutzgebiet, Butterbrotpapier, Weltklassetportler, Mundartenforschung.*

Второстепенное ударение стоит на том слоге, на котором должно было бы стоять ударение третьей степени. Это происходит в 52,9% случаев.

2. Во всех остальных случаях второстепенным ударением отмечен второй слог (в слове *Notwendigkeit* – третий), который по всем правилам должен был бы быть безударным и, более того, гласный слога мог бы редуцироваться. Такая локализация второстепенного ударения встречается в 47,1% случаев.

В зависимости от различных позиций данные располагаются следующим образом: 15,7% случаев связано с прочтением изолированных слов, 19,8% – тех же слов в начале предложений, 13,2% – в середине предложений, 17,4% – в конце предложений, 15,7% – в текстах и 18,2% – с пересказом этих текстов. Таким образом, явление рассматриваемых отклонений распределено на всей выборке довольно равномерно.

Рассмотрение распределения просодических характеристик выделенности на слуховом уровне в зависимости от позиции показало, что мелодика играет ведущую роль по сравнению с длительностью.

Таким образом, на материале данных слухового анализа можно сделать следующие выводы:

1. Реализация второстепенного ударения в ритмическом оформлении немецкой звучащей речи – далеко не фикция. В ходе перцептивного анализа оно было выделено в 45% случаев. Иными словами, сам факт актуализации второстепенного ударения в немецких сложных словах в определенном числе случаев не вызывает сомнения.

2. Вместе с тем локализация второстепенного ударения далеко не всегда определяется аудитором в соответствии с парадигматическими нормами немецкого языка, зафиксированными в словарях (55%).

3. Большую часть несоответствий составляют случаи, когда второстепенное ударение (ударение второй степени) смещается на слог, несущий по правилам немецкого произносительного стандарта ударение третьей степени. Частично подобное смещение ударения может быть объяснено общими правилами ритмического оформления немецкой звучащей речи, что подтверждает данные, полученные Эссенем (см. ранее приведенный пример *Landbriefträger*, где ударение второй степени смещено на слог, который должен был бы нести ударение третьей степени). Данное смещение связано не столько с морфемной структурой слова, сколько со спецификой немецкого речевого ритма: морфемы, несущие в самостоятельном слове полное ударение, теряют его, как только попадают в структуру сложного слова.

4. Ведущим восприимчивым просодическим признаком выделенности слога, несущего второстепенное ударение, является мелодический контур, который в большинстве случаев совпадает с типом мелодического контура главного ударения, как бы повторяя его.

В целом эксперимент показал, что в немецком языке второстепенное ударение наряду с главным играет важную роль в ритмическом оформлении звучащей речи. При этом фиксированность второстепенного ударения на определенном слоге сложного слова в реальной речи не всегда соблюдается, и чем естественнее условия коммуникации, тем больше вероятность смещения.

Представляется очень важным, что второстепенное ударение в большинстве случаев перемещается на тот слог, который по правилам должен был бы нести ударение третьей степени. Иными словами, речь идет не об абсолютно новой и непредсказуемой локализации второстепенного ударения, а о смещении его на слог, потенциально тоже являющийся ударным, но в меньшей степени. Отклонение от норм постановки ударения третьей степени констатировалось аудитором в 54% случаев.

Основными просодическими признаками, характеризующими выделенность слога, оказались по результатам слухового эксперимента мелодический контур, длительность и сочетание этих двух признаков. Причем, если в случае реализации главного ударения длительность играет довольно значительную роль, то для реализации ударения второй и третьей степеней она становится практически нерелевантной.

Для акустического анализа из общего массива слов, составивших экспериментальный материал исследования, были отобраны только те слова, в которых локализация второстепенного ударения аудитором определялась как не совпадающая с парадигматической нормой немецкой фонетики.

Акустический анализ проводился с помощью компьютерной программы исследования и редактирования звукового сигнала (MSLU версия 1.02). Каждое слово было представлено 24-мя реализациями: шесть различных вариантов произнесения слова в зависимости от вышеуказанных условий позиционного варьирования для двух видов речевой деятельности: чтения и говорения. Измерения проводились на потенциально ударных гласных, то есть на тех, которые в соответствии со сложившейся структурой акцентуации в немецком языке могут нести ударение той или иной степени. Таким образом, из исследования исключались редуцированные гласные.

Акустический анализ включал измерение: а) временных характеристик (общая длительность слова; длительность гласного); б) мелодических характеристик (начальная, конечная, максимальная, средняя ЧОТ на гласном (в ГЦ); диапазон изменения ЧОТ на

гласном (в полутонах)); в) уровень интенсивности (начальная; конечная; максимальная интенсивность на гласном, скорость нарастания интенсивности на гласном, средняя интенсивность на гласном). Все численные характеристики заносились в базу данных, сформированную в СУБД "Microsoft Access-97".

Применительно к главноударному слогу рассмотрено 197 различных случаев реализации слов. Ведущими просодическими характеристиками в оформлении главного ударения можно считать временную характеристику и интенсивность, в то время как частотная характеристика оказалась вариативной, зависящей от контекста. В 115 случаях, составляющих 60% от всего исследуемого материала, можно определить локализацию главного ударения на том или ином слоге, опираясь прежде всего на численные данные по длительности гласных и интенсивности. При этом главное ударение падает на 1-й слог (81,7%); на 2-й потенциально ударный слог (14,8%).

Просодические характеристики на участке выделенного главным ударением слога приобретают максимальные значения.

Сравнение данных слухового и акустического видов анализа позволило констатировать следующее: в большинстве случаев аудиторы определяли первый слог сложного слова как слог, несущий главное ударение. Лишь в незначительном числе случаев по данным аудиторов главное ударение было смещено на другой слог. В 61,1% эти данные полностью подтвердились в ходе акустического анализа.

В ходе акустического анализа гласных в рамках слогов, выделенных аудитором в качестве слогов с второстепенным ударением, опорными являлись следующие параметры просодических характеристик: длительность гласного; средняя ЧОТ на гласном; диапазон ЧОТ на гласном (в полутонах); средняя интенсивность и максимальная интенсивность на гласном; скорость нарастания интенсивности на гласном. Некоторые из этих параметров оказались существенными лишь в отдельных случаях. К ним относится, например, диапазон ЧОТ на анализируемом гласном, а также разность между средними значениями ЧОТ на соседних гласных в пределах одного слова. Последний параметр учитывался лишь в том случае, когда разность между рассматриваемыми значениями ЧОТ составляла один полутон и более.

Применительно к второстепенному ударению в общей сложности исследованы 192 случая реализации сложных слов. В каждом конкретном случае сравнивались значения одного и того же просодического параметра на гласных, каждая из которых потенциально могла нести второстепенное ударение. Данные свидетельствуют о том, что ударение второй степени акустически наиболее выделено в тексте, середине предложения и при изолированном произнесении слов. В этих случаях значения максимального числа просодических параметров подтверждают тот факт, что этот тип ударения индицируется акустической выделенностью слога. Наименее явно второстепенное ударение актуализируется в конце предложения. В качестве примера рассмотрим каждое из анализируемых слов с целью определения возможных вариантов реализации в них второстепенного ударения (Табл. 8).

Лишь в отношении одного слова можно сказать, что дикторами был реализован единственный вариант постановки ударения второй степени. Этим словом оказалось *Féiertagsstimmung*. Акустический анализ показал, что в 100% случаев это ударение реализовано на третьем из слогов.

В слове *Landeshauptstadt* второстепенное ударение почти в четыре раза чаще стоит на третьем слоге, чем на втором. В слове *Notwendigkeit* – в два раза чаще. Примерно равно соотношение двух различных способов постановки ударения второй степени в словах *Butterbrotpapier* и *Werbefachmann*, хотя по-прежнему чаще оказывается выделен тот слог, который и должен нести рассматриваемое ударение в соответствии с парадигматическими правилами немецкой фонетики.

В нижеследующих словах преобладает второй вариант постановки второстепенного ударения, не нашедший отражения в практических руководствах по фонетике немецкого языка: *Mundartenforschung*, *Vogelschutzgebiet*, *Zwecklosigkeit*.

Сравнение данных акустического анализа, характеризующих реализацию второ-

**Варианты акустической реализации второстепенного ударения
(данные представлены выборочно)**

слово	реализация по парадигматическим правилам		реализация в синтагматике	
	порядковый номер выделенного слога	частота встречаемости	порядковый номер выделенного слога	частота встречаемости
<i>Mündartenforschung</i>	4	5	2	7
<i>Büttterbrotpapier</i>	5	6	3	4
<i>Werbefächmann</i>	3	8	4	6
<i>Ländeshauptstadt</i>	3	11	4	3
<i>Féiertagsstimmung</i>	4	15	3	0
<i>Nótwendigkèit</i>	4	6	2	3
<i>Zwécklosigkèit</i>	4	2	2	8
<i>Vógelchutzgebiet</i>	5	4	3	15

Таблица 9

Сопоставление данных слухового и акустического видов анализа по определению локализации второстепенного ударения

Позиция	Определение второстепенного ударения		
	подтв.	не подтв.	соотношение
изолированная	10	6	1,7:1,0
начало предложения	8	4	2,0:1,0
середина предложения	9	5	1,8:1,0
конец предложения	5	5	1,0:1,0
текст	8	6	1,3:1,0
квазисп. речь	10	3	3,0:1,0

степенного ударения, с данными, полученными в ходе слухового анализа, показало, что второстепенное ударение выявлено аудитором в 41% случаев. Из всех рассмотренных вариантов реализации в ходе акустического анализа подтверждено 63,3% случаев с вероятностью не менее 75%.

Таблица 9 иллюстрирует данные, полученные в ходе выявления второстепенного ударения аудитором в зависимости от позиции, в которой стоит слово-стимул, и в ходе акустического анализа.

Таким образом, вне зависимости от тех позиций, в которых появляются рассматриваемые слова, не менее чем в половине случаев ударение второй степени выявлено правильно, что подтверждается физическими характеристиками речевого сигнала. Как указывалось ранее, наиболее регулярно место локализации второстепенного ударения определялось аудитором при появлении слов-стимулов в к в а з и с п о н т а н н о й р е ч и. Далее следуют данные в порядке убывания: начало предложения; середина предложения; изолированная позиция; текст; конец предложения. Обратившись к данным сопоставительного характера, можно проследить наличие несколько иной картины: наиболее четко, то есть благодаря взаимодействию наибольшего числа параметров, второстепенное ударение выделяет тот или иной слог слова при его реализации в изолированной форме, а также в середине предложения и тексте, что совпадает с выводами относительно выделенности главного ударения в слове.

Таким образом, данные, полученные в ходе акустического анализа подтвердили предположение, что применительно к синтагматике в сложных немецких словах можно говорить о различных вариантах постановки второстепенного, а в отдельных случаях и главного ударения³.

³ Наши результаты подтверждают данные, полученные Р. Рауш [Rausch 2001], согласно которым наблюдаются значительные расхождения в ритмическом оформлении сложных слов в немецком языке (например, даже для восточнонемецкого и западнонемецкого вариантов: *Bürgermeister* – *Bürgeméister*)

Для реализации главного ударения в словах, послуживших материалом для исследования, в качестве базовых просодических характеристик выступают длительность и интенсивность, в то время как частота основного тона значительно более вариативна и не может однозначно свидетельствовать о постановке главного ударения на том или ином слоге. По данным акустического анализа главное ударение в 80% случаев фиксируется на первом слоге сложного слова, что представляется весьма весомым фактом. Однако нельзя говорить о том, что локализация главного ударения абсолютно соответствует существующим фонетическим правилам, поскольку в 20% случаев выявлено смещение ударения первой степени на слог, потенциально несущий ударение второй или третьей степени. Варианты постановки главного ударения, отличающиеся от существующих парадигматических норм, приходятся в основном на следующие позиции слов: в тексте, в квазиспонтанной речи, в середине предложения.

В ходе анализа просодических характеристик слогов с второстепенным ударением оказалось, что лишь чуть более чем в половине случаев (с вероятностью как минимум 75%) можно говорить о наличии второстепенного ударения, которое реализуется в соответствии с фиксированными правилами. В остальных случаях второстепенное ударение смещено на один из оставшихся потенциально ударных слогов. Наиболее часто отклонение от нормированного произношения немецких сложных слов, а именно смещение второстепенного ударения, встречается в следующих случаях локализации слов: изолированное произнесение, середина и конец предложения, что частично совпадает с данными, полученными в отношении реализации главного ударения.

Для реализации акустической выделенности как главного, так и второстепенного типов ударения наиболее индикативными оказались позиции слова в тексте, в середине предложения, а также при изолированном произнесении. В этих случаях максимальное число различных просодических параметров принимает наибольшее численное значение.

В ходе акустического анализа данные audиторы в отношении локализации главного ударения в абсолютном большинстве случаев подтвердились. Слог, несущий второстепенное ударение, был определен правильно в 63% случаев (с вероятностью от 75 до 100% в зависимости от позиционного варьирования). Наиболее индикативными для распознавания этого вида ударения оказались следующие условия реализации слов: в квазиспонтанной речи, в начале и середине предложения, а также в изолированной позиции.

Проведенный эксперимент показал, что **в немецком языке система ударений в рамках сложного слова варьирует в синтагматике по сравнению с парадигматикой и второстепенное ударение наряду с главным играет важную роль в ритмическом оформлении звучащей речи, что было подтверждено данными слухового анализа.** Главное ударение в большинстве случаев закреплено за первым слогом сложного слова. Однако выявлены единичные случаи смещения его на один из слогов, потенциально несущих ударение второй или третьей степени в соответствии со сложившейся структурой акцентуации немецких слов.

В процессе исследования обнаружено, что закрепление второстепенного ударения на определенном слоге сложного слова не всегда соблюдается в реальной речи, и чем естественнее коммуникация, тем больше вероятность синтагматического смещения. Большую часть несоответствий составляют случаи, когда второстепенное ударение стоит на слоге, несущем по правилам немецкого произношения ударение третьей степени. Можно говорить не об абсолютно новой и непредсказуемой локализации второстепенного ударения, а о смещении его на слог, потенциально являющийся ударным. В ряде случаев такая постановка ударения может быть объяснена общими правилами ритмического оформления немецкой звучащей речи.

Данные перцептивного анализа позволяют предположить, что носители языка воспринимают смещение второстепенного ударения на слог, несущий ударение

третьей степени, как допустимый вариант акцентуации сложных слов немецкого языка.

Акустический анализ экспериментального материала показал, что в формировании ударения как первой, так и второй степени принимает участие целый комплекс просодических характеристик. Наиболее вариативной характеристикой, зависящей от того контекста, в котором реализовано слово, является частота основного тона.

Полученные результаты согласуются с выводами, полученными ранее [Потапов 1998: 38–39], согласно которым исследование ритмической структурированности в синхронии для всех анализируемых языков подтвердило факт наличия вариативности просодического оформления многосложных ритмических структур РС, образующих маргинальный массив РС. В ряде случаев изменение соотношения по маркированности/немаркированности ударением ведет к возникновению новых РС, что влияет на интегративный рельеф речевого ритма. Своеобразная "игра" маркированных и немаркированных ударением членов оппозиции в рамках РС (в плане содержания) и специфика просодического оформления этих РС (в плане выражения) ведут к относительной вариативности речевого ритма в синтагматике по сравнению со схемой РС в парадигматике. Эта вариативность находится в каузальной зависимости от синтактико-семантических и стилистических факторов построения звучащего текста, что может быть выявлено только на уровне фразовой просодии. В основе всякого речевого построения, как письменного, так и устного, находится система правил, образующих своего рода *каркас, ведущим признаком которого применительно к ритму нестиховой речи является его гибкость, эластичность. С одной стороны, возможна вариативность, с другой стороны, эта вариативность ограничена определенными правилами, несоблюдение которых ведет к возникновению помех и искажений в ритме речи на том или ином языке.*

Исследование показало [Потапов 1998], что:

– с общенаучных позиций речевой ритм – неотъемлемая часть проявления общего закона распределения и функционирования каких-либо элементов в пространстве и времени, образующих системно-структурное единство более сложного иерархически организованного целого (объекта, явления, процесса);

– исследование речевого ритма в диахронии является ключом к пониманию современного состояния данного феномена в синхронии;

– специфика речевого ритма функционально связана с аспектами его рассмотрения в парадигматике и синтагматике;

– наиболее существенные сдвиги в динамике речевого ритма являются результатом дискретного перехода от одного состояния к другому на основе фонологических, акцентологических и грамматических изменений языка, при которых количество инноваций переходит в новое качество интегративных характеристик ритма;

– развитие речевого ритма в исследуемых языках детерминировано процессом, при котором свободное, подвижное индоевропейское словесное ударение было утрачено в германских языках и осталось в ряде славянских языков;

– значительное влияние на интегративный рельеф речевого ритма в том или ином языке оказывает специфика его грамматического строя;

– реализация речевого ритма соотносится с функционированием диалектических категорий общего (общезыкового), особенного (подсистемно-языкового) и единичного (индивидуального);

– функционирование речевого ритма в тексте может быть представлено как комбинаторика оппозиций с элементами варьирования маркированных (ударных) и немаркированных (безударных) членов оппозиций;

– ритм нестиховой (прозаической) речи можно интерпретировать как способ актуализации речевой материи, характеризующейся квазирегулярной повторяемостью иерархически сопряженных элементов (звуков, слогов, ритмических структур, синтагм) и их соответствующей фонетической экспликацией;

- интегративный ритмический рельеф конкретного языка находится в прямой зависимости от частотности и характера взаимосвязи (конкатенации) функционирующих ритмических структур;
- речевой ритм конкретного языка и его фонетическая экспликация характеризуются наличием каузальной зависимости от физиологических (моторных, фонационных и артикуляторных), психических, физических, социальных, этнических факторов, присущих процессам развития языкового коллектива в филогенезе;
- понятие речевого ритма является компонентом понятия интонации, образуя *гибкий пространственно-временной каркас последней*;
- речевой ритм может быть рассмотрен в двух аспектах: в плане содержания и плане выражения, при этом акцентно-структурная специфика ритма образует план содержания, а фонетическая (просодическая и спектрально-временная) экспликация – план выражения;
- фонетическая экспликация речевого ритма находится в зависимости от синтактико-семантических и стилистических факторов, однако степень этого влияния вариативна;
- ритмический каркас нестиховой речи по своей природе не является абсолютно жестким и характеризуется *относительной гибкостью со многими степенями свободы*, однако полный отход от реализации этого ритмического каркаса ведет к своего рода аритмии речи (например, в случаях патологии и различного рода речевых нарушений, при овладении фонетикой иностранного языка и т.д.);
- наиболее информативным источником для изучения речевого ритма является звучащий текст с учетом разных типов речевой деятельности;
- контрастивное исследование речевого ритма дает возможность выявления типологически релевантных признаков и универсалий в данной области знаний;
- развитие речевого ритма подвержено действию центростремительных и центробежных сил, благодаря чему реализуется *относительное равновесие между базовыми (доминирующими) и маргинальными ритмическими структурами*;
- многоаспектное исследование речевого ритма в диахронии и синхронии, парадигматике и синтагматике может способствовать дальнейшей разработке проблемы с позиций прогнозирования тенденций развития речевого ритма применительно к конкретному языку и/или группе языков [Потапов 1998; 2001].

Подтверждение всем этим предположениям мы находим, в частности, в исследовании ритмической структурированности сложных слов немецкого языка.

Таким образом, вряд ли корректно интерпретировать природу немецкого речевого ритма нестиховой речи исключительно с позиции акцентосчитающей или слогосчитающей изохронии [Шамакова 1998]. Изучаемое явление само по себе намного сложнее, чем это представляется на первый взгляд. Кроме того, в ряде случаев на исследование ритма немецкой речи "давили" результаты известных лингвистов, проведенные на материале английской речи [Антипова 1984; Abercrombie 1967; Halliday 1967 и др.]. В данном случае применительно к ритму немецкой речи можно говорить лишь об э л е м е н т а х как слого-, так и акцентосчитаемости. Причем в последнем случае мы имеем дело скорее с универсалией, связанной с общей программой временной организации речи человека [Потапова 1986].

Проблема овладения ритмом при порождении слитной иноязычной речи связана со специфической интерференцией между ритмическими особенностями звучащей речи для исходного (родного) и целевого (изучаемого иностранного) языков, что находит свое выражение в д е ф о р м а ц и и мелодико-динамико-временной организации речевого высказывания, являющейся следствием неправильной комбинаторики сегментных и супraseгментных характеристик, закрепленных за выделенными участками речевой цели. Ориентация на жесткую ритмическую схему с опорой, например, на такт и/или последовательность тактов как для процесса речепроизводства, так и для процесса речевосприятия не вполне приемлема, ибо полностью исключает основную несущую

составляющую речевой коммуникации – семантику продукта текстовой деятельности. Решение проблемы предполагает учет всех факторов с разной весовой выраженностью применительно к условиям варьирования акта коммуникации. При одних условиях речевой ритм реализуется с близкими к парадигматике характеристиками, при других – с теми или иными синтагматическими отклонениями. Вместе с тем в основе актуализации речевого ритма лежат чисто языковые типологические особенности, специфика речевой экспликации "смысл – текст" в акте коммуникации, а также экстра- и паралингвистические составляющие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Антипина А.М.* 1984 – Ритмическая система английской речи. М., 1984.
- Блохина Л.П., Потапова Р.К.* 1977 – Методические рекомендации. Методика анализа просодических характеристик речи. М., 1977.
- Григорьев Е.И.* 1980 – Фоностилистическая вариативность просодических структур повествования. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск, 1980.
- Гуревич Э.Д.* 1975 – О частотности парадигматических акцентных моделей немецкого слова // Вопросы фонетики и фонологии. Вып. 4. Иркутск, 1975.
- Гуревич Э.Д.* 2000 – Моделирование системы немецкого словесного ударения (опыт экспериментально-фонетического исследования). Дис. ... канд. филол. наук. Иркутск, 2000.
- Евстихова И.М.* 1983 – Дифференциальные признаки фразовых акцентов в нейтральных и эмфатических высказываниях. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1983.
- Завальнюк Л.В.* 1990 – Фразовые акценты в интонационном контуре вопросительности. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1990.
- Зиндер Л.Р., Строева Т.В.* 1957 – Современный немецкий язык. М., 1957.
- Златоустова Л.В., Потапова Р.К., Потапов В.В., Трунин-Донской В.Н.* 1997 – Общая и прикладная фонетика. М., 1997.
- Калиева А.К.* 1992 – Фонетическое слово как единица ритма немецкой звучащей речи. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1992.
- Мирианавили М.Г.* 1994 – Ритмическая организация немецкой звучащей речи. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1994.
- Мосненко З.С.* 1982 – Ритмические характеристики немецкой спонтанной монологической речи. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1982.
- Порк О.А., Адамова П.Ф.* 1974 – Фонетика современного немецкого языка. М., 1974.
- Потапов В.В.* 1993 – Языковая специфика структурно-компонентной актуализации ритма речи // ВЯ. 1993. № 5.
- Потапов В.В.* 1996 – Речевой ритм в диахронии и синхронии. М., 1996.
- Потапов В.В.* 1998 – Контрастивное исследование речевого ритма в диахронии и синхронии. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1998.
- Потапов В.В.* 1999 – К динамике становления вербального ритма // ВЯ. № 2. 1999.
- Потапов В.В.* 2001 – Динамика и статика вербального ритма (славяно-германский языковой ареал). Köln; Weimar; Wien, 2001.
- Потапова Р.К.* 1986 – Слоговая фонетика германских языков. М., 1986.
- Потапова Р.К., Блохина Л.П.* 1986 – Средства фонетического членения речевого потока в немецком и русском языках. М., 1986.
- Потапова Р.К., Линднер Г.* 1991 – Особенности немецкого произношения. М., 1991.
- Потапова Р.К., Прокопенко С.В.* 1997 – К опыту изучения семантико-синтаксической ритмизации текстов художественной прозы // ВЯ. 1997. № 4.
- Прокопова Л.И.* 1973 – Структура слога в немецком языке. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Киев, 1973.
- Рудак Г.И.* 1989 – Акцентирующие частицы в современном немецком языке. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск, 1989.
- Сущинский И.И.* 1991 – Коммуникативно-прагматическая категория "акцентированис" и средства ее реализации в современном немецком языке. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1991.
- Тошов З.Б.* 1978 – Фонетические средства сегментации немецкой спонтанной речи. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1978.

- Грубецкой Н.С.* 1960 – Основы фонологии. М., 1960.
- Хицко Л.И., Богомазова Т.С.* 1994 – Совершенствуйте свое произношение. Практический курс фонетики немецкого языка. М., 1994.
- Черемисина Н.В.* 1982 – Русская интонация: поэзия, проза, разговорная речь. М., 1982.
- Черемисина-Епиколопова Н.В.* 1999 – Законы и правила русской интонации. М., 1999.
- Шангереева Э.Х.* 1975 – Интонация как средство стилистической характеристики текста в современном немецком языке. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1975.
- Шевченко Т.А.* 1975 – Фразовое ударение в немецком языке. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1975.
- Шмакова С.И.* 1998 – Ритмические параметры русской и немецкой звучащей речи (на материале звучащей речи немецкого и русского телеинтервью). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 1998.
- Abercrombie D.* 1967 – Elements of general phonetics. Edinburgh, 1967.
- Auer P., Uhmann S.* 1988 – Silben- und akzentzählende Sprachen // Zeitschrift für Sprachwissenschaft. 1988. 7.
- Auer P., Couper-Kuhlen E.* 1994 – Rhythmus und Tempo konversationeller Alltagssprache // Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. 1994. 96.
- Duden 1990 – Duden. Das Aussprachewörterbuch. Mannheim, 1990.
- Duden 1996 – Duden. Die deutsche Rechtschreibung. Mannheim, 1996.
- Duden 2000 – Duden. Deutsche Orthographie. Mannheim, 2000.
- Essen O. von* 1979 – Allgemeine und angewandte Phonetik. Darmstadt, 1979.
- Halliday M.* 1967 – Intonation and grammar in British English. Den Haag, 1967.
- Jorter N.* 1915 – Rhythmus und Sprache. Berlin, 1915.
- Kohler K.J.* 1982 – Rhythmus im Deutschen // Arbeitsberichte des Instituts für Phonetik. Kiel, 1982. 19.
- Meinhold G.* 1971 – Die Grundordnung sprachrhythmischer Bewegung // Biuletyn fonograficzny. 1971. 12.
- Menzlerath P.* 1954 – Die Architektur des deutschen Wortschatzes. Bonn, 1954.
- Neuber B.* 1998 – Endsilbendehnungen und Tendenz zur temporalen Symmetrie in deutschen Wörtern // Theorie und Empirie in der Sprechwissenschaft. Hanau (Halle). 1998.
- Pheby J.* 1981 – Phonologie: Intonation // Grundzüge einer deutschen Grammatik. Berlin, 1981.
- Pheby J., Eras H.* 1969 – Rhythmische Einheiten im Deutschen // Zur phonetischen und phonologischen Untersuchung prosodischer Merkmale. Berlin, 1969.
- Pike K.* 1945 – The intonation of American English. Ann Arbor, 1945.
- Potapov V.* 1991 – On the rhythmic organization of spoken Czech, Bulgarian and Russian // Phonetica Francofortensia. 1991. 5.
- Potapov V.* 1999 – Der Sprachrhythmus im Russischen und Deutschen (diachronische und synchronische Aspekte) // Phonetica Francofortensia. 1999. 7.
- Potapowa R.K.* 1992 – Das Aussprachewörterbuch des Deutschen. M., 1992.
- Potapowa R.K.* 1995 – Phonetische Besonderheiten der segmentalen Sprechereinheiten des Deutschen (in Bezug auf Vergleichsanalyse der Dauerwerte für deutsche lange und kurze Vokale im Redekontinuum) // Hörgeschädigten Pädagogik. Bd. 36. Heidelberg, 1995.
- Potapowa R.K., Potapov V.V.* 1997 – The typology of dynamic and melodic syllable models for Germanic and Slavic languages // Proceedings of XVIth Conference of linguists. Paris, 1997.
- Rausch R.* 2001 – Einige Bemerkungen zum Wortakzent // Gesprochene Sprache – transdisziplinär. Frankfurt-am-Main. Bd. 5. 2001.
- Stock E.* 1996 – Deutsche Intonation. Leipzig, 1996.
- Stock E.* 1996 – Text und Intonation // Sprachwissenschaft. Bd. 21. Hf. 2. 1996.
- Stock E.* 2000 – Zur Untersuchung und Beschreibung des Sprechrhythmus im Deutschen // Zeitschrift für Angewandte Linguistik. Hf. 32. 2000.
- Stötzer U.* 1989 – Wörter mit variabler Akzentuierung und ihre Wiedergabe in Nachschlagewerken // Entwicklungstendenzen der Sprechwissenschaft in den letzten 25 Jahren. Zum Gedenken an Hans Krech/Hrsg. von E.-M. Krech und E. Stock, Halle/Saale, 1989.
- Trojan F.* 1951 – Sprachrhythmus und vegetatives Nervensystem. Eine Untersuchung an Goethes Jugendlyrik. Wien, 1951.
- Völtz M.* 1994 – Das Rhythmusphänomen // Zs. für Sprachwissenschaft. 10. 1994.
- Zacher O.* 1969 – Deutsche Phonetik. Leningrad, 1969.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2001 г. В.М. АЛПАТОВ

ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИКИ В РАБОТАХ М.М. БАХТИНА 40–60-х ГОДОВ

В очень разнообразном наследии М.М. Бахтина достаточно большое место занимает лингвистическая проблематика. У нас этот аспект деятельности ученого во многом остается в тени, известность М.М. Бахтина как лингвиста не идет ни в какое сравнение с его известностью как литературоведа и философа (при том что за рубежом как раз этому аспекту уделяется значительное внимание). Тем не менее следует рассмотреть и тот вклад, который ученый внес в науку о языке.

Сейчас широко известно участие М.М. Бахтина в написании известной книги "Марксизм и философия языка", изданной в 1929 г. под именем его друга В.Н. Волошинова. Вопрос об авторстве этой книги крайне запутан, как и вопрос об авторстве других сочинений, изданных под тем же именем. Мы не будем здесь его рассматривать, так же как не будем специально подвергать анализу идеи упомянутой книги (далее – МФЯ), поскольку этому вопросу посвящена наша специальная статья [Алпатов 1995]. Однако для нас будет важным сопоставление идей этих сочинений конца 20-х гг. с идеями более поздних работ М.М. Бахтина, составляющих предмет рассмотрения данной статьи. Как мы увидим, несомненна общность проблематики всех этих работ и общность единой концепции, хотя кое-что в ней со временем менялось. Отметим сразу, что такая общность сама по себе никак не проливает свет на авторство спорных текстов. Она естественна и в том случае, если М.М. Бахтин развивал собственные идеи (оформленные им в книгу или доведенные до готового к печати вида соавтором), и в том случае, если он продолжал идеи своего уже покойного друга. А различия вряд ли следует интерпретировать как гипотетическую разницу точек зрения М.М. Бахтина и В.Н. Волошинова: за несколько десятилетий взгляды самого Михаила Михайловича могли измениться.

Из текстов по лингвистике, над которыми М.М. Бахтин работал в Савелове и Саранске, при его жизни был издан лишь один, по времени самый поздний из тех, о которых мы будем говорить: фрагмент о лингвистике и металингвистике, включенный в изданную в 1963 г. книгу "Проблемы поэтики Достоевского" (книга, как известно, являлась переработкой изданной в 1929 г. книги "Проблемы творчества Достоевского", но данный фрагмент появился лишь здесь). Другие тексты, частично издававшиеся посмертно в 70–90-х гг., в наиболее полном виде были опубликованы в вышедшем в 1996 г. пятом томе пока еще не завершеного собрания сочинений М.М. Бахтина; на это издание мы в дальнейшем будем ссылаться, указывая в ссылках лишь номера страниц; также будут даваться и ссылки на комментарии этого издания, занимающие стр. 510–658.

В собрание сочинений включены следующие тексты: "Вопросы стилистики на уроках русского языка в школе" (1945), "Диалог", "Диалог. I", "Диалог. II", "Подготовительные материалы" (1951–1953), "Проблема речевых жанров" (1953–1954), "Язык в художественной литературе" (1954–1955), "Проблема текста" (1959–1960), "1961 год. Заметки". Все это либо черновики, конспекты чужих работ, отдельные

фрагменты, либо связанные, но отражающие некоторые промежуточные этапы незавершенных работ тексты: "Диалог" – тезисы доклада, "Проблема текста" – развернутый план работы, "Проблема речевых жанров" – незаконченная статья. Лишь "Вопросы стилистики на уроках русского языка в школе" производят впечатление завершенной, но до конца не отделанной статьи. Нет никаких данных о том, что автор предпринимал какие-то попытки опубликовать свои работы, дошедшие в результате к читателю с большим опозданием.

Комментарии к тому, в основном в данной его части выполненные Л.А. Гоготишвили ("Вопросы стилистики..." прокомментированы совместно с О.С. Савчук), в целом производят очень хорошее впечатление. Особенно хочется отметить рассмотрение бахтинских текстов в контексте советской науки о языке того времени, выявление скрытых цитат и намеков на те или иные работы, прежде всего постоянного бахтинского оппонента В.В. Виноградова.

Однако мы не можем согласиться с одним из исходных пунктов их концепции. Л.А. Гоготишвили априорно считает, что взгляды М.М. Бахтина сформировались в самом начале его деятельности, чуть ли не в Невеле или даже в Петрограде (хотя нет никаких данных о его интересе к лингвистике в те годы), а потом "глубинно" никогда не менялись. Она пишет, например: «Никакие "тактические" изменения в "терминологической оболочке" бахтинских текстов разных годов не касались внутреннего сущностного "ядра" его лингвофилософской позиции..., оставшегося стабильным по своим основным параметрам начиная с 20-х и вплоть до 70-х годов» (с. 620). Отмеченные ею (в основном верно) различия между МФЯ и работами 50–60-х гг. трактуются как вступление автора "в чужое для себя смысловое пространство предполагаемого читателя-лингвиста" (с. 557). МФЯ признается более адекватным отражением "ядра" его взглядов, а поздние сочинения, особенно "Проблема речевых жанров" (далее – РЖ), оцениваются как написанные "с условно принятой чужой позиции" (с. 537). Более того, "прямого слова в лингвистических работах М.М. Бахтина нет" (с. 560). При этом сама Л.А. Гоготишвили признает, что "авторское слово" этого ученого, рассматриваемое ею как эталон, от которого в той или иной степени отклоняются известные нам тексты, до конца не поддается реконструкции; она лишь предполагает, что его "истинная" точка зрения имеет религиозный характер и близка "православному энергетизму" (с. 633). Однако как этот энергетизм связан с лингвистикой, остается неясным.

Мы будем исходить из другой гипотезы, на наш взгляд, более правдоподобной. Согласно ей, М.М. Бахтин был не пророк, а ученый, не озаренный светом истины, а искавший ее. Он искал истину сначала вместе с В.Н. Волошиновым и другими друзьями, потом вынужденно один, пытался ее формулировать, где-то приближался к ней, где-то не находил путей. Сохраняя некоторое "ядро", он от чего-то отказывался, что-то формулировал заново. Далее мы попробуем это показать.

Отметим еще один, на наш взгляд, недостаток в целом хорошего издания 1996 г. Из текстов РЖ и подготовительных материалов к ним изъяты все цитаты из брошюры И.В. Сталина "Марксизм и вопросы языкознания" вместе с обрамляющими их фразами М.М. Бахтина. Нам такой подход представляется неисторичным. Купюр в научном издании лучше избегать.

1. "ВОПРОСЫ СТИЛИСТИКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ"

Этот текст, неизвестно для каких целей написанный, относится к последним месяцам жизни М.М. Бахтина в Савелове и его преподавания в школе. Вероятно, он писался в качестве методической разработки. Поэтому как раз в этом тексте можно увидеть некоторое упрощение терминологии и концепций в целом. Например, только здесь речь ни разу в отличие от саранских текстов не заходит о высказывании, говорится лишь о словах и предложениях. Единственный раз во всем наследии М.М. Бахтина обсуждаются проблемы методики школьного преподавания. И в то же время затронуты проблемы лингвистической теории.

Оценки лингвистических школ в этом тексте (далее – ВС) соответствуют МФЯ: лучшими в отечественной традиции признаются работы А.А. Потебни, а идеи А.М. Пешковского вновь подвергаются критике. И полемика с ним очень похожа на то, что было в третьей части МФЯ: нельзя перифразировать предложение, не учитывая его стилистических характеристик; лишь материал разный: в МФЯ говорится о переводе прямой речи в косвенную, в ВС – о преобразовании бессоюзного сложного предложения в союзное, а также сложного предложения в конструкцию с причастным оборотом.

М.М. Бахтин сравнивает два предложения: *Новость, которую я услышал, меня очень заинтересовала* и *Новость, услышанная мной сегодня, меня очень заинтересовала*. В случае причастного оборота происходит «концентрация мысли и акцента на главном "герое" этого предложения, на слове "новость"» (с. 142). В случае же сложного предложения "героев" два: *новость* и *я*. Отмечены и интонационные различия двух предложений. Примечательно появление в таком контексте термина "герой" (в широком смысле, включая и неодушевленного "героя"), встречавшегося в статье волошиновского цикла "Слово в жизни и слово в поэзии".

Детальнее рассмотрены примеры бессоюзных сложных предложений. Как и в МФЯ, подчеркивается, что минимальная трансформация вроде добавления союза может превратить предложение в совершенно неприемлемое; требуется более существенная перестройка. Пушкинскую фразу: *Печален я: со мною друга нет*, – нельзя преобразовать в **Печален я, так как со мною друга нет*; правильное преобразование – *Я печален, так как со мной нет друга* (с. 146). В другом примере, из Гоголя: *Проснулся: пять станций убежало назад*, – также нельзя сказать: **Когда я проснулся, пять станций убежало назад*; надо сказать: *Когда я проснулся, я проехал уже пять станций* (с. 152). Но и допустимые трансформации далеко не равнозначны исходным предложениям. Предложение с союзом *так как* "грамматически и стилистически правильно", но "стало холоднее, суше, логичнее", "исчез драматический элемент предложения" (с. 147). В перифразе гоголевского примера, во-первых, исчез образ, во-вторых, опять-таки два "героя" исходной фразы (*я* и *пять станций*) не смогли сохраниться внутри одного предложения, остался один "герой" (*я*). Отмечена и необходимость изменения порядка слов: союз "ослабляет всю интонационную структуру высказывания" (с. 148), поэтому при его наличии невозможна интонационная инверсия. Еще один пример из Пушкина: *Он засмеется: все хохочут*, – вообще, по мнению автора, не трансформируется без потери существенной части смысла, поскольку событие здесь не рассказывается, а разыгрывается, тогда как любое введение союза устранило эту динамику (с. 148–149).

Все эти проблемы связываются с вопросами преподавания. В частности осуждается грамматический подход к обучению родному языку, ориентация на разбор готовых чужих текстов, тогда как "собственная устная и письменная речь" школьников "почти не обогащается новыми оборотами" (с. 144), в том числе бессоюзными сложными предложениями.

ВС – второе и последнее в работах М.М. Бахтина и его круга (после третьей части МФЯ) обращение к проблемам синтаксиса, причем в основном остающееся в пределах лингвистики, тогда как изучение чужой речи в МФЯ имело явный уклон в сферу литературоведения. Текст ВС интересен и конкретным синтаксическим анализом, где-то предвосхищающим будущие исследования по трансформационным грамматикам, и попыткой применения к конкретному материалу давнего понятия "героя". Л.А. Гогтишвили правомерно сопоставляет его с "темой" и "фокусом" в современной лингвистике (с. 527), а также с понятиями уже разработанной к 1945 г. пражцами, но вряд ли известной тогда М.М. Бахтину концепции актуального членения (с. 524). Однако эта концепция лишь намечена, а в Саранске ученый к ней не возвращался, хотя термин "герой" изредка продолжал у него встречаться.

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К "ПРОБЛЕМЕ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ"

Как показывает проделанное публикаторами изучение бахтинского архива, на протяжении примерно десятилетия (1951–1961) в центре внимания жившего тогда в Саранске М.М. Бахтина было рассмотрение проблем лингвистики и вопросов, пограничных между лингвистикой и литературоведением. Во всяком случае почти все из опубликованного в пятом томе его наследия за эти годы связано именно с этим.

Первые годы его жизни в Саранске (1945–1951) ушли, помимо преподавания в пединституте, на долгую бюрократическую процедуру, связанную с утверждением в ВАКе диссертации о Рабле, и на вынужденную переработку текста диссертации. В 1952 г. М.М. Бахтин получил, наконец, кандидатский диплом и окончательный отказ в присуждении докторской степени. Можно было заняться чем-то другим. А толчком к выбору тематики, весьма вероятно, послужила общественная ситуация в стране, связанная с публикацией в 1950 г. статей И.В. Сталина по языкознанию.

Несомненно, играла роль общая кампания: в провинциальных институтах вроде Саранского пединститута не только преподавателей-лингвистов, но всех гуманитариев заставляли увязывать темы своих исследований с "гениальными" сталинскими трудами. И хотя М.М. Бахтин заведовал литературоведческой кафедрой и читал курсы по литературе, в его факультетских планах с 1951 г. начинает записываться такая тематика. Но вряд ли это происходило только под давлением извне. Сам Михаил Михайлович мог считать, что в тогдашней обстановке по вопросам языка можно было высказываться свободнее, чем по вопросам литературоведения или тем более философии. После неудач с публикациями книг о Гете и Рабле можно было надеяться на какой-то выход к читателю. Показательна тема доклада, который он должен был в 1952 г. сделать на ученом совете института: "Проблемы диалогической речи на основе учения И.В. Сталина о языке как средстве общения". Компромисс между предписаниями сверху и интересами самого ученого, всю жизнь занимавшегося диалогом, очевиден.

Не знаем, был ли сделан доклад, но дошедший до нас текст "Диалог" (с. 207–209), по-видимому, представляет собой его тезисы. Уже здесь мы в очень кратком виде находим основы того подхода, который потом сохранялся во всех саранских текстах: "Речь – реализация языка в конкретном высказывании... Речь подчиняется всем законам языка, в ней мы находим все его формы (словарный состав, грамматический строй, фонетику)... Но кроме форм языка в речи имеются и другие формы – формы высказывания" (с. 207). Противопоставление языка и высказывания будет стержнем всех саранских текстов, хотя понятие речи подвергнется модификации. Для понимания этой концепции надо иметь в виду, что еще в МФЯ соссюрский термин "parole" переводился как "высказывание". Однако М.М. Бахтин в 1952 г. пытался как-то учитывать и уже сложившуюся традицию, основанную на первом русском издании "Курса" Ф.де Соссюра 1933 г., где "parole" переводилось А.М. Сухотиным как "речь". Уже в этой краткой формулировке проявилось некоторое сближение с идеями Ф.де Соссюра по сравнению с МФЯ, на чем мы остановимся ниже.

Затрагивается в тезисах и другой вопрос, который позже получит развитие в РЖ: о речевых жанрах. Говорится о "классификации речи (не языка) по функциям и жанрам" (с. 207). Под "функциями" речи, по-видимому, понимаются здесь функциональные стили. Жанры более многообразны: подчеркивается "необычайное разнообразие речевых жанров и отсутствие классификации" (с. 208). Среди прочих жанров перечислены "общие жанры: диалог и монолог" (с. 208). Позже, как мы увидим, эти идеи подверглись некоторой модификации.

В докладе также упомянуты языковые средства, используемые в целях диалога, в том числе местоимения, вокативные формы, императивные и вопросительные конструкции; хотя из-за разного формального выражения их обычно разносят по разным разделам лингвистики, их необходимо объединять и "классифицировать именно как специфические формы диалогического взаимоотношения говорящих" (с. 207). Упомянуто и о роли в диалоге "форм вежливости, этикета, такта" (с. 208), на которые когда-

то обращалось внимание в "Слове в жизни и слове в поэзии". Вся эта проблематика языковых средств построения диалога почти не нашла продолжения в РЖ.

Но и после 1952 г. М.М. Бахтин продолжал работать над лингвистической тематикой. С конспектом доклада непосредственно связаны две тетради, озаглавленные им самим: "Диалог. I" и "Диалог. II". Далее идут уже не составляющие чего-то единого черновики, записи и конспекты, публикуемые в томе как "Подготовительные материалы", отражающие стадию, непосредственно предшествовавшую РЖ. Можно видеть, как первоначально главная тема диалога постепенно уходит на второй план, отесняясь двумя другими, также присутствовавшими с первых этапов работы: проблемой высказывания и проблемой речевых жанров.

Менялись и отдельные пункты концепции. Поначалу, как и в тезисах, говорится: "Единица речи – высказывание" (с. 212); потом это будет пересмотрено. Говорится о появлении новых слов или грамматических форм "через стиль в язык" (с. 212); позднее в этом контексте будет говориться не о стиле, а о жанре. Исчезает термин "функция", которого не будет в РЖ. Диалог и монолог перестают выступать как разновидности жанров. Идут поиски того, как разграничить жанр и стиль.

Отдельные высказывания в черновиках отличаются от того, что мы привыкли читать у М.М. Бахтина: "относительность различия монолога и диалога" рассматривается как бы с двух сторон: монолог – в известной мере реплика в более обширном диалоге, но и "каждая реплика диалога в известной степени монологична" (с. 209). Как известно, и до, и после М.М. Бахтин подчеркивал первичность и реальность диалога при относительности и во многом фиктивности монолога, а тут они единственный раз как бы уравниваются в правах. Впрочем, несколькими страницами ниже говорится и о невозможности "абсолютного монолога" (с. 213).

Уже в тетради "Диалог. II" видно все большее сосредоточение на вопросах высказываний и речевых жанров. Видно, как вырабатываются критерии границ и законченности высказываний, начиная с самых простых случаев. С одной стороны, это специальные маркеры вроде латинского *Dixi* или случаи явной смысловой завершенности вроде доказанной теоремы, с другой стороны, прямые указания на незавершенность высказывания вроде *Подождите, я еще не кончила* (с. 221, 227). В РЖ все это отойдет на второй план и будет предложен очень простой способ проведения границ высказываний, в черновиках поначалу его еще нет.

Видна также и постепенная разработка проблемы жанров, при этом с начала и до конца сохраняется отнесение жанра к сфере высказывания, а не языка. Также подчеркивается ограниченность чисто литературоведческого понимания жанров: "Разработана только теория литературных жанров, но разработана на специфической узкой основе Аристотеля и неоклассицизма" (с. 222); но в то же время "классификации форм бытового диалога до сих пор нет" (с. 233). Как замечает Л.А. Гогтишвили, в этих текстах нет "последовательного терминологического разведения" высказывания и речевых жанров (с. 590); см. такую формулировку: "Общие основные признаки высказывания (т.е. всех речевых жанров)" (с. 263). Комментатор упоминает и о "терминологической неустойчивости текста РЖ" (с. 585). В целом, однако, терминология постепенно в ходе работы приобретает строгость, которая в итоге больше, чем в подготовительных материалах и чем в МФЯ и примыкающих публикациях.

Ряд затронутых в подготовительных материалах тем потом не нашел отражения в РЖ. Среди "общих основных признаков высказывания" (с. 263) выделены отношение высказывания к действительности, к истине, событийность высказывания, различие замысла и выполнения (о последнем кратко будет говориться уже в "Проблеме текста"). Упомянуты проблемы контекста и контекстных значений, субъекта и предиката высказываний и др.

Еще надо отметить, что значительную часть подготовительных материалов составляют выписки из доступных в Саранске работ по лингвистике. В собрании сочинений они опубликованы далеко не полностью, однако дается их обзор. Помимо выписок и конспектов встречаются и записи, в которых определяется отношение к идеям тех или иных авторов.

В целом круг использованных работ, далеко не все из которых упомянуты потом в РЖ, распадается на две части. Во-первых, это во многом сочинения тех же авторов, в основном покойных, которые фигурировали в МФЯ: в той или иной мере упомянуты В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня, Ф. де Соссюр, К. Фосслер, А.М. Пешковский, Л.П. Якубинский, Р.О. Шор и др. К ним добавляется Л.В. Щерба, по каким-то причинам проигнорированный в МФЯ.

Второй круг авторов – современные советские лингвисты. Особенно внимательно изучался только начавший выходить журнал "Вопросы языкознания". Наряду с лингвистами, имена которых и сейчас хорошо известны (В.В. Виноградов, Р.И. Аванесов, В.Н. Сидоров) встречаются и уже забытые: Н.Н. Амосова, Е.Ф. Кретевиц, Н.Г. Морозова и др. Нередко именно у последних отмечены сходные с авторскими идеи, например, формулировка Е.Ф. Кретевица о предложении как звене в цепи высказывания (с. 248). Но чаще видим критическое отношение, особенно к наиболее "затрагиваемому", по выражению Л.А. Гоготишвили (с. 540), из современников: В.В. Виноградову. Poleмика с ним, которую М.М. Бахтин и весь его круг вели еще в 20-е гг., продолжается и в саранских черновиках при том, что в тексте РЖ это имя, незримо присутствуя, прямо не упоминается. А в подготовительных материалах не раз говорится о "путанице понятий" у самого В.В. Виноградова и в написанной под его руководством академической грамматике русского языка, неразличение им предложения и высказывания и др.

3. "ПРОБЛЕМА РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ"

Это наиболее законченный из саранских текстов. В черновиках к нему говорится о том, что его автор готовит "журнальную статью" (с. 253). Неясно, о каком журнале шла речь: об "Ученых записках" в Саранске или, может быть, "Вопросах языкознания"? Данная тема записывалась М.М. Бахтину как плановая на 1953 год. Очевидно, что он был не менее двух лет увлечен темой, много над ней работал, в результате начал складываться текст, близкий к готовому. Можно предполагать, что статья была написана более чем наполовину, но потом заброшена.

РЖ представляет собой итоговый вариант разработки двух связанных между собой проблем: проблемы высказывания и проблемы речевых жанров. Позднее автор статьи ко второй из проблем специально не обращался, а первую разрабатывал лишь в общих чертах, например, более не касаясь вопроса о границах высказываний.

В РЖ мы видим развитие концепции, заявленной когда-то в МФЯ, где уже ставилась, в частности, проблема высказывания. Однако кое-что изменилось, прежде всего отношение к идеям Ф. де Соссюра о языке.

В МФЯ соссюровский "абстрактный объективизм" подвергся резкой критике. Язык в смысле Ф. де Соссюра не признавался объективно существующим явлением, роль этого "продукта рефлексии" над единственной реальностью – речевым потоком, сводилась лишь к ограниченной полезности при обучении чужим языкам и толковании чужих текстов.

В РЖ во многом иначе. Книга Ф. де Соссюра характеризуется как "серьезный курс" (с. 169), а два случая полемики со швейцарским ученым (см. ниже) никак не касаются ни введенного им противопоставления "язык–речь (высказывание)", ни его трактовки языка, они связаны с его трактовкой parole. И постоянно полная солидарность с данным противопоставлением. Уже в самом начале РЖ мы читаем: "Использование языка осуществляется в форме единичных конкретных высказываний (устных или письменных) участников той или иной области человеческой деятельности" (с. 159). То есть язык – не абстракция: использоваться может что-то реально существующее. Далее неоднократно (с. 174, 175, 176) говорится о "предложении как единице языка", к языку отнесено и слово (с. 192 и др.). И еще одно место: "Язык, как система, обладает, конечно, богатым арсеналом языковых средств – лексических, морфологических и синтаксических – для выражения эмоционально-оценивающей позиции говорящего" (с. 188). Думаем, что примеров достаточно для иллюстрации.

Язык в РЖ – не фикция, не "результат рефлексии", а общая для коллектива ("народа") система средств (лексических, морфологических, а также упоминаемых в РЖ интонационных), из которых в процессе речевого общения строятся высказывания. Все это соответствует Ф.де Соссюру, нет лишь соссюровского акцента на проблемах "внутренней лингвистики", изучения языка.

Бряд ли изменение концепции произошло по причинам, которые имеет в виду Л.А. Гоготшвили, и "глубинно" М.М. Бахтин по-прежнему не признавал соссюровские идеи. Все можно объяснить проще. Как только лингвист обращается к анализу конкретного материала, ему независимо от взглядов трудно проигнорировать, например, грамматику изучаемого языка. Изучая высказывания, приходится учитывать существование их компонентов: предложений и слов. А эти компоненты уже как-то описывались на основе идей "абстрактного объективизма". Это, вероятно, менее явно ощущалось при рассмотрении более крупных частей высказывания, как это происходило при изучении чужой речи в МФЯ. Но чем более привлекался конкретный материал, тем более необходимым оказывалось учитывать и "язык как систему нормативно тождественных форм". Максималистская позиция МФЯ оказывалась слишком утопичной.

Точка зрения М.М. Бахтина в РЖ более близка позиции тех ученых, которые стремились дополнить лингвистику языка лингвистикой речи. Здесь особенно надо отметить книгу А. Гардинера "Теория речи и языка" [Gardiner 1932], о которой мы уже писали [Алпатов 1999]. Схожий подход был и у К. Бюлера [Бюлер 1993] (оригинал издан в 1934 г.). Ср. также интересные и, на наш взгляд, недооцененные идеи В.И. Абаева о "языке как технике" и "языке как идеологии" [Абаев 1934].

Итак, надо было не строить науку о речи и языке заново, а дополнять ее там, где пробелы были очевидны. Для М.М. Бахтина в 50-е гг. теория языка не представляла интереса не потому, что она не нужна, как это получалось в МФЯ, а потому, что она уже существует, тогда как теории parole – высказывания нет. Важно однако ограничить их.

Соссюровскому parole в РЖ, как и в МФЯ, соответствует "высказывание" (с. 183). Наряду с ним появляется новый термин "речевое общение", по мнению Л.А. Гоготшвили (с. 543), взятый у Л.П. Якубинского. Им заменяется "речь", использовавшаяся в сходном значении в тезисах 1952 г. Высказывание прямо определяется как "единица речевого общения" (с. 167). Тем самым как наиболее общие понятия противопоставлены "язык" и "речевое общение", а у каждого из них есть свои единицы: для языка – слова и предложения, для речевого общения – высказывания. Итак на месте parole уже оказывается не столько высказывание, сколько речевое общение. При этом в отличие от parole Ф.де Соссюра – это явление не индивидуально, а социально; впрочем, так же подходил к речи и А. Гардинер. Термин "речь", соответствовавший в МФЯ соссюровскому "langage", в РЖ употребляется в основном в составе устойчивых сочетаний "речевое общение" и "речевые жанры"; собственно о речи говорится лишь эпизодически и, по-видимому, без терминологического смысла.

Речевое общение понимается в РЖ как процесс минимум с двумя активными участниками, использующими общую для них систему языка. В связи с этим и критикуется Ф.де Соссюр (а также В.фон Гумбольдт и К. Фосслер), у которого "дается схема активных процессов речи у говорящего и соответствующих пассивных процессов восприятия и понимания речи у слушающего" (с. 169). На самом же деле "всякое понимание живой речи, живого высказывания носит активно-ответный характер (хотя степень этой активности бывает весьма различной)" (с. 170).

О речевом общении в РЖ сказано не так много, главное внимание уделено его единице – высказыванию, прежде всего проблеме его границ. Подчеркнуто: "Высказывания... обладают... общими структурными особенностями, и прежде всего совершенно четкими границами... По сравнению с границами высказываний все остальные границы (между предложениями, словосочетаниями, синтагмами, словами) относительно и условны" (с. 172). Каковы эти границы? Фактически даны два разных критерия

для устного и письменного текста, хотя они рассматриваются как что-то единое: "Всякое высказывание – от короткой (однословной) реплики бытового диалога и до большого романа или научного трактата имеет, так сказать, абсолютное начало и абсолютный конец: до его начала – высказывания других, после его окончания – ответные высказывания других... Высказывание – это не условная единица, а единица реальная, четко отграниченная сменой речевых субъектов, кончающаяся передачей слова другому" (с. 172–173).

В диалоге высказывание равно реплике одного говорящего. На письме, судя по упоминанию романа и трактата, это законченный связный текст. Остаются, впрочем, неясные случаи. Одно высказывание или множество высказываний, например, сборник рассказов или научных статей одного автора, по крайней мере, если это не цикл? Но безусловно с таким определением можно работать.

Итак, главная особенность высказывания – принадлежность одному говорящему. Другая особенность – "специфическая завершенность высказывания". Здесь на первый план уже выносятся не формальные признаки вроде Dixi. «Первый и важнейший критерий завершенности высказывания – это возможность ответить на него, точнее и шире – занять в отношении его ответную позицию (например, выполнить приказание). Этому критерию отвечает и короткий бытовой вопрос, например "Который час?" (на него можно ответить), и бытовая просьба, которую можно выполнить или не выполнить, и научное выступление, с которым можно согласиться или не согласиться (полностью или частично), и художественный роман, который можно оценить в его целом» (с. 178). Могут, конечно, возникать вопросы. Например, собеседник может перебить высказывание и не дать ему закончиться. С одной стороны, на него дан ответ, с другой стороны, оно явно не закончено.

Другими критериями законченности, менее важными, признаются "предметно-смысловая исчерпанность", "речевой замысел или речевая воля говорящего" и "типические композиционно-жанровые формы высказывания" (с. 179). Все эти факторы различны в зависимости от жанра.

Много места отведено в РЖ вопросу о разграничении высказывания и предложения. Здесь более всего присутствует полемика с русскими и советскими лингвистами. Предложение впрочем определяется не очень четко и в основном негативно. Для М.М. Бахтина прежде всего важно, чем предложение не является: оно не может определять ответ, не отграничивается с обеих сторон сменой речевых субъектов, не имеет непосредственных контактов с действительностью и непосредственного отношения к чужим высказываниям, не может вызывать ответ (с. 176). Предложение и высказывание могут совпадать по протяженности, но не по свойствам. Вопрос о сущности единиц языка в законченном виде формулируется так: "Предложение, как и слово, обладает законченностью значения и законченностью грамматической формы, но эта законченность значения носит абстрактный характер и именно потому и является такой четкой; это законченность элемента, но не завершенность целого. Предложение, как единица языка, подобно слову, не имеет автора. Оно ничье, как и слово, и, только функционируя как целое высказывание, оно становится выражением позиции индивидуального говорящего в конкретной ситуации речевого общения" (с. 187). Отечественная лингвистика критикуется М.М. Бахтиным за неумение выйти за пределы предложения и приблизиться к высказываниям.

Третье главное свойство высказывания, наряду с принадлежностью одному говорящему и законченностью, – принадлежность к той или иной "жанровой форме" (с. 180). Проблема речевых жанров – вторая, наряду с проблемой высказывания, тема данной работы, вынесенная в заглавие.

В РЖ дается такое определение речевого жанра: "Каждое отдельное высказывание, конечно, индивидуально, но каждая сфера использования языка вырабатывает свои относительно устойчивые типы таких высказываний, которые мы и называем речевыми жанрами" (с. 159). Подчеркивается, что в науке не было общей теории речевых жанров, хотя разные жанры изучались, но в разных дисциплинах и по-разному.

Литературные и риторические жанры исследовали соответствующие науки, а бытовые жанры рассматривались лингвистикой без использования термина "жанр". Такое изучение "ограничивалось спецификой устной бытовой речи, иногда прямо ориентируясь на нарочито примитивные высказывания (американские бихевиористы)" (с. 161). Здесь единственный раз в РЖ речь заходит о западной лингвистике эпохи после написания МФЯ; сведения о дескриптивизме, который здесь имеется в виду, почерпнуты, вероятно, из книги [Шор, Чемоданов 1945], упоминаемой в саранских черновиках.

М.М. Бахтин указывал на "богатство и разнообразие речевых жанров" (с. 159). "К речевым жанрам мы должны отнести и короткие реплики бытового диалога..., и бытовой рассказ, и письмо (во всех разнообразных формах), и короткую стандартную военную команду, и довольно пестрый репертуар деловых документов (в большинстве случаев стандартный), и разнообразный мир публицистических выступлений..., но сюда же мы должны отнести и многочисленные формы научных выступлений и все литературные жанры (от поговорки до многотомного романа)" (с. 160).

В отличие от заданных критериев определения границ высказывания каких-либо критериев разграничения жанров в РЖ не дается; остается неясным, что считать отдельными жанрами, а что разновидностями одного речевого жанра. Сам М.М. Бахтин отмечал: "Номенклатуры устных речевых жанров пока не существует, и даже пока не ясен и принцип такой номенклатуры" (с. 182). Предложено лишь два параметра для классификации речевых жанров. Во-первых, это деление на первичные (простые, бытовые) и вторичные (сложные) речевые жанры, к последним относятся "романы, драмы, научные исследования всякого рода, большие публицистические жанры и т.п." (с. 161). Вторичные речевые жанры могут "вбирать" в себя первичные (реплики диалога в романе и т.д.), но там первичные жанры уже выступают как части более сложного высказывания. Второй параметр – разграничение стандартизированных жанров (приветствия, прощания, пожелания и пр.), где говорящий мало что может привнести от себя, и более "свободных" жанров (с. 181–182).

В связи с системой жанров второй и последний раз автор РЖ полемизирует с Ф. де Соссюром: "Соссюр игнорирует тот факт, что кроме форм языка существуют еще и комбинации этих форм, то есть игнорирует речевые жанры" (с. 183–184). Для Ф. де Соссюра свобода говорящего ограничена лишь "принудительным" использованием системы языка, но, согласно М.М. Бахтину, "говорящему даны не только обязательные для него формы высказывания общенародного языка (словарный состав и грамматический строй), но и обязательные для него формы высказывания, то есть речевые жанры" (с. 183). Формулировки "общенародный язык", "словарный состав и грамматический строй" явно навеяны сталинской брошюрой. Безусловно, понимание языка у Ф. де Соссюра и вряд ли его читавшего И.В. Сталина было сходным; см. [Тапака 2000: 166]. В основе у обоих лежало то, что когда-то в МФЯ было названо "абстрактным объективизмом". Для М.М. Бахтина эта точка зрения теперь не столько неверна, сколько недостаточна: теорию языка надо дополнить теорией высказывания и речевых жанров. Лишь их совокупность даст возможность приблизиться к правильному пониманию того, как человек говорит: "Речевые жанры даны нам почти так же, как дан родной язык... Научиться говорить – значит научиться строить высказывания" (с. 181).

Гораздо меньше, чем о жанрах, говорится в РЖ о стилях; четкого определения стиля, в отличие от жанра, не дается. Обращают на себя внимание такие формулировки: "Стиль входит как элемент в жанровое единство высказывания" (с. 164); "Литературный язык – это сложная динамическая система языковых стилей" (с. 165). Тем самым получается, что стиль – понятие, относящееся к языку и соотносимое с жанром, относимым к высказыванию. Однако такой подход не эксплицирован.

Кратко остановимся еще на трех более частных проблемах, затронутых в РЖ: проблеме экспрессии, проблеме чужой речи и проблеме адресата высказывания.

М.М. Бахтин спорил с идеями А.М. Пешковского и др., приписывавших "эмоциональную окраску" словам и предложениям. Согласно его концепции, эти единицы "как

средства языка, совершенно нейтральны по отношению ко всякой определенной реальной оценке", получая "экспрессивную сторону" "только в конкретном высказывании" (с. 188). В связи с этим рассматривается вопрос об интонации. Экспрессивная интонация – "конститутивный признак высказывания", она не обладает "той силой принудительности, которой обладают формы языка" (с. 191–192). Итак, указано на некоторую формальную характеристику, относящуюся именно к высказыванию, то есть к речевому общению, а не к языку. Однако не все виды интонации таковы: есть чисто языковые интонации (законченности, перечислительная и пр.) и "скрещенные" интонации, где есть и то, и другое (вопросительная, восклицательная, побудительная) (с. 194).

Проблема интонации тесно связана с проблемой чужой речи, о чем говорилось еще в МФЯ. Последняя проблема, выделенная в МФЯ как образец проблемы, не решаемой традиционными лингвистическими методами, сходным образом решается и в РЖ: "Взаимоотношение между введенной чужой речью и остальной – своей – речью не имеют никаких аналогий ни с какими синтаксическими отношениями в пределах простого и сложного синтаксического целого, ни с предметно-смысловыми отношениями между грамматически не связанными отдельными синтаксическими целыми в пределах одного высказывания. Зато эти отношения аналогичны (но, конечно, не тождественны) отношениям между репликами диалога" (с. 197). Тем самым способы передачи чужой речи, подробно изученные в МФЯ и почти не затронутые в РЖ, также – предмет лингвистики высказывания, а не лингвистики языка.

Если передача чужой речи – ответ на "предшествующие звенья речевого общения", то "учет возможных ответных реакций" связывает высказывание с его "последующими звеньями" (с. 199–200). Такой учет сильно зависит от жанра: на одном полюсе фамильярные и интимные жанры, где он максимален, на другом – "нейтральные и объективные", где адресат максимально обобщен. Можно предполагать, что и способы передачи отношения к адресату М.М. Бахтин относит к лингвистике высказывания. Но прямо об этом не сказано, и на обсуждении данной проблемы текст обрывается.

Итак, в РЖ разграничены речевое общение, высказывания как его единицы и язык, поставляющий средства для построения высказываний, намечено разграничение основных типов высказываний – речевых жанров, выделены некоторые классы явлений, которые должна изучать дисциплина, изучающая высказывания (названия у этой дисциплины здесь еще нет). Безусловно это очень серьезная, хотя и не во всем разработанная концепция, в ряде положений опередившая время.

Однако текст закончен не был, а судя по черновикам, предполагалось обсудить еще некоторые проблемы. Причины прекращения работы нам неизвестны, о них можно лишь гадать. Может быть, автор не был удовлетворен написанным; может быть, наоборот, прояснив для себя основные пункты концепции, ученый потерял интерес к дальнейшему ее развитию. Своим собеседникам в конце жизни сам М.М. Бахтин "говорил о незавершенности как стиле своей работы – незавершенности внутренней и внешней" [Бочаров 1993: 86]. Проявилось это и здесь.

4. "ЯЗЫК В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ"

Это – черновые записи, делавшиеся позже РЖ: в конце 1954 – начале 1955 г. Как показывает Л.А. Гоготишвили, они представляли собой отклик на проходившую в это время в "Вопросах языкознания" дискуссию по стилистике; опять-таки главным оппонентом служит В.В. Виноградов, взгляды которого поддерживались и развивались большинством участников данной дискуссии. По-видимому, и здесь одно время планировалось написать статью, но работа над ней была прервана на более ранней стадии, чем в случае РЖ.

В данных набросках об общих вопросах языка и высказывания почти не говорится, кроме одной фразы, где ставится "проблема взаимоотношения языка и речи (но не индивидуального высказывания, parole в сосюрловском смысле, а речевого общения)" (с. 294). В отличие от РЖ здесь "речь" и "речевое общение" выступают как синонимы; ср. использование термина "речь" в этом смысле в ранних саранских набросках.

Текст представляет собой отклик на проблемы, затрагивавшиеся в журнальной дискуссии; прежде всего на две из них: о правомерности выделения особого стиля художественной литературы и об отношении между лингвистической и литературоведческой стилистикой.

На первый вопрос дается однозначно отрицательный ответ: стиль художественной литературы "нельзя рассматривать как определенный функциональный стиль, подобный стилю научной речи. В нем мы найдем все возможные языковые, речевые, функциональные стили, социальные и профессиональные жаргоны и т.п." (с. 289); "Нет такого стиля (функционального и экспрессивного), такого жанра, такой формы языка, для которого нельзя было (бы) найти ярчайшего примера в художественной литературе" (с. 295). С этой идеей связана и другая: о двоякой роли языка в художественной литературе: "Язык в литературе существует в двух модусах, в других сферах – только в одном" (с. 290); он и "средство изображения или выражения", и "объект изображения" (с. 289). В этом один из главных пунктов полемики М.М. Бахтина с В.В. Виноградовым: для последнего язык был только средством изображения, даже в случае речи персонажей.

Здесь же мы видим один из редких случаев упоминания в саранских текстах идеи о творческом характере языка, восходившей к В. фон Гумбольдту и столь активно провозглашавшейся в МФЯ: говорится о том, что художественное познание языка учит творческому использованию языка; "именно в этом состоит формирующее влияние литературы на развитие общенародного языка, а не в том, что литература дает образцы правильного и хорошего языка" (с. 291).

О лингвистической и литературоведческой стилистике говорится прежде всего с точки зрения того, что они слишком далеко отстоят друг от друга: литературоведческая стилистика в основном изучает тропы в авторской речи, а "лингвистическая стилистика интересовалась преимущественно речевыми стилями (функциональными и экспрессивными), социальными и профессиональными жаргонами и т.п., рассматривая их как факты языка" (с. 293). В результате "литературоведческая стилистика... совершает прыжок из области лингвистики в области эстетики, мировоззрения, политики и т.д. Лингвистическая стилистика останавливается, не дойдя до этих пограничных вопросов. Мы считаем эту проблему пограничной. Такие проблемы имеют исключительно важное принципиальное значение" (с. 294). Однако ничего конкретного об этих проблемах не говорится.

Текст, посвященный стилистике, естественно, многократно содержит упоминания о стилях. Этот термин, не получивший четкости в РЖ, не приобретает ее и здесь. Ср. две приведенные выше цитаты: в одной из них через запятую говорится о "языковых, речевых, функциональных стилях", в другой функциональные стили рассматриваются как частный случай речевых. Отметим термин "речевые стили", которого не было в РЖ. В то же время о жанрах в данном тексте сказано очень мало. Безусловно, автор прервал работу над ним на очень раннем этапе.

5. ТЕКСТЫ О ТЕКСТЕ

В томе собрания сочинений нет каких-либо материалов, относящихся к 1956–1958 гг. Далее же публикуются тексты, относящиеся к 1959–1961 гг. Наиболее связанная часть их публикуется под названием "Проблема текста". Она представляет собой развернутый план широко задуманной, но опять-таки не осуществленной работы. Некоторые пункты лишь обозначены, некоторые развернуты в связанные тексты, иногда близкие к готовому состоянию. "Проблемы текста" (далее – Т) несколько напоминают отчет В.Н. Волошинова от мая 1928 г., в котором даются план первоначального варианта МФЯ и "Руководящие мысли работы", то есть данные по пунктам фрагменты текста [Волошинов 1995].

К концу 50-х гг. ситуация в советской лингвистике изменилась по сравнению со временем написания РЖ. Давно забыли про сталинскую брошюру. Зато значительно

расширилось знакомство с современной зарубежной наукой. Это отразилось и в Т, где упоминаются глоссематика, дескриптивизм, фонология. Учтены также появившиеся за это время советские работы по интересовавшей М.М. Бахтина тематике, особенно книга В.В. Виноградова "О языке художественной литературы".

В тематике данной работы имеются переключки с "Языком в художественной литературе" (пограничные вопросы между лингвистикой и литературоведением), РЖ (язык и высказывание) и даже МФЯ (проблема знака, совсем не затронутая в РЖ). В то же время проблемы жанров и стилей в Т не рассматриваются совсем.

Появляется и нечто новое, прежде всего понятие текста. К тому времени данный термин стал в советской лингвистике довольно распространенным, особенно в структуралистских работах. Однако во многих случаях в Т говорится то же или примерно то же самое, что о высказывании в РЖ. И при этом термин "высказывание" сохраняется. Несколько раз говорится о "тексте как высказывании" (с. 307, 308), а один из пунктов формулируется так: "Текст как высказывание, включенное в речевое общение (текстовую цепь) данной сферы" (с. 308). Но в РЖ высказывание как раз рассматривалось как единица речевого общения. Также говорится о том, что текст индивидуален и что за каждым текстом стоит система языка. Новое по сравнению с РЖ, правда, упоминание о языке как системе знаков: «Если за текстом не стоит "язык", то это уже не текст, а естественно-натуральное (не знаковое) явление» (с. 308). То есть повторяется знаковая концепция МФЯ с добавлением нового термина "текст". Отличие текста от высказывания так и остается непроясненным.

В то же время в одном месте разграничиваются речь и речевое общение, ранее то приравнивавшиеся друг к другу, то разделявшиеся без четкого определения речи: "Речевой субъект (обобщенная "натуральная" индивидуальность) и автор высказывания. Смена речевых субъектов и смена говорящих (авторов высказывания). Язык и речь можно отождествлять, поскольку в речи стерты диалогические рубежи высказываний. Но язык и речевое общение (как диалогический обмен высказываниями) никогда нельзя отождествлять" (с. 312). Итак, речь – нечто промежуточное между языком и речевым общением? Это разграничение далее не развивается. Естественным было бы предположить, что из двух конкурирующих понятий: "текст" и "высказывание", – один связан с речью, а другой – с речевым общением. Однако оба понятия явно связываются М.М. Бахтиным с речевым общением: подчеркивается их принадлежность автору и пр.

М.М. Бахтин указывает на "первичную данность" текстов, от которой можно двигаться в разных направлениях: "Можно идти к первому полюсу, т.е. к языку, языку автора, языку жанра, направления, эпохи, национальному языку (лингвистика) и, наконец, к потенциальному языку языков (структурализм, глоссематика). Можно двигаться ко второму полюсу – к неповторимому событию текста. Между этими двумя полюсами располагаются все возможные гуманитарные дисциплины, исходящие из первичной данности текста. Оба полюса безусловны: безусловен потенциальный язык языков и безусловен единственный и неповторимый текст" (с. 310). Отметим здесь терминологическое новшество: "лингвистикой" предлагается называть дисциплину, изучающую конкретные языки в отличие от "языка вообще", которым занимались глоссематики (структурализм все же изучал и то, и другое). Впрочем, Л. Ельмслев как раз и предлагал называть "глоссематикой" именно то, что М.М. Бахтин называет изучением "потенциального языка языков", что однако не прижилось.

Но из приведенной цитаты видно и другое: изучение языка должно быть отделено от изучения самих текстов, высказываний. Следует пункт: "Целая сфера между лингвистическим и смысловым анализом; эта сфера выпала для науки" (с. 312). Перечислены некоторые вопросы данной сферы: проблема "образа" автора в произведении, "двуголосого слова" и т.д. Для данной дисциплины предлагается новое название, ранее отсутствовавшее в саранских текстах: металингвистика. "Диалогические отношения между высказываниями, пронизывающие также изнутри и отдельные высказывания, относятся к металингвистике. Они в корне отличны от всех возможных

лингвистических отношений элементов как в системе языка, так и в отдельном высказывании. Металингвистический характер высказывания (речевого произведения)... Чем же определяются незыблемые рубежи высказывания? Металингвистическими силами" (с. 322). По предложению Л.А. Гоготишвили, термин "металингвистика" мог быть заимствован у Б. Уорфа (с. 642). Работы этого ученого как раз в это время были изданы по-русски [Уорф 1960]; впрочем, у него термин "металингвистика" имеет несколько иное значение.

В итоге Т еще раз повторяется общая идея всех саранских текстов: "Предметом лингвистики является только материал, только средство речевого общения, а не само речевое общение, не высказывания по существу и не отношения между ними (диалогические), не формы речевого общения и не речевые жанры" (с. 326). Под этим высказыванием мог бы подписаться и последовательный "абстрактный объективист". Разница в одном: последователи Ф.де Соссюра, разграничив два круга проблем, отвлекались от существования одного из них, а для М.М. Бахтина именно он был в центре внимания.

Фрагменты, озаглавленные в собрании сочинений "1961 год. Заметки", не представляют собой в отличие от Т чего-то единого и связного, тематически примыкая к Т. Отметим такую фразу из них: "Лингвистика имеет дело с текстом, но не с произведением. То же, что она говорит о произведении, привносится контрабандным путем и из чисто лингвистического анализа не вытекает" (с. 334). Л.А. Гоготишвили комментирует это, считая, что текст тут окончательно отнесен к лингвистическим понятиям, а в итоге М.М. Бахтин пришел к такому разграничению: высказывание – реальная единица языкового общения, а текст – высказывание в изоляции от диалога (с. 651, 656). В Т текст явно понимался иначе, но безусловно, дальнейший ход развития идей должен был привести либо к исключению одного из конкурирующих понятий, либо к разграничению их значений. Но до конца такое разграничение все же не было проведено.

И вновь в одном из самых поздних лингвистических текстов М.М. Бахтина звучит поднятая еще в "Слове в жизни и слове в поэзии" (1926) тема говорящего, слушателя и "героя": "Слово – это драма, в которой участвуют три персонажа (это не дуэт, а трио)" (с. 332); третий – тот, о ком говорят. Ср. у А. Гардинера об акте речи как "драме в миниатюре" со своим набором действующих лиц: говорящий, слушающий и предмет речи [Gardiner 1932: 83]. М.М. Бахтин далее добавляет и еще одного участника речевого общения: "наадресата", находящегося "в метафизической дали или в далеком историческом времени", это может быть Бог, народ, наука, суд истории и т.д. (с. 337).

Затем работа над темой была прервана. Кроме возможных причин, аналогичных причинам прекращения работы над РЖ, тут была еще одна: как раз в это время появилась возможность издать новый вариант книги о Достоевском. Как отмечает Л.А. Гоготишвили, в рабочих тетрадях с некоторого места записи по лингвистике сменяются записями о Достоевском (с. 658).

6. ФРАГМЕНТ О МЕТАЛИНГВИСТИКЕ В "ПРОБЛЕМАХ ПОЭТИКИ ДОСТОЕВСКОГО"

Однако в процессе переработки книги М.М. Бахтин счел необходимым включить туда некоторые идеи, к которым он пришел в годы своих лингвистических занятий. Далее цитаты приводятся по последнему прижизненному изданию [Бахтин 1972] с указанием номеров страниц.

В начале пятой главы книги "Слово у Достоевского" сказано, что проблематику главы "можно отнести к металингвистике, понимая под ней неоформившееся еще в определенные отдельные дисциплины изучение тех сторон жизни слова, которые выходят – и совершенно правомерно – за пределы лингвистики. Конечно, металингвистические исследования не могут игнорировать лингвистики и должны пользоваться

ее результатами. Лингвистика и металингвистика изучают одно и то же конкретное, очень сложное и многогранное явление – слово (выше оно приравнивается к языку – В.А.), но изучают его с разных сторон и под разными углами зрения. Они должны дополнять друг друга, но не смешиваться" (с. 309–310). "Диалогические отношения (в том числе и диалогические отношения говорящего к собственному слову) – предмет металингвистики... В языке, как предмете лингвистики, нет и не может быть никаких диалогических отношений" (с. 311). В том числе "не может быть диалогических отношений и между текстами, опять же при строго лингвистическом подходе к этим текстам" (с. 311). «Диалогическое общение и есть подлинная сфера жизни языка... Но лингвистика изучает сам "язык" с его специфической логикой в его общности, как то, что делает возможным диалогическое общение, от самих же диалогических отношений лингвистика последовательно отвлекается. Отношения эти... должны изучаться металингвистикой, выходящей за пределы лингвистики и имеющей самостоятельный предмет и задачи» (с.312).

Если сравнить понимание металингвистики в Т и здесь, то видно некоторое различие, хотя бы в акцентах. В Т металингвистика скорее понимается как учение о высказывании в отличие от лингвистики, изучающей единицы и отношения между ними в пределах высказывания. Теперь же М.М. Бахтин считает, что объект изучения у двух дисциплин один, но под разным углом зрения; диалогические отношения, и в Т признававшиеся главным объектом изучения металингвистики, теперь становятся не просто главным, а единственным его объектом. Любопытна формулировка о том, что логические и предметно-смысловые отношения, изучаемые лингвистикой, чтобы стать диалогическими, должны "стать словом, то есть высказыванием, и получить автора" (с. 314). Снова слово приравнивается к высказыванию, как в волошиновском цикле, но не в РЖ и примыкающих работах, где "слово" понимается в обычном лингвистическом смысле. Высказывание по-прежнему выносится за пределы лингвистики, но о его свойствах, за исключением наличия автора, ничего не говорится. Текст же окончательно разводится с высказыванием и понимается, как и язык, в качестве явления, которое может изучаться и лингвистикой, и металингвистикой.

Хронологически наиболее поздний текст дошел до читателя раньше всего. Но при значительном резонансе издания 1963 г. этот фрагмент не вызвал у нас большого интереса: книгу читали прежде всего литературоведы, для которых отвлечение от собственно лингвистических проблем не надо было обосновывать. А лингвисты прошли мимо.

Большой интерес вызвали публикация Т в 1976 г. и РЖ в 1979 г. Ряд их идей отразился в отечественной лингвистике: см. книги [Падучева 1985: 29; 1996: 338] и специально связанную с развитием идей РЖ статью [Федосюк 1997]. Однако в целом концепция М.М. Бахтина остается у нас мало востребованной. Показательно, что на издание 1996 г. у нас откликнулись лишь нелингвисты. А между тем развитие современной лингвистики все более включает в себя проблематику, поднятую М.М. Бахтиным еще 40–50 лет назад.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абаев В.И. 1934 – Язык как идеология и язык как техника // Язык и мышление. П. М.; Л., 1934.
- Алпатов В.М. 1995 – Книга "Марксизм и философия языка" и история языкознания // ВЯ. 1995. № 5.
- Алпатов В.М. 1999 – Алан Гардинер – теоретик языкознания // Древний Египет: язык – культура – сознание. М., 1999.
- Бахтин М.М. 1972 – Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972.
- Бахтин М.М. 1996 – Собрание сочинений. Т. 5. М., 1996.
- Бочаров С.Г. 1993 – Об одном разговоре и вокруг него // Новое литературное обозрение. 1993, № 2.

Биллер К. 1993 – Теория языка. М., 1993.

Волошинов В.Н. 1995 – Личное дело В.Н. Волошинова // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1995, № 2.

Падучева Е.В. 1985 – Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.

Падучева Е.В. 1996 – Семантические исследования. М., 1996.

Соссюр Ф.де 1977 – Труды по языкознанию. М., 1977.

Уорф Б. 1960 – Отношение норм поведения и мышления к языку. Наука и языкознание.

Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960.

Федосюк М.Ю. 1997 – Нерешенные проблемы языковых жанров // ВЯ. 1997. № 5.

Шор Р.О., Чемоданов Н.С. 1945 – Введение в языкознание. М., 1945.

Gardner A.H. 1932 – The theory of speech and language. Oxford, 1932.

Tanaka K. 2000 – "Sutaarin-gengogaku"-seidoku. Tokyo, 2000.

© 2001 г. О.В. ЛУКИН

ЧАСТИ РЕЧИ В СРЕДНИЕ ВЕКА

(ПРЕДПОСЫЛКИ И КОНТЕКСТ)

Теория частей речи как, пожалуй, никакая другая теория современного языкознания сложна¹ и противоречива. Все ее сложности и противоречия, порой отсутствие какой бы то ни было последовательности и ясности, давно уже ставшие притчей во языцех, так или иначе затрудняют самые разнообразные исследования в области языкознания уже хотя бы потому, что в одном термине "части речи" соединено сразу несколько разных по объему и измерениям понятий.

Не будет большим преувеличением сказать, что история всего того, что связано с частеречной теорией², хронологически превосходит не только многие отрасли языкознания, но и, как это ни парадоксально, и саму науку о языке. Появившись более двух тысячелетий тому назад, эта теория в определенной степени концентрировала мудрость своего времени в отношении к языку как средству человеческого общения. Исторические и гносеологические корни неразрешимости частеречной теории лежат гораздо глубже, чем это могло бы кому-то показаться. Частеречная теория на всех этапах ее становления и развития – это не только и не просто борьба различных направлений в языкознании, утверждение своей правоты различными школами и отдельными учеными, это – отражение в самом неожиданном ракурсе всей истории человеческой мысли – и философской, и эстетической, и даже религиозной и политической.

Потребности самого времени, потребности науки того или иного времени двигали исследователей частей речи в самых, казалось бы, невероятных направлениях. Редко кто из знаменитых философов и филологов античности и средневековья, равно как и языковедов более позднего времени оставил своим вниманием эту проблематику. И сам парадокс частеречной теории заключается уже в том, что несмотря на все это, она еще остается теорией частей речи, т.е. идентичной сама себе, насколько это лишь возможно в таких условиях (или, по крайней мере, воспринимается как таковая).

Появившись более двух тысячелетий тому назад, частеречная теория обязана своим появлением самообоснованию диалектического мышления в древнегреческой философии, прежде всего – у Платона и Аристотеля. Задачи ранних античных философов, разумеется, не сводились к классификации словарного состава или определению компонентов предложения и изменениям в их количестве и значении³. Античные философы, конечно же, не имели ничего общего с тем кругом проблем, которыми занимается наука о языке. Платона интересовала структура предложений как движущих

¹ Таковой она была уже к началу двадцатого столетия, когда немецкий лингвист Э. Отто назвал ее "болезненным ребенком науки о языке", ср.: 'Die Wortart, Wortklasse oder Redeteil ist von jeher das Schmerzenskind der Sprachlehre gewesen. Einerseits ist das rechte Verhältnis der Wortarten zur Sprachlehre nirgends geklärt worden; daher ist man darauf gekommen, die Wortart zum Einteilungsprinzip der Wortlehre oder Satzlehre zu machen!' [Otto 1919: 81].

² Мы намеренно употребляем эту весьма обтекаемую формулировку, потому что собственно частеречная теория, существующая в русле языкознания, как известно, значительно моложе и философии Платона, и логики Аристотеля, и учения стоиков, и филологии александрийцев, без которых она, впрочем, немислима как теория.

³ См. [Robins 1966: 5].

сил логических аргументов, он "... упорно настаивает ... на полном тождестве между мыслью и речью" [Перельмутер 1980: 150]. Именно с этой точки зрения он говорил о том, что впоследствии было интерпретировано как предложение, имя, глагол. Аристотель ставил перед собою задачу классификации и определения основных терминов описательных наук вообще. Для стоиков изучение явлений языка (грамматики, этимологии, риторики) было центральной частью их философских исследований, тем более, это не были лингвистические исследования как таковые. Александрийские филологи (литературные критики) рассматривали грамматику как инструмент оценки литературного произведения и установления подлинности текстов ранних авторов⁴.

Аксиоматические принципы логики Аристотеля, платоновская структура высказывания, стоический анализ законов мышления и законов бытия через языковые категории, несомненно, связанные друг с другом, послужили предпосылкой для создания александрийскими филологами учения о языке на всех его ярусах, которое увенчало раннюю историю частеречной проблематики созданием непрерываемой "традиционной" системы частей речи.

Совершенно понятно, почему римские грамматисты ревностно продолжали эту традицию: у аристократов Древнего Рима все греческое было в моде, их дети воспитывались так, что могли прекрасно владеть устным и письменным греческим языком⁵. Парадоксально, но римские грамматисты считали принципиально необходимым перенять у древних греков именно количество частей речи – восемь. Но перенимая эту греческую систему, римляне "... столкнулись с тем, что в латинском языке не было артикля. Однако для них было важно, что частей речи должно быть именно восемь, поэтому вместо артикля они включили в систему междометие (хотя такую часть речи можно было бы выделить и в греческом языке)" [Алпатов 1999: 40].

В истории частеречной проблематики это первый случай, когда частеречную систему одного языка "применили" к другому. Пример этот оказался поистине заразительным и, как мы убедимся еще не раз, играл дурную шутку с исследователями частей речи. Впоследствии то римские, то греческие системы частей речи будут использованы для описания самых разнообразных языков: не занимаясь скрупулезным поиском чего-то характерного для систем этих языков, на них накладывали уже готовую схему, матрицу из восьми компонентов, сложившуюся в иное время, в иных условиях, на материале других языков.

Эпоха Элия Доната (ок. 400 г. н.э.) и Присциана (ок. 500 г. н.э.), стала как бы переходным звеном от античности к средневековью, ср.: "Заслуга Доната и Присциана состоит в сохранении классической грамматики для средневековых и через их посредство для современных языковедов. ... Донат и Присциан являются не только самыми крупными представителями грамматической науки в поздней античности, но и фигурами, стоящими на рубеже новой эпохи, эпохи средневековья..." [Грошева 1985: 210].

Для осознания места частеречной проблематики в средневековой науке необходимо понимание самого широкого контекста этого чрезвычайно непростого и весьма протяженного периода истории. Это был период, разительно отличавшийся от античности – период феодальных государств, постоянных военных столкновений, период феодального хозяйства, приводившего людей к голоду и нищете, период, когда грамотность была доступна избранным, но "... все же живая мысль, мысль исследующая и творящая, не погибла и приносила плоды раздумий и трудов немногочисленных, правда, но увлеченных наукой мыслителей, творцов научных концепций на доступном им в то далекое время уровне науки" [Реферовская 1985: 243]. Прежде всего этот период отличался господством религии. Научные проблемы Средних веков, в том числе

⁴ Подробнее о частях речи в античной науке см. нашу статью [Лукин 1999].

⁵ Любопытное в психологическом отношении замечание сделал в свое время знаменитый греческий автор II–III вв. н.э. С. Эмпирик: "... мы получаем наставления в грамматике почти с младенчества и с первых пеленок, и она является как бы каким-то исходным пунктом для обучения, а также еще и потому, что она возносится над всеми науками..." [Эмпирик 1976: 2, 60: 41].

и проблемы, которые бы мы сейчас назвали лингвистическими, существовали в рамках, установленных религиозной догмой, "... согласно которой все существующее есть творение бога" [Реферовская 1985: 243]⁶.

Языком религии и церкви, а также зависимых от них науки и школы был, как известно, латинский. Язык этот, имевший в средневековье статус международного, "... обеспечивал потребности духовного общения между образованными людьми всех стран Западной Европы и благодаря этому естественно занял центральное место в системе школьного обучения" [Десницкая 1985: 4–5]. По той роли, которую играл латинский язык в Средние века, его нельзя сравнить ни с одним из языков Европы: "На нем велась церковная служба, осуществлялась административная деятельность церкви, писались богословские и философские произведения. [...] Средневековые ученые, независимо от того, где они родились, выросли и где протекала их деятельность, пользовались в научных трудах и преподавании латинским языком. Латынь выступала в роли международного языка науки и обучения на протяжении всего классического средневековья и эпохи Ренессанса, почти до середины XVIII в. ..." [Грошева 1985: 208].

Всем этим объясняется интерес прежде всего к латинским грамматикам и, вследствие этого, крупнейший авторитет Доната и Присциана⁷, хотя, как утверждают исследователи, ни тот, ни другой "... не поднялись выше уровня простых компиляторов работ греческих и латинских предшественников" [Rijk 1967. Т. 2; pt. 1: 97] (цит. по [Грошева 1985: 208])⁸. Школьное и университетское образование стран Западной Европы строилось по плану Боэция (ок. 480–525 гг.), современника Присциана. План этот состоял из двух частей, известных под названием *trivium* и *quadrivium* и составлявших вместе семь "свободных искусств" (*artes liberales*). *Trivium* включал грамматику⁹, диалектику (логику) и риторику; *quadrivium* состоял из арифметики, геометрии, астрономии и музыки, причем все семь дисциплин были подчинены изучению главной – теологии.

Роль теории языка вообще и теории частей речи в частности была в этом контексте вполне понятной. С одной стороны, они должны были удовлетворять потребностям религиозной философии и логики, с другой – обслуживать практику преподавания латыни. С одной стороны, этими проблемами занимались отцы церкви, с другой – школьные и университетские преподаватели, хотя нередко это были одни и те же люди. Но как бы то ни было, весь комплекс проблем языкознания, в том числе и частеречные проблемы, растворялись в религиозной философии, онтологии, гносеологии и логике¹⁰ с одной стороны, и в методике и дидактике – с другой.

⁶ Ср. также: «Трактаты средневековых мыслителей, где рассматривались фундаментальные проблемы теории языка, стимулировались ... христианской онтологией и гносеологией, практическими нуждами проповеди христианства, необходимости создания письменности для перевода на "варварские" языки сакральных текстов, развитием библейской экзегетики и герменевтики, борьбой против враждебных ортодоксии учений. И конечно, теории языка создавались не "вопреки господствующей идеологии" ..., а в соответствии с нею, как ее неотъемлемая часть...» [Эдельштейн 1985: 159–160].

⁷ Ср.: "Из всех грамматиков Донат и Присциан имели самый большой авторитет: Донат потому, что его грамматика издавна служила основой преподавания, Присциан потому, что он собрал в своей компиляции почти все, что знали о грамматике до VI в." [Грошева 1985: 213].

⁸ Факт этот сам по себе примечателен тем, что подтверждает научную ценность творений александрийских грамматистов, чьи построения практически без изменений выдержали столь продолжительный и непростой отрезок истории.

⁹ Хотелось бы обратить особое внимание и на содержание, и на статус грамматики в средневековом образовании: "... грамматика, т.е. искусство правильно читать, говорить и писать по-латыни, занимала привилегированное положение в средневековой программе занятий..." [Грошева 1985: 215].

¹⁰ См. [Эдельштейн 1985: 161].

При всем этом невозможно переоценить роль античной философии, особенно философии Аристотеля, в средневековой науке. Так, в истории средневековой логики Л.М. де Рейк¹¹, называет три стадии: *logica vetus*, *logica nova* и *logica moderna*, которые соответственно совпадали: а) с периодом, когда труды Аристотеля были известны лишь по переводам Боэция; б) с периодом, когда был освоен и включен в интеллектуальную систему весь объем трудов Аристотеля вместе с богатейшими научными и философскими комментариями к ним из арабских и еврейских источников; в) с периодом, когда западноевропейские ученые начали развивать свою собственную логику, что также было результатом освоения греческой логической мысли. Развитие средневековой грамматики, в русле которой развивалась частеречная проблематика, следовало аналогичными путями, так что обе дисциплины – и логика, и грамматика – были тесно взаимосвязаны.

В развитии взаимоотношений между средневековой грамматикой¹² и религиозной логикой того времени проводят – пусть и весьма условную – границу. Это XI век – эпоха Абеляра, "... когда логика начала проникать в грамматику так же, как в теологию" [Грошева 1985: 219]. Еще категоричнее определил дальнейшее развитие этих отношений Я. Пинборг: "Грамматические и логические термины конфронтируются. Логика угрожает поглотить грамматику" [Pinborg 1967: 23]. По мнению самого Я. Пинборга¹³ это было связано с тем, что позднее, в течение XII в., семь свободных искусств отступают на задний план, вследствие чего изменяется системный статус грамматики в средневековом образовании и самом средневековом обществе, ср.: "С развитием новых наук – теологии, медицины и права с их собственными специальными знаниями – грамматика не могла соперничать. На ее месте вспомогательным средством этих новых наук стала логика, которая устанавливала свои методы. Такое изменение должно было стать значительным и для грамматики, которой предстояло приспособиться к требованиям и методам логики" [Грошева 1985: 221]. Этот характер взаимоотношений логики и грамматики можно проследить на примере многочисленных средневековых грамматических трактатов. В них обычно различают два направления в трактовке частей речи: логическое, восходящее к Аристотелю¹⁴, и грамматическое, связанное с Присцианом. Логическая трактовка явственно видна, например, в определении частей речи Петром Гелийским (Petrus Helias, сер. XII в.)¹⁵.

Следующей вехой в развитии частеречной теории под знаком взаимодействия грамматики и логики стал конец XIII века, ср.: «Период конца XIII в. завершает синтез терминистской логикой и грамматикой; модусы мысли диктуются формальной структурой языка, который служит выражению их. "Здесь впервые была сделана совершенно сознательная попытка всеобъемлющей теории языка, которая является также теорией семиотики, так как грамматика была явно базисом, на котором развивались главные семиотические проблемы"» [Грошева 1985: 220] (цит. из [Bursill-Hall 1975: 199]).

Грамматика в Средние века (прежде всего, разумеется, грамматика латинского языка)¹⁶ мыслилась также и как грамматика языка вообще, как всеобщая или

¹¹ См. [Грошева 1985: 219–220; Rijk 1962–1967].

¹² Еще раз подчеркнем, не грамматикой в современном понимании этого слова, а именно "искусством правильно читать, говорить и писать по-латыни".

¹³ См. [Pinborg 1967: 22].

¹⁴ Ср.: "Аристотель стоял у колыбели западной схоластики" [Гаврилов 1985: 113].

¹⁵ См. [Thurot 1868: 178; Грошева 1985: 230].

¹⁶ Необходимо постоянно иметь в виду обусловленный влиянием католической церкви особый статус латинского языка среди других – живых – языков Европы, ср.: «В средневековой Европе церковь делила все языки на "правильные", т.е. канонические языки Библии – еврейский, греческий и латынь, и "неправильные", т.е. языки новой Европы. Языком церкви и науки была латынь, а "неправильные" языки не удостоивались внимания схоластов» [Кузьменко 1985: 78].

универсальная грамматика¹⁷. Так, предметом грамматики архиепископа Кентерберийского Роберта Килвордби (2-я пол. XIII в.) стал "имеющий значение язык" (*sermo significativus*) в его отвлечении от отдельного языка. Этот *sermo* существует *in mente* "в разуме", и в этом смысле язык является предметом науки. При этом объект грамматики – *sermo congruus* – подчинен объекту логики – *sermo verus*. Показательно в этом смысле проводимое Килвордби приравнивание грамматики и геометрии: как геометрия отвлекается от различий в объеме изучаемых ею сфер, так грамматика должна игнорировать поверхностные различия между языками¹⁸. В отношении частеречной теории "... с развитием логических исследований произошло незаметное, но важное изменение в анализе материала: вместо того, чтобы обсуждать, *что* часть речи обозначает, логики стали обсуждать, *как* (каким образом) часть речи что-либо обозначает" [Грошева 1985: 237]. Этот факт является, пожалуй, одним из самых важных качественных сдвигов в частеречной теории. Разумеется, такое смещение акцентов самой проблемы не решило, но повело исследователей по иному пути, который, как выяснится впоследствии, также не привел их к желаемой цели.

Однако античные традиции были еще слишком сильны, чтобы даже в этой, изменившейся научной парадигме уступить место новым взглядам. Да собственно новых-то взглядов как таковых и не было... И другой значительный церковный писатель того времени, автор "Колыбели грамматического искусства Доната" (*Canabula grammaticae artis Donati*) и "О восьми частях речи" (*De octo partibus orationis*) Беда Достопочтенный, превосходный знаток латыни, тоже не пошел дальше знаменитого римского грамматиста. Названные произведения Беда Достопочтенного, по свидетельству многочисленных исследователей, есть не что иное как "... просто переписанные грамматики Доната" [Клейнер 1985: 66–67]. Еще одна средневековая грамматика – "Грамматика" Эльфрика – трактуется на этом фоне уже как определенный шаг вперед в развитии науки о языке вообще и частеречной теории в частности. Ее автор вводил и пояснял термины латинской грамматики, опираясь опять-таки прежде всего на Доната¹⁹. Тем не менее и Эльфрик не продвинулся дальше компиляции Доната. Похожим образом обстояли дела и в других странах Европы. Так, единственный неанонимный древнеисландский лингвистический трактат, написанный скальдом Олавом Тордарсоном в середине XIII в., тоже является не чем иным, как переложением грамматик Присциана и Доната²⁰.

Другой качественный сдвиг в средневековой частеречной теории состоял в том, что из греческой александрийской грамматики с ее технологическим статусом²¹ и дескриптивным характером грамматика стала постепенно превращаться в школьную прескриптивную дисциплину²². Задачей послеалександрийских частеречных теорий было

¹⁷ Ср.: «Отношение между логикой и грамматикой (латинской) мыслилось как универсальное. Этим было положено начало теориям "универсальной грамматики", создававшимся в последующие периоды лингвистической науки» [Десницкая 1985: 6]. Ср. также: «Предметом рационалистических спекуляций средневековых мыслителей были не языки различных народов тогдашней ойкумены, а "язык как человеческая способность, как универсальная и неизменная характеристика человека"» [Эдельштейн 1985: 161].

¹⁸ См. [Грошева 1985: 236].

¹⁹ Ср.: «Глава "Введение в части речи", отсутствующая у Присциана, также вводится фразой Доната: *partes orationis sunt octo = eahta dælas synd ledespraece* "восемь частей в латинской речи". У Доната эта глава занимает несколько строк. Эльфрик отводит ей несколько страниц, где в очень сжатой и доступной форме говорит обо всех частях речи и их свойствах. Это позволяет Эльфрику отказаться от определений, сделав основной упор на описании форм» [Клейнер 1985: 71–72].

²⁰ См. [Кузьменко 1985: 78].

²¹ См. [Гаврилов 1985: 135].

²² Ср.: "Именно с этого времени намечился разрыв между практическим и теоретическим подходами в грамматике; учебные пособия, главным достоинством которых была доступность и простота, стали составляться отдельно от теоретических трактатов по грамматике" [Грошева 1985: 218].

не исследование и описание языкового материала, а объяснение этого материала в учебных целях. Именно этому переходу к лингво-дидактической практике, целью которой было передать минимум грамматических знаний, были посвящены, к примеру, усилия византийских словесников²³. Практическая направленность частеречных рассуждений средневековых византийцев проявлялась даже в особенностях их терминологии. Формами, в которых происходило обучение грамматике, были прежде т.н. эпимерисмы (ἐπιμερισμοί), название которых возводят к греческому термину μέρη τοῦ λόγου (части речи): "... в эпимерисмах давался как бы ключ к тому, как ученик должен, разобрав слова по частям речи, переходить к характеристике их по форме (род, число и т.д.)" [Гаврилов 1985: 130–131].

Спекулятивные²⁴ грамматики XII–XIV вв., которые сделали "Искусство грамматики", существовавшее прежде в контексте "семи свободных искусств" как "основа и корень" всего учения²⁵ в качестве самостоятельной науки, восходят к комментариям всех тех же Доната и Присциана. Схоласты-модисты, исходя из установки, что наука представляет собой поиск универсальных и неизменных причин, пытались вывести грамматические категории из категорий логики, эпистемологии и метафизики, а еще точнее – свести категории всех четырех к одним и тем же общим принципам [Lyons 1973: 15]. Рассуждения модистов сводились примерно к следующему: если грамматика должна рассматриваться как самостоятельная наука, она должна иметь метод, обеспечивающий достоверность познания.

Однако со времен Аристотеля достоверность знания ставилась в зависимость от того, достоверны или нет принципы знания. Поэтому и для спекулятивной грамматики самоочевидно, что достоверность грамматического знания основана на непоколебимом познании принципов; ведь ничто не может быть познано в полной мере, пока не познаны его первые принципы. В этом смысле задача грамматики состояла в том, чтобы "... объяснять достающиеся ей предметы их самодостаточными причинами, которыми они необходимо могут быть познаны и доказаны" [Dacus 1969: 39]. Эти принципы стали первыми принципами для грамматиста, т.к. они – составные части мышления, в которые он, как представитель "особого искусства", "вплетает" заданный комплексный материал, или, поскольку они являются исходными точками его мышления, о которых он сам не может дать отчета. Таким образом грамматика, как любое особенное искусство или наука, может быть сводима только к тем первым принципам, которые действительны не как таковые, а только в отношении к тому или иному особому искусству. "Вплетение" в первые принципы или первопричины, действительные для всех наук, т.е. обоснование первых грамматических принципов, остается прерогативой метафизики.

Первые принципы грамматики – в отличие от первых принципов метафизики – происходят из опыта. Эти первые принципы являются одновременно и *principia sonstructivis*, т.е. *Modi significandi* (способы значения), при помощи которых делается возможным определенное то или иное осмысленное составление высказываний. При этом восемь *Modi significandi* – *nomen, pronomen, verbum, adverbium, participium, coniunctio, interiectio, praepositio*²⁶ – восходят к своей непосредственной причине – к *Modi intelligendi* (способам познания), которые, в свою очередь объясняют *Modi essendi* (способами бытия). И как десять аристотелевских категорий отображают определенный порядок в мире сущего, так и восемь *Modi significandi* должны быть поняты как наиболее общие виды, которыми слова конституируются как "части речи"²⁷.

²³ См. [Гаврилов 1985: 135].

²⁴ Ср.: "Спекулятивное ..., тип теоретического знания, которое выводится без обращения к опыту, при помощи рефлексии, и направлено на осмысление оснований науки и культуры" [Нарский 1983: 645–646].

²⁵ См. [Kobusch 1996: 77].

²⁶ Нельзя не увидеть в них "священные" восемь частей речи Дионисия Фракийского в латинской интерпретации.

²⁷ См. [Kobusch 1996: 80–85].

Частеречные построения модистов были связаны также и с их трактовкой предложения, которая, в свою очередь, опиралась на аристотелевскую концепцию движения: «Предложение понималось как динамический переход из начального пункта (лат. *terminus a quo*) к конечному (лат. *terminus a quem*). [...] К частям речи, соотносительным с исходной позицией, причисляли существительные и местоимения в именительном падеже, называемыми *modus entis* ("модус сущего"). К частям речи, соотносительным с конечным пунктом, причисляли глаголы, прилагательные, причастия и наречия, называемые *modus esse* ("модус существования, бытия"). Третья из выделенных групп объединяла части речи, выражающие отношения (предлоги, союзы, междометия)» [Арутюнова 1990: 274].

Грамматика трактовалась модистами как "наука о языке" (нем. *Sprachwissenschaft*) в отличие от "реальной науки" (нем. *Realwissenschaft*), потому что предметом исследования первой является язык, а второй – реальный предмет или понятие, этот предмет обозначающий. Причем "наука о языке" изучает как бы язык вообще, распространяя сферу своей компетенции на все языки, рассматривая язык как некую универсальную грамматическую структуру, отражающую все конкретные языки. Именно поэтому грамматики того времени назывались "спекулятивными", так как язык напоминал модистам зеркало (лат. *speculum*, нем. *Spiegel*), которое дает не только "отражение" бытия, "действительности", но и отражает человеческое мышление.

Части речи, по мнению модистов, должны быть во всех языках одними и теми же, потому что они – своего рода конкретные реализации частей речи универсального языка, а их различия состоят только в формальном выражении²⁸. Частеречные теории модистов сами как в зеркале повторяли частеречные построения Дионисия Фракийского, независимо от того, описывала та или иная грамматика язык вообще, латинский язык или какой бы то ни было другой язык (английский, исландский и др.). Однако они поставили частеречную теорию на иной качественно новый уровень по сравнению с античной эпохой.

Средневековая наука придала частеречной концепции, складывавшейся в античности на протяжении нескольких веков (по крайней мере от IV в. до н.э. до V–VI вв. н.э.), статус непререкаемого, освященного церковью авторитета. Если наблюдательные греческие философы предложили философский метод подхода к описанию своего родного языка при помощи частей речи, то их последователи переняли не метод, а только схему – восемь частей речи, которая в Средние века как в капле воды отразилась в восьми *Modi significandi* спекулятивных грамматик. Живая научная мысль античности в Средние века была особым образом "законосервирована". Смещение внимания исследователей с содержания на форму частей речи, превращение грамматики из дескриптивной в прескриптивную дисциплину на фоне установления и поддержания веры в правильность и незыблемость "традиционной" теории частей речи – это, пожалуй, самый главный итог средневековой науки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алпатов В.М. 1999 – История лингвистических учений. М., 1999.
Арутюнова Н.Д. 1990 – Логическое направление в языкознании // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
Гаврилов А.К. 1985 – Языкознание византийцев // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985.
Грошева А.В. 1985 – Грамматические учения западноевропейского средневековья // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985.

²⁸ Ср.: "Die scholastische *grammatica speculativa* des Mittelalters, die sich ganz in aristotelischen Denktradition bewegte, war von dem grundsätzlichen Optimismus getragen, daß die *Sprachformen* (*modi significandi*), die *Denkformen* (*modi intelligendi*) und die *Seinsformen* (*modi essendi*) im Prinzip symmetrisch zueinander sind und daß deshalb die Struktur der Sprache als Spiegel (*speculum*) der Struktur des Denkens und des Seins aufgefaßt werden kann" [Köller 1988: 220].

- Десницкая А.В.* 1985 – Предисловие // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985.
- Клейнер Ю.А.* 1985 – Латинская грамматическая традиция в Англии VII–XI вв. (Беда, Алкуин, Эльфрик) // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985.
- Кузьменко Ю.К.* 1985 – Средневековые исландские грамматические трактаты // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985.
- Лукин О.В.* 1999 – Части речи в античной науке (логика, риторика, грамматика) // ВЯ. 1999. № 1.
- Нарский И.С.* 1983 – Спекулятивное // Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
- Перельмутер И.А.* 1980 – Платон // История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980.
- Реферовская Е.А.* 1985 – "Спор" реалистов и номиналистов // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985.
- Эдельштейн Ю.М.* 1985 – Проблемы языка в памятниках патристики // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985.
- Эмпирик С.* 1976 – Против грамматиков // Секст Эмпирик: Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1976.
- Bursill-Hall G.L.* 1975 – The Middle Ages // Current trends in linguistics, 13, ed. by Sebeok, Th. S. The Hague; Paris, 1975.
- Dacus B.* 1969 – Modi significandi sive quaestiones super priscianum maiorem. Copenhagen, 1969.
- Köller W.* 1988 – Philosophie der Grammatik. Vom Sinn grammatischen Wissens. Stuttgart, 1988.
- Kobusch T.* 1996 – Grammatica speculativa (12.–14. Jh.) // Borsche T. (Hrsg.) Klassiker der Sprachphilosophie: von Platon bis Noam Chomsky. München, 1996.
- Lyons J.* 1973 – Einführung in die moderne Linguistik. München, 1973.
- Otto E.* 1919 – Zur Grundlegung der Sprachwissenschaft. Bielefeld; Leipzig, 1919.
- Pinborg J.* 1967 – Die Entwicklung der Sprachtheorie im Mittelalter. Münster; Kopenhagen (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. T. 42. Hf. 2), 1967.
- Rijk L.M.De.* 1962–1967 – Logica modernorum: A contribution to the History of early terminist logic. V. 1–3. Assen, 1962–1967.
- Robins R.H.* 1966 – The development of the word class system of the European grammatical tradition // Foundations of language. 1966. 2.
- Thurot Ch.* 1868 – Notices et extraits de divers manuscrits latins pour servir ... l'histoire des doctrines grammaticales au Moyen-Âge // Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale. Paris. 1868.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Г.П. Нецименко. Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков). München: Verlag Otto Sagner, 1999. 234 S. (Specimina philologiae Slavicae. Bd. 121).

Рецензируемая монография является результатом многолетнего¹ изучения ее автором комплексной проблематики языковой ситуации, которая "тянет за собой" широкий спектр актуальных социолингвистических вопросов, имеющих большое теоретическое и прикладное значение. Центральное место в ряду этих вопросов занимает фундаментальная проблема современной социолингвистики – проблема функциональной дифференциации этнического языка, которой и посвящена рецензируемая книга.

Термин-понятие "этнический язык", определивший название исследования, трактуется автором шире, чем распространенный термин "национальный язык". Как семантически более емкий, термин "этнический язык" может быть применен к любому периоду в жизни социума – национальному, донациональному, постнациональному. Это и определило его приоритетность при выборе терминологического аппарата.

Конкретной исследовательской задачей данного труда является макромоделирование строения этнического языка, описание конфигурации этой модели, определение организующих ее принципов. В соответствии с этим выстроена композиция исследования, включающего введение с целевыми установками автора (с. 3–19), две главы, составляющие основную часть текста: "Коммуникативная модель строения этнического языка" (с. 20–128); "Концепция

описания национальных языковых ситуаций" (с. 129–202), а также "Заключение" (с. 203–220), "Резюме" на английском языке (с. 221–223) и список "Цитируемой литературы" (с. 224–229).

Обосновывая актуальность темы и определяя ракурс исследования, автор отдает себе отчет в том, что исследуемая ею ниша отнюдь не пуста, поскольку в основе большинства имеющихся социолингвистических описаний славянских (и не только славянских) языков находится вполне сформировавшаяся и во многом ставшая уже общепринятой теоретическая концепция – стратификационная (или, по определению автора, онтолого-таксономическая), базирующаяся на теории литературного языка, причем в том ее виде, в каком данная теория сложилась к середине XX в. В монографии уделено большое внимание анализу теоретических основ данной концепции. По своей конфигурации стратификационная модель имеет вид иерархизованной вертикали. Это своего рода пирамида, расширенное основание которой образуют территориальные диалекты, вершину же венчает литературный язык как наиболее престижный, стабильный, полифункциональный, обработанный (кодифицированный для большинства исследователей) идиом, используемый в качестве единственного национально-репрезентативного, общезнаменного средства общения. Численность позиций, включаемых в состав стратификационной модели этнического языка может варьироваться как по отдельным языкам, так и в истории одного и того же языка. Литературный язык (также обозначаемый эквивалентным термином "стандартный язык") играет важней-

¹ Первые статьи на эту тему автор начал публиковать с середины 90-х гг. см., в частности, список в конце рецензии [Нецименко 1985; 1986; 1988; 1989а; 1989б; 1994а; 1994б].

шую роль в стратификационной концепции. На основе этой модели выполнены современные социолингвистические описания подавляющего большинства славянских языков.

Вместе с тем, практическая апробация исходных теоретических положений данной концепции на конкретном языковом материале, особенно современном, выявляет немало уязвимых мест. Общеизвестно, что классические языковые идиомы, которыми обычно оперируют исследователи, в своем первоначальном виде, т.е. как гомогенные и целостные структуры, в речевом узусе обычно не используются. Чаще всего они функционируют в дисперсном виде, их границы взаимопроницаемы. Стратификационная концепция, сыгравшая историческую роль в изучении конституирующих признаков литературно-языковых идиомов (что было особенно важно при исследовании ранней стадии их формирования), в условиях изменившегося мира, новых – электронных СМИ, уже "не работает". Она по традиции завышает оценку литературного языка, а *prigoi* приписывая ему максимально высокий социолингвистический статус в модели этнического языка и способность обслуживать весь спектр этнической коммуникации. Тем самым литературноцентристский подход объективно занижает роль других, "нелитературных" (разговорных) идиомов, не позволяя дать оценку их реальной коммуникативной значимости в современном мире. В монографии верно подмечено, что сосредоточенность исследователей на одном идиоме, известная заданность их угла зрения и итоговых выводов объясняются не только действительной значимостью литературного языка в системе вербальной коммуникации, но и профессиональной специализацией исследователей, изучающих проблему дифференциации этнического языка: как правило, они являются специалистами именно по литературному языку, его истории.

Автор подчеркивает, что модель этнического языка не является реестром всех форм его манифестации. Она отражает взаимосвязи, существующие между идиомами, их распределение в коммуникативном пространстве и как следствие этого – группировку идиомов в соответствующие функциональные блоки, иначе именуемые ярусами, или же стратами.

Необходимость корректировки общепринятой теоретической концепции этнического языка и отказ от некоторых привычных ее стереотипов очевидны сегодня многим специалистам по теории и истории литературного языка. Однако расхождения

между сущностью концепции и современным состоянием вербальной коммуникации в социуме едва ли могут быть преодолены в рамках традиционного подхода. По убеждению автора, решение может быть найдено в русле коммуникативного подхода, существенно отличающегося от стратификационного как принципами структурирования языка, так и оценкой значимости языковых феноменов.

В основу выдвигаемой автором концепции структурирования этнического языка положено проецирование коммуникативной модели на плоскость языка. Исследователь воссоздает макро модель этнического языка в виде двух автономных, но взаимосвязанных и взаимодополняющих подсистем или континуумов – коммуникативного и языкового. Такой подход основывается на следующих исходных посылах: а) обеспечение коммуникативных потребностей является важнейшей функцией языка; б) между коммуникативным и языковым континуумами существует причинно-следственная взаимосвязь; в) коммуникативный и языковой континуумы имеют симметричное строение (членение коммуникативного континуума предопределяет членение языкового).

Первая глава монографии – теоретически и методологически центральная часть исследования – посвящена описанию строения этнического языка как сквозь призму "коммуникативной координаты". Большая часть данной главы посвящена определению степени и диапазона участия языковой системы в обеспечении коммуникативных потребностей личности и социума в целом, что обуславливает переосмысление целевых установок и ценностных ориентиров при исследовании проблемы языковой ситуации.

Строение каждого из континуумов – коммуникативного и языкового – представлено в монографии в виде бинарной модели.

Коммуникативный континуум любой этнической общности практически на всех этапах ее существования состоит из двух ареалов (или двух "коммуникативных сфер"): (1) ареала *высших коммуникативных функций*, осуществляющихся в условиях строгой регламентации речевого поведения коммуникантов, и (2) ареала *непринужденного повседневного общения* – неофициального, непубличного, интерперсонального, спонтанного, ориентированного на индивидуального адресата.

Языковой континуум, т.е. этнический язык, также состоит из двух ареалов: (1) подсистемы языкового обеспечения *высших коммуникативных функций* и (2) подсистемы языкового обеспечения

непринужденного повседневного общения. В действительности, эти два ареала или две "подсистемы" бинарной модели этнического языка по содержанию значительно богаче и многослойнее, поскольку они отражают всю гамму используемых в реальной коммуникации идиомов, которые к тому же практически не употребляются в чистом виде. Так, в подсистему языкового обеспечения высших коммуникативных функций входит также официальное публичное общение и полуофициальное интерперсональное общение (при отсутствии доверительных межличностных отношений). Первая подсистема этнического языка обслуживает строго "цензурируемую" коммуникативную сферу: она предназначена для обеспечения речевого поведения, регулируемого двойной цензурой — внешней и автоцензурой (т.е. "принужденного" речевого поведения). Вторая подсистема этнического языка, обслуживающая непринужденное общение, совокупно обозначаемая "разговорный язык", характеризуется отсутствием или же ограниченным применением автоцензуры, т.е. речевого самоконтроля. Вторая подсистема характеризуется принципиально иной психологической установкой общения и иным выразительным рядом, в частности, диалогическим построением текста, линейным развертыванием высказывания, отражающим поток сознания, абсолютным преобладанием смешанных текстов и т.д. Совокупность обоих ареалов составляет комплексный языковой континуум (т.е. этнический язык).

"Золотым сечением" исследования является, на наш взгляд, вводимая автором антиномия "регулируемое — нерегулируемое речевое поведение": именно она позволяет под новым ракурсом увидеть не только коммуникативный континуум, но и обслуживающий его континуум языковой. Лежащее в ее основе противоположение двух типов речевого поведения инициировало воссоздание дихотомической макромодели языка. Данная оппозиция в основе своей непротиворечива и проводится строго и последовательно. Все остальные оппозиции, которые могут быть использованы для построения дихотомической модели этнического языка, в той или иной мере являются ее спецификацией.

Несмотря на то, что предлагаемая концепция структурирования этнического языка направлена на коррекцию "литературно-центристского" взгляда на язык, автора нельзя упрекнуть в недооценке значимости литературного языка в культуре социума. Напротив, литературному языку, "визитной

карточке этноса", центральному манифестанту подсистемы регулируемого речевого поведения в книге уделено исключительно большое внимание. Утверждение в качестве функциональной доминанты общэтнического литературного языка (в его письменной и устной разновидностях) автор считает важнейшей задачей языковой политики. Раздел, посвященный литературному языку, изобилует тонким анализом, важными уточнениями, постановкой остродискуссионных вопросов.

В том, что из всех идиомов этнического языка именно литературный язык оказывается максимально пригодным для функционирования в ареале публичного и официального общения, решающую роль играет прежде всего то обстоятельство, что в современной языковой ситуации, несмотря ни на что, именно литературный язык имеет максимальную зону охвата социума. Он является единственной общэтнической формой существования языка. "Гибкая стабильность" нормы литературного языка обуславливает возможность его использования не только для фиксации, но и для хранения и дистрибуции (как синхронной, так и диахронной, т.е. между поколениями) духовных ценностей. Особенностью современной языковой ситуации является то обстоятельство, что этими качествами обладает не только письменная, но и устная манифестация литературного языка.

В монографии представлен широкий спектр мнений об источниках формирования современной нормы. Отмечено, в частности, возрастание нормотворческой роли научно-популярных и публицистических текстов, а также все возрастающая нормотворческая роль языка СМИ, одним из цитируемых в монографии чешских исследователей названного даже "автономной языковой формой". Будучи "сколком" современного состояния речевой культуры и, соответственно, современной языковой ситуации, язык электронных СМИ в то же время является основной сферой использования устного литературного языка. Затрагивая весьма актуальный вопрос об участии языка произведений художественной литературы в современном нормотворческом процессе, автор вносит важные уточнения и дополнения.

Особенно много инновационных акцентов в разделе, посвященном устному литературному языку. В книге представлен весь спектр мнений на природу данного феномена. Обсуждая разные точки зрения на природу литературного языка и высказывая свою, автор считает целесообраз-

ным вводить оппозицию "кодифицированность – некодифицированность" в н у т р ь этого идиома: более логично рассматривать данную оппозицию в рамках этнического языка в целом, противопоставляя по этому признаку языковое обеспечение двух коммуникативных ареалов. Оперирование понятием литературный некодифицированный феномен, по мнению исследователя, может иметь свой резон лишь при условии, что будет решена проблема установления "порога" литературности, т.е. определения той критической массы, выход за пределы которой делает текст нелитературным. Продолжая дискуссию, автор аргументированно показывает несостоятельность отождествления некоторыми исследователями устного литературного языка с озвученным вариантом письменной речи. Самостоятельная природа данного феномена проявляется у некоторых этносов еще до возникновения письменной традиции. Использование этнического устного культурного языка в ареале высших коммуникативных функций до возникновения письменной традиции отмечено, в частности, в истории чешского и словацкого этносов. В качестве вспомогательного языка он применялся в костеле, в административно-правовой и хозяйственной сферах. Функционирование устного культурного языка в качестве предшественника литературного языка подготовило почву для интенсивного развития последнего.

Автор констатирует, что для ранних этапов цивилизационного развития социума оппозиция "письменность – устность" может использоваться при моделировании строения этнического языка в целом, поскольку в этот период дифференциация языкового обеспечения обоих ареалов действительно встраивается в рамки названной антиномии: ареал высших коммуникативных функций практически полностью представляет собой зону п и с ь м е н н о й вербальной коммуникации; ареал непринужденного повседневного общения – коммуникации устной. В рамках этнического языка письменная коммуникация связывалась прежде всего с литературным идиомом, поэтому первоначально он противопоставлялся всем остальным, "неписьменным" идиомам, т.е. идиомам, использующимся в сфере устного (в данном случае – разговорного) общения.

В более поздние периоды в жизни этноса использование оппозиции "письменность – устность" для макроmodellирования строения этнического языка уже утрачивает свою эффективность, поскольку закрепление устных и письменных форм существования языка за разными коммуникативными ареа-

лами уже не столь очевидно, как ранее. Важную роль в этом сыграло становление устного литературного языка, происходившее у большинства славянских народов во второй половине XIX в. С формированием устной разновидности литературного языка происходит дуалистическое разделение литературного языка, бывшего до сих пор единым (письменным) феноменом, на две разновидности: письменную и устную.

В результате формирования этого идиома антиномия "письменность – устность", проявлявшаяся ранее в масштабах этнического языка в целом, стала актуальной и для литературного языка (появилась дихотомия "письменный – устный литературный язык"). Эта актуальность особенно возросла после обретения устным литературным языком статуса общеэтнического языкового средства.

Таким образом, применительно к современному состоянию этнической вербальной коммуникации оппозиция "письменность – устность" распространяется и на литературный язык, который, набирая свою функциональную мощь, становится единственным языковым идиомом, совершающим в истории этноса движение по оси "письменность – устность".

Давая характеристику обеим манифестациям литературного языка – письменной и устной, автор уделяет большое внимание актуальной проблеме использования в речевой продукции современного социума "смешанных" или "гибридных" текстов, т.е. текстов, в которых в литературную первооснову включаются элементы сленга, жаргона, просторечия и пр. Изложение иллюстрируется ярким фактическим материалом.

Явление гибридных текстов связано с новым статусом СМИ и их влиянием на состояние вербальной культуры в обществе. В связи с этой этической проблемой, волнующей общество [Устюжанин 1999], автор не только констатирует ее наличие, но дает необходимые рекомендации для улучшения состояния речевой культуры.

Появление электронных СМИ коренным образом изменило статус устного литературного языка, его значимость в системе общественной коммуникации. Благодаря радио и ТВ устный литературный язык, использовавшийся ранее в основном при интерперсональном официальном общении, стал средством общеэтнической, притом м г н о в е н н о й, коммуникативной связи. Автор констатирует, что ныне именно устные СМИ являются доминирующим информационным каналом. Именно поэтому значительно возрастает влияние языка СМИ

на современное состояние вербальной культуры. Следует учитывать, что корректность письменного-литературного текста регулируется двумя фильтрами: (1) автоцензурой и (2) "внешней" цензурой (например, литературным редактором), в то время как устно-литературный текст имеет только один регулятор правильности — автоцензуру. Правда, роль внешней цензуры с определенной долей условности могут выполнять претензии, высказываемые слушателями, однако, как правило, эти реплики не соотношены во времени с речевым актом, поэтому не могут влиять на характер текста. Это означает, что для построения корректного с точки зрения языковой нормы устного литературного текста необходим более высокий уровень языковой компетенции говорящего. Не случайно поэтому особую остроту приобретает проблема языковых ошибок на радио и телевидении, стилистической неадекватности языковых средств. Благодаря достижениям научно-технического прогресса эти ошибки могут мгновенно тиражироваться, транслироваться на массовую аудиторию, вызывая не только болезненную реакцию некоторых слушателей (зрителей), но и пагубно влияя на общий уровень нашей языковой культуры.

Автор цитирует зафиксированные ею примеры характерных ошибок, прозвучавшие по радио или с экрана телевизора: крайне странное употребление предложного "о", буквально "инфицировавшее" нашу речь в последнее время ("доказать о том", "в смысле о том", "тема о том", "посмотрите о том" и т.п.). К числу наиболее характерных ошибок относятся также образцы квазилитературных, гиперкорректных текстов, перенасыщенных к тому же профессионализмами (например, *Мы дали команду произвести подметание улиц*), неправильное воспроизведение иностранных слов (*п р е з у м н о с т ь* *н е в и н о в н о с т и* *вм. презумпция; тет на тет* *вм. тет а тет; страховый п о л ю с* *вм. полис*), неправильное ударение (*в два раза*) и т.д. Большой интерес представляет анализ ошибок, определяемых автором как диагностические, фиксирующие напряженные места в кодификации литературного языка (склонение сложных числительных, определение рода заимствованных слов, родовое неразграничение "обоих — обеих", склонение существительного *коллега* "с моим коллегом", случаи адъективации, окачествления глагольной формы "ехал в п о д в ы п и в ш е м состоянии". Подобные ошибки

приобретают массовый характер, и, возможно, в будущем потребуются внести изменения в норму употребления (очевидно, допуская варьирование). Автор делает вывод, что в условиях современной коммуникации, активизации общественной жизни, возрастания социальной активности населения одной из первоочередных задач языкового воспитания является п о в ы ш е н и е к у л ь т у р ы прежде всего у с т н о г о с л о в а.

Комплексный и интердисциплинарный характер рассматриваемой проблемы обусловили привлечение для ее решения помимо специальных методических приемов, используемых в языкознании, а также в сопредельных с ним науках (социолингвистике, психолингвистике, социологии и пр.), и универсальных научных методов. В этой связи следует особо выделить с и с т е м н о - ф у н к ц и о н а л ь н ы й и с о п о с т а в и т е л ь н ы й методы.

Для проведения сопоставительного исследования автор использует в работе живой, интересный и разнообразный фактический материал, отражающий специфику языковой ситуации целого ряда славянских этносов, а также таких полиэтнических государств, как РФ и СССР. Этот материал был получен автором в результате собственных наблюдений (прежде всего русская и чешская языковая ситуация), а также путем изучения существующих социолингвистических описаний болгарского, польского, русского, словацкого, чешского языков. Представленность в работе упомянутого языкового материала не одинакова. Так, характеристике социолингвистических концепций русского, чешского и болгарского языков (по одному языку от каждой группы славянских языков) посвящены самостоятельные разделы второй главы. Данные о польской и словацкой языковых ситуациях, исследованных в рабочем порядке, в тексте монографии рассредоточены. Они привлекались по мере необходимости при рассмотрении некоторых концептуальных вопросов.

Наибольшее внимание в монографии уделено материалу русского и чешского языков и соответственно теоретическим концепциям, сформировавшимся в русистике и бегемистике. Это обусловлено прежде всего тем, что в славистике именно эти национальные школы — отечественная и чешская — существенно повлияли на направленность социолингвистических исследований. Автор неоднократно подчеркивает особую значимость для рассмотрения проблемы языковой ситуации фактов чешского языка,

наиболее отчетливо выявляющих уязвимость как самой стратификационной концепции, так и ее основополагающей аксиомы о доминирующем положении литературного языка в системе этнической коммуникации.

Возможно, при отборе языков для изложения концепций описания национальных языковых ситуаций было бы целесообразно включить языки, отличающиеся также типологией нормы (например, русский, чешский, болгарский, опирающиеся на предшествующую письменную традицию, с одной стороны, и сербский и хорватский, в основу которых положена устная диалектная речь, с другой). Это еще больше укрепило бы доказательную базу фундаментального вывода о том, что "принцип бинарного членения этнического языка на две автономные подсистемы имеет универсальную значимость" (с. 208), что, безусловно, расширяет сферу приложения представляемой в монографии концепции. Этот принцип может быть применен как к одному и тому же языку в его диахроническом развитии, так и к различным языкам при их синхронном изучении. Предлагаемый вид членения может быть использован для самых различных языков, поскольку это языковая универсалия.

Обобщая свои наблюдения, отметим, что многие положения рецензируемого научного труда еще предстоит проанализировать и освоить, но совершенно ясно уже сейчас, что это глубокое, оригинальное и во многих отношениях новаторское исследование.

Читая монографию, нельзя не отметить хорошо продуманную графическую иллюстрацию излагаемого теоретического материала. Используемые в книге рисунки наглядно показывают отличия в конфигурации сопоставляемых концепций – коммуникативной и стратификационной. Так, если последняя имеет вид иерархизованной вертикали, то коммуникативная модель, напротив, является плоскостной, горизонтальной, состоящей из двух рядом расположенных подсистем (языковое обеспечение ареала высших коммуникативных функций и языковое обеспечение непринужденного повседневного общения).

Исследование потребовало привлечения обширного терминологического аппарата. Несомненным достоинством рецензируемого труда является тщательный отбор и обоснование привычных терминов с точки зрения авторской концепции (э т н и ч е с к и й я з ы к , н а ц и о н а л ь н ы й я з ы к , у с т н ы й л и т е р а т у р н ы й я з ы к , и д и о м ы и др.).

Несмотря на то, что рецензируемая монография была задумана и выполнена как научно-лингвистическое исследование, она может по праву рассматриваться и как добротное учебное пособие для целого ряда спецкурсов, адресованных студентам, аспирантам, молодым преподавателям языковых вузов. Определенность защищаемых точек зрения, богатство библиографического и справочного материалов, наглядность рисунков и схем делает монографию примером изложения сложного материала в простой и четкой манере. Обобщая достижения современной социолингвистики и не уходя от освещения остродискуссионных спорных и нерешенных ее проблем, книга демонстрирует, как могут быть использованы главные понятия социолингвистики для описания отдельно взятого языка, и сопоставительного описания нескольких языков, а также – что не менее важно – в каком направлении их еще следует уточнять и развивать. Рецензируемая книга – значительный вклад в развитие теоретических основ современной социолингвистики.

Нельзя не выразить глубокой признательности немецкому издателю, благодаря которому интересное исследование нашей соотечественницы увидело свет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Нещименко Г.П.* 1985 – Функциональное членение чешского языка // Функциональная стратификация языка. М., 1985.
- Нещименко Г.П.* 1986 – K problému diferencie národného jazyka // Jazykovedné aktuality. Informatívni zpravodaj československých jazykovedcú. 1986. № 1, 2.
- Нещименко Г.П.* 1988 – Проблема функциональной дифференциации национального языка в аспекте сопоставительного изучения славянских языков // X Международной съезд славистов. София, сентябрь 1988 г. Доклады советской делегации. М., 1988.
- Нещименко Г.П.* 1989а – Языковая ситуация в Чехии в XII–XIV вв. // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989.
- Нещименко Г.П.* 1989б – Языковая ситуация в 50–60-х годах XIX в. // Чешская нация на заключительном этапе формирования: 1850 г. – начало 70-х годов XIX в. М., 1989.

Нецименко Г.П. 1994а – Дихотомия "письменная – устная речь" и "монологическая – диалогическая речь" и их значимость для решения проблемы моделирования строения национального языка // Writing as speaking: language, text, discourse, communication. Tübingen, 1994.

Нецименко Г.П. 1994б – Několik postřehů k problému diferenciacie národného jazyka //

K diferenciaci súčasného mlúveného jazyka. Ostrava, 1994.

Устюжанин В. 1999 – Из стенограммы заседания Госдумы: "Ублюдок, гнида, пустозвон!..." Тут отключили микрофон // О некоторых лексических особенностях дискуссий российских политиков // Мир за неделю. 1999. № 10.

Г.Г. Тяпко

W. Lehfeldt. Die altrussischen Inschriften des Hildesheimer Enkolpiens // Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. I. Philologische-Historische Klasse. Jahrgang 1999. Nr. 1. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1999. 54 S.

Исследование истории русского языка и памятников древней письменности за последние годы приобрело целенаправленный характер. После некоторого "затишья" в этой области наблюдается повышенный интерес к традициям и культуре древних текстов, изображений, надписей. И здесь опыт классической филологии прошлых времен исключительно полезен. В этом отношении многолетняя плодотворная деятельность европейских ученых по изучению и пропаганде "святоотеческого" наследия весьма поучительна. Имея сложившуюся школу со своими традициями (без "шатаний" и "уклонов", как в России), занимаюсь постоянными поисками в редких архивных собраниях, исследования ученых из Германии ведутся очень аккуратно, последовательно и скрупулезно, на высоком научно-теоретическом уровне, с живой авторской фантазией в выборе темы и источника и точном следовании историко-лингвистическим фактам.

Работа немецкого слависта В. Лефельдта как раз и находится в русле богатой традиции западноевропейских исследований памятников старины. К слову сказать, в Германии уже в течение многих лет существует не одна серия, публикующая труды по славянской филологии и истории. Филолого-исторический класс Геттингенской Академии наук, на наш взгляд, неизменно следует четким и верным установкам: во-первых, следует найти и расшифровать оригинальный источник, во-вторых, сделать подробное описание всех его уровней – текстологического, языковедческого, палеографического, исторического и др.; в-третьих, представить качественный иллюстративный материал. Всем этим характеристикам полностью соответствует рецензируемый труд.

Обсуждаемая работа тем более нам кажется интересной еще и потому, что в научной литературе не существовало единого мнения относительно происхождения

энколпиона из "Гилдесгейма" (как называли этот немецкий город русские ученые начала XX в.). Речь идет о древнем нагрудном кресте, предназначенном для исполнения религиозного культа во время процессий. Он использовался и как "хранилище" святых мощей. И.А. Шляпкин, один из первых исследователей реликвии, выступил противником отнесения этого креста к Византии, отвергнув таким образом нерусское происхождение энколпиона (см. [Шляпкин 1913]). Работа В. Лефельдта также подтверждает факт о связи креста с Древней Русью – с новгородской землей. Одним из таких свидетельств является, в частности, то, что крест был именован и, очевидно, мог принадлежать одному из иерархов Новгородской епископии. Есть и лингвистические факты, говорящие о древнерусской традиции "языкового мастерства" в оформлении подобных энколпионов.

Далее скажем подробнее о самой структуре исследования В. Лефельдта.

Работа состоит из четырех разделов. В первом автор досконально исследует сам "материал", делает расшифровку надписей. Древние надписи анализируются им здесь с формальной стороны, но именно эта работа – самая трудоемкая и ответственная. Он определяет не только характер самих начертаний и дает расшифровку с мельчайшими подробностями на языке оригинала, но и цитирует письменные источники, закрепившие в своем словнике то или иное имя, используя при этом большой фактический материал и прибегая к интересным сравнениям из научной литературы. Особенно подробно автор разбирает состав и содержание следующих надписей: **ВАСИЛИЙ**, **ВУПАТИЙ**, **ПЕТРО**¹. Здесь же представле-

¹ Кстати, И.А. Шляпкин подметил, что одной из святынь, находящихся в кресте,

ны и расшифрованные В. Лефельдтом связанные тексты, восстановлены пропущенные литеры, даются переводы. Главное, на что мы обратили внимание, – это “генеалогия разбора” автора, которая отвечает всем правилам работы с текстоносителем. Методика исследования источника отработана до мелочей: он не пропускает ни одного штриха, стремится наиболее полно – что с филологической точки зрения очень актуально – расшифровать, объяснить и соотнести надписи с традицией древнерусского иконописного зодчества, без знания которого невозможно адекватно прочесть и тем более проанализировать текст.

Во втором разделе исследуется язык надписей. В. Лефельдт указывает на связь текстов с древненовгородской традицией, отмечает ряд лингвистических закономерностей, говорит о специфике древнерусского текста и характере его выражения в иконографии. Автор отлично знает и грамотно использует труды русских ученых: Д. Айналова, А.А. Зализняка, В.Н. Лазарева, А.А. Медынцева, Т.В. Рождественской, Б.А. Успенского, В.Л. Янина и других, внесших значительный вклад в исследуемую проблематику. В этой части также подробно анализируются грамматические формы личных имен. Автор приводит параллели исследуемых слов на греческом, латинском, древнерусском и других языках, указывает на имеющиеся в научной литературе и исторических документах варианты слов и др.

В третьем разделе осуществлен палеографический анализ текстов, раскрыта система орнаментики надписей. В частности, В. Лефельдт обращает особое внимание на принцип датировки надписей, который до сих пор окончательно не решен (с. 27). Автор приводит и анализирует различные точки зрения по этому вопросу: одни исследователи предполагают отнести надписи к XII веку, другие называют иную дату – конец XIII – начало XIV века. В. Лефельдт считает, что “отсутствующий в настоящее время основательный палеографический анализ новгородских текстов на березовой коре продвинет нас вперед в этом сложном деле” (с. 30).

В четвертом разделе представлен текстологический анализ, который грамотно соотнесен с расшифровкой самих изображений фигур. Так, анализируя одну из надписей,

была по ст ни ца, т.е. то место, где по-стился в пустыне Христос – это видел Новгородский архиепископ Василий (см. [Буслав 1898: 169]).

автор приходит к выводу о том, что древнерусской традиции было свойственно изображение святых на крестах, имена которых носили дети великих князей (с. 31). Надо заметить, что многие спорные вопросы, касающиеся в том числе и отражения признаков древненовгородского диалекта в изученных надписях, не решаются им однозначно. В. Лефельдт обоснованно считает, что канонический язык надписей и разговорный язык берестяных грамот имеют разных носителей и предназначение, да и сам жанр надписей предполагает иную языковую форму выражения.

Исследование дополняет обширная библиография, в которой учтены и редкие издания начала XX века, и труды современных исследователей. На с. 45–54 помещены фотографии изученного культового предмета – э н к о л п и о н а, представляющего, как можно заметить, и немалую искусствоведческую ценность как великолепное произведение древнерусского монументального зодчества, соединившее в единой мозаике старинной “живописи” рельефные авторские черты и особый стиль. Для читателей поясним: крест имеет четырехлепестковую форму с гравированными изображениями довольно грубой техники. Как считает Д. Айналов, “отнесению этого креста к XII веку, ко второй половине его, нисколько не препятствует выдержанная чистота стиля искусства XII века, без прикосновения тех изменений, которые произошли уже в XIII веке...” [Айналов 1914: 38].

Хочется надеяться, что дальнейшая работа В. Лефельдта по исследованию памятников древней истории вдохновит и русских ученых и обратит их внимание на многочисленные еще не изученные памятники старинной, поможет проникновению в “потаянную” культуру древних славян. Опыт автора в этом отношении весьма удачен и заслуживает пристального внимания специалистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Айналов Д. 1914 – Библиографическая летопись. Вып. I. Императорское общество любителей древней письменности. 1914. Рец.: Шляпкин И.А. Русский крест XII века...
Буслав Ф.И. 1898 – Русская хрестоматия М., 1898.
Шляпкин И.А. 1913 – Русский крест XII века в городе Гильдесгейме // Вестник Археологии. Вып. XXII. СПб., 1913.

О.В. Никитин

Кажется естественным, что юбилейный сборник в честь семидесятилетия Владимира Петровича Недялкова выходит в Западной Европе¹. Действительно, юбиляр за рубежом еще более влиятелен, чем в России.

Характерная особенность рецензируемой книги – ее двойной жанр: книга должна была быть одновременно *Festschrift*’ом и тематическим сборником по современной типологии. Издатели успешно справились с этой задачей.

Кроме данных об авторах, стандартного Введения и библиографии основных публикаций юбиляра, книга содержит также предметный указатель. Полиграфическое исполнение превосходно. Основное содержание тома разделено на три тематические части: I. Переходность, каузативность и время-вид: взаимозависимости; II. Отношения между видом и временем как типологическими параметрами; III. События и их компонентное устройство.

Т. Цунода (Токио) описывает "Вид и переходность интерактивных конструкций в языке варрунгу". В этом австралийском языке одного из аборигенных племен северного Квинсленда, на котором после 1980 г. никто не говорит, есть специальный суффикс итератива *-karra-U*, особенностью которого является его почти исключительное использование с непереходными предикатами; присоединяясь к переходному глаголу, этот суффикс образует антипассив (язык относится к эргативным).

Статья Л.И. Куликова (Лейден) "Разделенная каузативность. Заметки о корреляциях между переходностью, видом и временем" написана на материале раннего ведического санскрита. Основной предмет анализа – корреляции между временем/видом, с одной стороны, и переходностью/каузативностью, с другой: материал показывает очевидное предпочтение перфектных форм к непереходным и презентных к переходным предикациям, что и обозначено как "разделенная каузативность".

В статье К. Кирю (Окайма, Япония) "Концептуализация и вид в некоторых азиатских языках" анализируется оморфия прогрессива и перфекта/результатива в японском, корейском и неварском языках. Известно, что в английском эти значения

распределены иначе, и можно, таким образом, ставить вопрос о параметре типологического разбоя; это последнее Кирю увязывает с различием в когнитивной концептуализации события в типологически различных языках. Например, японский прогрессив от глагола "умереть" (*sin-de iru*) может обозначать только результативное состояние "быть мертвым", а английский *be dying* – переходную фазу перед смертью. Английский язык в когнитивном отношении определяется как "терминативно-ориентированный", японский, корейский и невари – как "нетерминативно-ориентированные".

Н.Р. Су м б а т о в а (Москва) обсуждает "Эвиденциальность, переходность и разделенную эргативность" на материале сванского языка. Сванский, как и грузинский, имеет серию как называемых "перфектных" модально-видо-временных форм, но, в отличие от грузинского и других кавказских языков, располагает еще и серией "имперфектных" форм эвиденциальности (иначе говоря, заглазного наклонения: имеются в виду значения чужого свидетельства в широком спектре, но также инферентива и админатива). В "перфектной" парадигме субъект выступает в дативе, т.е. форме, характерной для иберийско-кавказских "инверсивных" глаголов; в "имперфектной" же – в номинативе. Автор тщательно раслаивает запутанную проблему отношений между категориями, формами и синтаксическим оформлением переходных и непереходных предикаций.

В совместной статье Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева (Москва) "О семантике некоторых русских каузативных конструкций. Вид, контроль и типы каузации" продолжено и углублено обсуждение отмеченных в свое время (1982) Т.В. Булыгиной зависимостей семантики каузации от отношений контроля: при правильности *Мать будила его (но он не просыпался)* очевидна неправомерность конструкции **Звонок будильника будил его (но он не просыпался)*. Отношения каузации и контроля в контексте несовершенного вида содержат еще много тонкостей, которые, помимо прочего, требуют учета в лексикографическом представлении русских глаголов.

Вторая часть сборника открывается статьей В. Бёдера (Ольденбург) "Заметки о грузинском результате". Автор выделяет в современном грузинском языке кон-

¹ Другой сборник в честь юбиляра выпущен в Тюбингене [TVC 1998].

струкции с "быть"/"иметь" и причастием, которое можно определить как "пассивное". Как известно, древний результативный перфект в грузинском исторически преобразовался в эвиденциальность. В новых образованиях перфектно-результативного типа особый интерес представляют формы с вспомогательным "иметь", т.е. в терминологии В.П. Недялкова, – "поссисивный результатив".

Р. Тиррофф (Бонн) назвал свою статью "Претериты и имперфекты в языках Европы". Языки Европы могут быть различены в аспекте категории времени по параметру "имперфектные – претеритные". К первым можно отнести те, которые, как романские, имеют две формы простого прошедшего – имперфект и аорист, на базе которых может развиваться вид славянского образца. Далее языки классифицируются по вторичным признакам временной системы.

Ю. Пупынин (Санкт-Петербург) описывает "Квалитативное значение русских несовершенных глаголов в пассивных конструкциях". Имеются в виду конструкции типа *Железо легко ржавеет; Крышка завынчивается с трудом*; обсуждается статус форм на -ся, основания для отнесения или неотнесения их к страдательному залого.

Статья Л. Йохансона (Майнц) "Типологические заметки о виде и акциональности в тюркско-кипчакских языках" посвящена аспектологической проблеме "внутреннего предела" и "послепредельных состояний" в тюркских языках. Автор сомневается, что опора на референцию и внеязыковые ситуации в семантических определениях для грамматики может обеспечить самостоятельное теоретическое и типологическое знание. Взамен этого предлагается работа над "операторами точек зрения" и, на этой основе, уточнение принципиальных понятий "прогрессив", "перфектив", "результатив", "перфект" и др. Референциально идентичные карачаевские предикаты *уяныб турады* "проснулся" (результатив), *уянгъанды* (перфект), *уяныбды* (констатив) и *уянды* (простое прошедшее) – это разные семантические репрезентации той же самой ситуации.

Для И.Б. Долининой (Гамильтон, Канада) дистрибутивность – не предмет аспектологических трактовок, а предмет "кластерной категории квантификации". Аппарат описания должен базироваться на ингерентных свойствах глагольных значений, а не на функционировании значений. Глагольная квантификация соотносена с именной квантификацией, поскольку

в дистрибутиве представлены и множественные актаны, и множественные акты/события.

Н.А. Козинцева (Санкт-Петербург) в статье "Плюсквамперфект в армянском языке" продолжает свои многолетние исследования по армянскому глаголу. Сопоставляя новоармянский с классическим грабаром, она приходит к выводу, что в независимом предложении и в прямой речи плюсквамперфект гораздо шире употребляется в современном армянском. Однако учитывая характер древних памятников, нужно бы спросить, имеем ли мы действительные данные о независимых предложениях и прямой речи в древнеармянском, достаточные для вывода, сделанного в этой статье.

Чунминь Ли (Сеул) представил статью "Аспекты вида в корейских психологических предикатах. Импликации для психологических предикатов вообще".

Третья часть юбилейного сборника открывается статьей В. Абрахама (Гронинген) "Насколько нисходящим является восходящий немецкий?" ("How descending is ascending German?") с подзаголовком "О глубинных взаимосвязях между временем, видом, проминальностью и эргативностью". Название публикации разъясняется отсылкой к различению "восходящего" и "нисходящего" видения времени ("я", движущийся по стреле времени с точки зрения наблюдателя, и время, протекающее через "мое" настоящее в обратном направлении) – по работе Г. Гийома "Temps et verbe" (1929). Этот момент гийомовской психомеханики языка может приниматься как основа различения времени и вида. Однако статья выполнена не в русле гийомовской традиции, а на основе синтеза генеративной и функционально-типологической лингвистики.

Г.Г. Сильницкий (Смоленск) посвятил свою статью "Глагольной темпорализации в русском и английском языках". Фактически здесь доводится до некоторого полного набора аппарат английской теоретической грамматики применительно к глаголу; сопоставление с русским дает для него интересный фон, но свежей интерпретации русского глагола мы здесь не обнаруживаем.

Статья "Типология фазовых значений" В.А. Плунгяна (Москва) ориентирована на идеал "универсального грамматического инвентаря", вера в возможность которого основывается на допущении "общей семантической субстанции".

К. Эберт (Цюрих) рассматривает "Степени фокусированности в калмыцких импер-

фективах". Специалистам известны особые трудности калмыцкой грамматики, в частности, связанные с определением видовременных форм ("презенс" I, II, III, "презенс дуративный" I, II и т.д.). Автору в данном случае удалось выполнить характерологическое описание отдельных форм, которое, надо думать, должны будут учитывать в дальнейшей работе все авторы, берущиеся за калмыцкую грамматику.

Статья Е.В. Рахилиной (Москва) "Видовая классификация имен существительных" содержит аспектологический взгляд на семантику существительных. Они, согласно автору, могут быть градативными, делимативными, мультипликативными, результативными в зависимости от того, какой признак выявляется в их сочетаниях с прилагательными "старый", или при констатации невозможности такого сочетания. Это – очень интересный опыт в когнитивной лингвистике, где обыденная "когниция" обсуждается на уровне, на котором выбор языка становится безразличен.

Материалы рецензируемого сборника выполнены на добротном уровне и, за немногими исключениями, являют хорошую типологическую культуру. Читатель-типолог найдет здесь много свежего, хорошо интерпретированного материала по глаголу разных языков, в основном с тройной записью "оригинал – поморфемный подстрочник – перевод". Книгу следует всячески рекомен-

довать, однако необходимо принимать во внимание, что она рассчитана все же на современного подготовленного специалиста. От читателя ожидается, что ему уже известны типология переходности по Хопперу и Томпсон, классы глагольных значений по Вендлеру, понятия некаузативного глагола по Перлматтеру и Бурзио, антипассив – "разделенная эргативность" и др., а также, естественно, ряд ключевых идей Ленинградской типологической группы. Кроме того, некоторые авторы исходят из того, что читатель знает их прежние работы. Главное научное содержание книги – ряд новых грамматических описаний в современных понятиях, и это, конечно, вполне в духе юбиляра. И все же приходится констатировать, что в сборнике нет публикаций по проблематике типологической анкеты, по концептуальной работе типологической группы и т.п. Можно предположить, что это частично объясняется двойным замыслом: создать юбилейный сборник и одновременно тематически его ограничить.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

TVC 1998 – Typology of verbal categories. Papers presented to Vladimir Nedjalkov on the occasion of his 70-th birthday / Ed. by L. Kulikov and H. Vater. Tübingen, 1998.

В.П. Литвинов

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
"ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ" В 2001 Г.

Статьи

Аникин А.Е. От Чуди до Мери (к 75-летию А.К. Матвеева)	6
Апресян Ю.Д. Значение и употребление	4
Берестнев Г.И. Самосознание личности в аспекте языка	1
Благова Г.Ф. Владимир Даль и его последователь в тюркологии Лазарь Будагов.....	3
Боголюбов М.Н. Иранские этимологии (К выходу в свет Этимологического словаря иранских языков В.С. Расторгуевой, Д.И. Эдельман. Т. I. М. 2000. 327 с., * ¹ a- - * ² āz-)	5
Булатова Л.Н., Земская Е.А., Кузьмина С.М., Новиков В.И. Диапазон дарования. К 80-летию М.В. Панова	1
Вендина Т.И. В.И. Даль: взгляд из настоящего	3
Вимер Б. Аспектуальные парадигмы и лексическое значение русских и литовских глаголов. Опыт сопоставления с точки зрения лексикализации и грамматикализации	2
Виндл К. Заметки о современном состоянии македонско-русской лексикографии	3
Володин А.П. Мысли о палеоазиатской проблеме	4
Гак В.Г. Словарь В.И. Даля в свете типологии словарей	3
Гринберг М.Л. Расцвет и падение лениции взрывных в словенском языке	1
Девкин В.Д. О неродившихся немецких и русских словарях	1
Жолобов О.Ф. Древнеславянские числительные как часть речи	2
Завьялова М.В. Исследование речевых механизмов при билингвизме (на материале ассоциативного эксперимента с литовско-русскими билингвами)	5
Зализняк А.А., Янин В.Л. Новгородский кодекс первой четверти XI в. – древнейшая книга Руси	5
Зализняк Анна А. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект "Каталога семантических переходов"	2
Зеликов М.В. Модели с глаголом действия в языках Западной Романии	4
Земская Е.А. Умирает ли язык русского зарубежья?	1
Калнынь Л.Э. Согласные, различающиеся участием голоса, как компоненты фонетической программы слова в славянских диалектах	3
Крейдлин Г.Е., Чувиллина Е.А. Улыбка как жест и как слово (к проблеме внутриязыковой типологии невербальных актов)	4
Левицкий В.В. Семантический синкретизм в индоевропейском и германском	4
Матвеев А.К. Мерянская проблема и лингвистическое картографирование	5
Меликишвили И.Г. Линейность языкового знака с точки зрения фонологических закономерностей (К целостной и телеологической интерпретации языкового знака)	3
Михайлова Т.А. Судьба и доля: к проблеме лексического оформления детерминистских представлений в раннеирландской традиции	6
Москвин В.П. Эвфемизмы: системные связи, функции и способы образования	3
Мурясов Р.З. Некоторые проблемы контрастивной аспектологии	5
Нещименко Г.П. Динамика речевого стандарта современной публичной вербальной коммуникации: проблемы. Тенденции развития	1
Падучева Е.В. К структуре семантического поля "восприятие" (на материале глаголов восприятия в русском языке)	4

Паладян М Мышление и синтаксис (Исследование позиции прошедшего пар- тиципа)	6
Потапова РК, Потапов ВВ Проблемы ритма немецкой звучащей речи	6
Романенко АП Советская философия языка ЕД Поливанов – НЯ Марр	2
Рудницкая ЕЛ Локальные и нелокальные рефлексивы в корейском языке с типологической точки зрения – формальное или прагматическое описание?	3
Соболев АН Балканская лексика в ареальном и ареально типологическом осве- щении	2
Трубачев ОН Информация для участников очередного XIII Международного съезда славистов 2003 г	2
Урысон ЕВ Союз <i>ЕСЛИ</i> и семантические примитивы	4
Фалилеев АИ Язык средневекового валлийского права как источник для общескельтской и индоевропейской реконструкции	6
Федорова ОВ Пространственная типология указательных местоимений даге- станских языков	6
Шведова НЮ Еще раз о глаголе <i>быть</i>	2
Шилов АЛ Топонимические кальки и этимология субстратных топонимов	1
Шилов АЛ О мерянских топонимических индикаторах (голос в дискуссии)	6

Из истории науки

Алпатов ВМ Вопросы лингвистики в работах ММ Бахтина 40–60 х годов	6
Лукин ОВ Части речи в Средние века (предпосылки и контекст)	6
Радченко ОА Лингвофилософские опыты В фон Гумбольдта и постгумбольд- тианство	3

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Домашнев АИ Проблемы классификации немецких социолектов	2
---	---

Рецензии

Алпатов ВМ <i>Tanaka Katsuhiko</i> 'Sutaarin-gengogaku -seidoku	1
Баевский ВС Н Павлович Словарь поэтических образов	5
Бархударова ЕЛ Фортунатовский сборник	2
Девкин ВД Duden Das groÙe Wörterbuch der deutschen Sprache in 10 Banden	5
Демьянов ВГ А <i>Krietschmer</i> Zur Geschichte des Schrifttrussischen Privatkorrespondenz des 17 und fruhen 18 Jahrhunderts	3
Домашнев АИ Dialektologie zwischen Tradition und Neuansätzen	4
Домашнев АИ W <i>Schmidt</i> Geschichte der deutschen Sprache	5
Иорданиди СИ Ю С Азарх Русское диалектное словообразование в лингво географическом аспекте	1*
Купина НА М В <i>Китайгородская НН Розанови</i> Речь москвичей коммуни кативно-культурологический аспект	5
Литвинов ВП Tense aspect, transitivity and causativity Essays in honour of Vladimir Nedjalkov	6
Маковский ММ В В <i>Левицкий</i> Этимологический словарь германских языков	5
Никитин ОВ Пятые Поливановские чтения Сборник научных статей по мате- риалам докладов и сообщений	3
Никитин ОВ W <i>Lehfeldt</i> Die altrussischen Inschriften des Hildesheimer Enkolpions	6
Николаева ТМ Язык о языке Сборник статей	2
Осипов БИ Русский орфографический словарь	3
Осипов БИ БЗ <i>Букчина, ИК Сазонова ЛК Чельцова</i> Орфографический сло- варь русского языка	4

* К сожалению, эта рецензия оказалась выпущенной из Содержания № 1 2001 г
См текст рецензии на с 144–150

Сазонова И К Русский семантический словарь	1
Тяпко Г Г Г П Нецименко Этнический язык Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков)	6
Хайров Ш В А <i>Mikołajczuk Gniew we współczesnym języku polskim</i>	1
Эдельман Д И Н <i>Beizer Die Burushaski-Sprache von Hunza und Nager</i>	4

Над чем работают ученые

Мароевич Р Н Части речи в русском языке	2
---	---

Научная жизнь

Хроникальные заметки	1, 2 3 4 5
----------------------	---------------

Некрологи

Зоя Кестер Тома (1945–2001)	3
Анаголии Иванович Домашнев (1927–2001)	3
Василий Иванович Абаев (1900–2001)	4
Александр Маркович Шахнарович (1944–2001)	4

CONTENTS

A.E. Anikin (Novosibirsk). From the Chud ethnos to the Meri ethnical group (on occasion of A.K. Matveev's 75-th birthday); A.L. Silov (Moscow). On the Merian toponymic indicators; O.V. Fedorova (Moscow). Areal typology of demonstrative pronouns in the Daghestan languages; A.N. Falileev (St.-Petersburg). The language of the medieval Welsh law as a source for reconstruction in Common Welsh and Indo-European; T.A. Mixailova (Moscow). *Fate and doom*: lexical expression of deterministic conceptions in early Irish traditions; M. Paladian (France). Thought and syntax; R.K. Potapova, V.V. Potapov (Moscow). Problems of rhythm of the fluent German speech; **From the history of science**. V.M. Alpatov V.M. (Moscow). Linguistic topics in the works of M.M. Baxtin (1940–1960); O.V. Lukin (Jaroslavl). Part of speech in medieval linguistics: premises and context; **Reviews**. G.G. Tiapko (Moscow). *G.P. Neščimenko*. The ethnic language; O.V. Nikitin (Moscow). *W. Lehfeldt*. Die altrussischen Inschriften des Hildesheimer Enkolpions; V.P. Litvinov (Piatigorsk). Tense-aspect, transitivity and causality, Essays in honour of Vladimir Nedjakov; **Index of articles and reviews published in the journal "Voprosy Jazykoznanija" in 2001.**

Технический редактор О.Н. Никитина

Сдано в набор 29.08.2001 Подписано к печати 23.10.2001 Формат бумаги 70×100¹/₁₆
Офсетная печать. Усл.печ.л.13,0 Усл.кр.-отт. 19,2 тыс. Уч.-изд.л. 15,6 Бум.л. 5,0
Тираж 1451 экз. Зак. 2658

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.
в Министерстве печати и информации Российской Федерации

Учредители: Российская академия наук, Отделение литературы и языка РАН

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

Адрес редакции: 121019 Г-19, ул. Волконка, 18/2. Институт русского языка.
Телефон 201-25-16

Отпечатано в ППП «Типография "Наука"», 121099, Москва, Шубинский пер., 6

Налоговая льгота – общероссийский классификатор продукции ОК-005-93.
том 2: 952000 – журналы